



ЮНОСТЬ



5

1968



Карл МАРКС. Портрет работы Н. Фешина. 1918 г.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания
четырнадцатый

*Правда жизни на стороне
марксизма, он и впредь будет
одерживать победы, приближая
время полного торжества
коммунизма на нашей планете.*

Из тезисов Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС к 150-летию
со дня рождения Карла Маркса.

5

МАИ

[156]

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

1 9 6 8

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КАРЛА МАРКСА

Борис ЯКОВЛЕВ. Маркс и молодежь
Публицистические заметки. 58

● ПРОЗА

Анатолий АЛЕКСИН. Поздний ребенок.
Повесть. 2

Л. ЯКИМЕНКО. Дороги. Три новел-
лы. 29

● ПОЭЗИЯ

Леонид МАРТЫНОВ. Былое. «Не со-
чтешь...». Ильин день. Строптивый
нрав. Тетрадь. Детский мир. Надо бы
сездить в деревню. Дневники. Ста-
рое поле. «Язычники, христиане,
буддисты, магометане, оставьте бом-
бометанье...». Хвост земли. 23

Григорий ГЛАЗОВ. Моя старая фотогра-
фия. 24

Варлам ШАЛАМОВ. «Рассказано людям
немного...». Прощание. Рязанские стра-
дания. «Мне снова жажда вяжет гу-
бы...». Пушкинский вальс для школь-
ников. «Вчера я кончил эту книжку...».
«В воле твоей — остановить...». 25

Николай ДОРИЗО. Слава. «Моя любовь —
загадка века...». «Мне бы себя не пе-
режить...». Тост. 26

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. «Слышу птиц
улетающих крики...». «Вдруг я живую
рыбу отпустил...». Веселая баллада.
«Журавль, хромающий в небе...». «Вне-
запный дождь мой лоб остудит...».
«Дрожал июнь и ночью лунной...».
«В Пропойске — май! Коза жует афи-
шу...». «Совсем не страшно заблудить-
ся...». «Еще и воздух не остыл...».
«Ярко горели сухие дрова...». 27

Назым ХИКМЕТ. Воскресенье. Как житье-
бытье? Сон Ибрагима. Завистник. Улу-
даг. «Четыре часа, ты не пришла...».
Грусть. 20 сентября 1945. 22 сентября
1945. 23 сентября 1945. 24 сентября
1945. 6 октября 1945. 8 октября 1945.
10 октября 1945. 27 октября 1945.
28 октября 1945. 30 октября 1945.
5 ноября 1945. Перевел с ту-
рецкого Борис Слуцкий. 48

Виктор ЕМЕЛЬЯНОВ. Мои ученики. Луна
Владилен БЕЛКИН. «Из плена каменных
ночей...». 78

Валентин БЕРЕСТОВ. Фляга. Конь.
Водораздел. Подражание восточно-
му. Словарь тоски. Птица. Пава.
Утешение. Агнии Барто. 82

● ПУБЛИЦИСТИКА

Владимир АБЫЗОВ. Берлин, весна, год
1945-й. 51

Анастас МИКОЯН. В тюрьмах Закаспия
при английской оккупации (Из вос-
поминаний). 66

В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ. Курчатов, каким я его
знал (Окончание). 88

● МУЗЫКА

Рассказывает Д. Д. ШОСТАКОВИЧ. При-
глашение к молодой музыке. 83

● К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Владимир КАНТОРОВИЧ. Слово об Арме-
нии и ее художниках. 79

● СРЕДИ КНИГ

Маленькие рецензии и аннотации. 96

● НАШ ФЕЛЬЕТОН

Зиновий ПАПЕРНЫЙ. Многодетный же-
них. 98

● ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Читатели «Юности» о статье «Вторники
в десятом «Б» (Обзор писем). 102

● ДЕБЮТЫ

Валерий ГАВРИЛИН: «Мой жанр —
видимо, опера». 105

● СПОРТ

Татьяна ЛЮБЕЦКАЯ. Беззащитная с ору-
жием в руках. 107

В. ОРЛОВ. Футбол по-сейшельски. 110

● «ПЫЛЕСОС»

Коллекция Галии Галкиной. 111

Эмма МОШКОВСКАЯ. Как собачка научи-
лась кусаться. Подушна и оркестр. 111

На 1-й—4-й страницах обложки — рисунок В. СУРИКОВА.

Художественный редактор Ю. Цишевский.

Технический редактор Л. Зябкина.

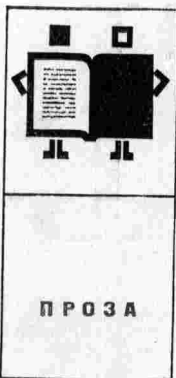
Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Тел. Д 5-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 00074. Подп. к печати 19.IV—1968 г. Формат бумаги 84×103¹/₁₆.
17.62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 831.

Объем 12,18 усл. печ. л.
Заказ № 422.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.



Анатолий Алексин



ПОЗДНИЙ



ПОВЕСТЬ

Рисунки Е. Медведева.

РЕБЕНОК

Меня ждали шестнадцать лет...
Ужасно быть поздним ребенком! Я-то уж знаю! Ранние дети появляются быстро, сами собой, как отметки в дневнике, если ты пошел в школу. А позднего ребенка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света, а то еще и подальше.

Родители ему говорят: «Мы тебя ждали! Так ждали!» — будто он задержался в кино или на улице.

1

Я — поздний ребенок. Мои родители сразу хотели иметь мальчишку, а заимели Людмилу... Это моя сестра. Все втроем, вместе с Людмилой, они мечтали, чтоб я родился. И вот через шестнадцать лет мечта их сбылась! Поздновато, конечно. Но что же я мог поделать?

Я не помню, с какого возраста я себя помню. Но в ту пору, с которой помню, я часто, казалось, слышал: «Ты — сюрприз! Ты — драгоценный подарок!» Теперь мои родители стесняются громких фраз. Может быть, и раньше они таких точно слов не говорили. Но какие-то вроде этих... Я стал дра-

гоценным подарком, как чашка, которая, нарядная и чистая, стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай.

Меня берегут! Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого взрослого в нашей семье свой характер.

Вот, например, если я собираюсь куда-нибудь в лыжный поход, мне запрещают все трое. Но запрещают по-разному.

Первым, конечно, отец. Он огромный мужчина. Похож на Хемингуэя, который висит над столом у Людмилы. Только без бороды. Но такой же седой и в морщинах.

В жизни ему приходилось трудно, и поэтому он хочет, чтобы я от всего получал удовольствие. Нет, он не откажет напрямую: он попытается, чтоб и это мне было приятно. Даже отказ!

— По долинам и по взгорьям? — пропоеет он так, что будет слышно внизу, во дворе: у отца громкий, раскатистый голос. И он любит цитировать песни. Не стихи, не пословицы, а именно песни. — В движеньи мельник жизнь ведет, в движеньи!..

Отец обязательно пропоеет что-нибудь на подходящую тему. В эти минуты, мне кажется, он усиленно соображает: придумывает, как бы не огорчить меня своим отказом, а наоборот, доставить мне удовольствие. От напряжения лицо его становится красным. Краска ползет к ушам, заливая всю шею. Из-за белых волос это особенно заметно.

Он говорит так громко, будто объявляет со сцены: — А я хотел пойти с тобой завтра в кино! Ты ведь тоже хотел?

Я соглашаюсь. Хотя меня гораздо больше тянет в лыжный поход. Я не спорю с отцом. Бесполезно: я поздний ребенок, меня берегут.

— Хочешь, любое, мой сын, выбирай! — поет отец громким голосом хана Кончака из оперы «Князь Игорь». Иногда он переиначивает слова арий и песен по-своему, чтобы они подходили. — Любое, мой сын, выбирай!.. Но раз ты хочешь идти в кино, я ликую!

Он долго еще ликует. Так, что слышно внизу, на улице.

По правде сказать, не только отец — все в нашем доме говорят громко, потому что мама не очень хорошо слышит. Это случилось, когда я родился. Значит, поздние дети, которых так ждут, приносят не только радость... Мне не сказали, что это из-за меня, чтобы не огорчать. Но я-то уж знаю! Однажды я слышал, как доктор сказал: «Последствия родов. Вряд ли пройдет». Уж лучше бы я не родился!

А сама мама говорит очень тихо. Иногда она тоже шутит, но с какой-то грустной улыбкой. Что бы у нас ни случилось, она всегда считает, что это к добру. И не поймешь, всерьез ли она так считает.

— Это даже хорошо, — говорит она, — что я многое пропускаю мимо ушей: мало ли говорят ерунды!

«Это даже хорошо...» — мама часто так начинает.

— Это даже хорошо, что ты хочешь в лыжный поход: значит, ты не боишься!

Но потом она обязательно отыщет причину, по которой мне лучше остаться дома: я — поздний ребенок, меня берегут.

Бережет и Людмила... Она архитектор. «Мастер четких линий» — называет ее отец. И говорит моя сестра четко и прямо, она уж не станет переиначивать арии.

— Если бы ты всерьез занимался спортом и хо-

рошо катался, я бы тебя поддержала, — скажет она. — А так — не могу.

Но если я даже научусь кататься, как мастер спорта или чемпион, они все равно найдут причину, чтобы меня не пустить. Это уж факт.

Когда в доме у нас происходит что-нибудь неприятное, от меня все скрывают. Я сразу чувствую, а мне говорят: «Ты — ребенок! Ты этого не поймешь». Они ждали ребенка, и им приятно, что он у них есть. И мне было бы очень приятно, что им так приятно, если бы этим ребенком был кто-нибудь другой, а не я.

Подслушивать я не люблю. И никогда бы не стал, но раз от меня что-то скрывают, а я в этом деле, может быть, даже могу помочь, я должен подслушать. Тем более что отец и по секрету всегда говорит так громко, что хочешь не хочешь, а все равно будешь знать.

Однажды я услышал такой разговор, секретный... Что говорила мама, я не мог разобрать, а отец запел ей в ответ из «Евгения Онегина»:

— Привычка свыше нам дана!

Я не так уж хорошо разбираюсь в музыке, чтобы сразу угадывать, что из какой оперы. Но ведь даже у каждого знаменитого певца есть свой особый репертуар, к которому можно привыкнуть.

— Привычка свыше нам дана! — повторил отец. И добавил: — После столько лет?.. На другую работу? Нет, не могу!

Потом что-то сказала мама. Потом отец снова запел, но уже из Девятой симфонии Бетховена. Это странная симфония: в ней поют.

— О бра-тья, довольно печали! — пропел отец. И добавил одну фразу обыкновенно, по-человечески: — Двести двадцать на сто — это еще не смертельно.

2

Я давно уже заметил, что люблю встречать на улице старых людей. Чем старей человек, тем больше я радуюсь. «Значит, можно долго, очень долго прожить на свете!» — думаю я.

Однажды я прочитал в журнале, что в одном горном селе пять человек уже дотянули до ста тридцати лет. И продолжают жить дальше... Я всем показывал эту заметку.

— Так то же в горах! — говорили мне. — А ты живешь в Третьем Машиностроительном тупике.

Мы действительно живем в тупике с таким длинным названием.

Когда в газетах печатают сообщения в черных рамках, я всегда их читаю. Особенно мне интересно, сколько лет было тому, кто умер. Или, как пишут, на каком «году жизни скончался». Если человеку было лет восемьдесят или девяносто, мне бывает приятно. Не потому, конечно, что умер, а потому, что удалось человеку так много прожить.

Другие ребята об этом не думают. У них молодые родители...

Особенно я всегда волнуюсь за маму. Ведь она плохо слышит.

Если мама где-нибудь хоть ненадолго задерживается, я все время выглядываю в окно, которое выходит на улицу, потом спускаюсь вниз и хожу взад-вперед возле подъезда. Я представляю себе всякие несчастные случаи, уличные катастрофы. Руки у меня становятся мокрыми, и я забываю здороваться со знакомыми и соседями.

— Это даже хорошо, что я плохо слышу,— говорит мама.— Иначе бы ты меня не встречал!

Я хватаю мамину сумку.

— Тебе нельзя таскать тяжести! — говорит она. Ей, значит, можно, а мне нельзя. Еще бы: ведь я ребенок — не подниму, не смогу!..

Уже после, дома, мама меня успокаивает:

— Плохой слух обостряет внимание. Человек становится зорче! Спроси у любого врача. И не волнуйся. Тебе волноваться нельзя!

Почему мне нельзя волноваться?

В тот день, когда я подслушал, мама почти шептала: мне ведь нельзя волноваться. Хорошо, что отец тихо говорить не умеет! Это мне помогло.

Когда разговор их окончился, отец вошел в комнату, где я нагнулся или, как пишут, склонился над учебником, который мне в тот день был совсем не нужен.

— О радости! Я знал, я чувствовал заранее! — пропел отец из «Руслана и Людмилы». — Мой сын делает уроки!..

— Это даже хорошо, что композиторы, которых ты исполняешь, давно уже скончались,— сказала мама.

— Почему? — удивился отец.

— Они бы тебя растерзали! А я не хочу остаться вдовой. Не хочу!

Последние слова она сказала совсем без улыбки. И я испугался. Теперь за отца.

В тот же вечер я спустился тайком к Леониду Миронычу.

Леонид Мироныч живет под нами, на втором этаже. Он врач. Правда, зубной. Но об этом все у нас в доме забыли и вызывают его к себе при любой болезни. А дом наш огромный — целых семь этажей. Всегда есть больные: у кого сердце, у кого грипп, у кого воспаление легких. И все обращаются к дяде Лене. У него есть прозвище: дядя Ленья — «ноль один». Вообще-то по телефону «ноль один» вызывают не «Скорую помощь», а пожарную команду. Но дяде Лене дали такое именно прозвище...

Он очень добрый. И даже застенчивый. «Видите ли, я ведь только дантист...» — всегда начинает он. «Дантист» — это значит попросту зубной врач или техник. Но дядя Ленья всегда называет себя этим красивым словом «дантист». А в остальном он очень скромный и даже застенчивый...

Меня дядя Ленья встретил в женском фартуке и со сковородкой в руке. На сковородке шипела яичница. Раньше мне казалось, что дядя Ленья слишком много думает о еде: всегда я встречаю его с промасленными свертками, которые он держит в протянутой руке. Но мама мне объяснила, что все холостяки очень много возятся с продуктами, а едят гораздо меньше женатых: просто они не способны вести хозяйство. Ну, как некоторые ученики, которые часами возятся дома с тетрадями и учебниками, корпят над ними, зубрят, а отвечают на двойки или на тройки, потому что у них нет способностей.

— А-а, тетка! — воскликнул дядя Ленья — «ноль один» как-то растерян и даже испуганно.

Меня тоже зовут Леонидом. Или, вернее, Ленькой... И у меня тоже есть прозвище. Только оно хуже, чем у дяди Лени. Неблагозвучное! Даже не хочется вспоминать.

— Ты один? — спросил дядя Ленья все так же испуганно. И схватил сковородку другой рукой: она, наверно, была горячая.

— Я... один. Я по делу.



Но дядя Ленья выглянул на лестницу, будто за моей спиной мог кто-то скрываться. Потом он пригласил меня в комнату. На подоконниках почему-то стояла посуда, а в буфете, за стеклом, где обычно бывает посуда, почему-то стояли книги. Я решил, что ни за что на свете не буду холостяком.

— Дядя Ленья, я на минутку.

— Кушать не хочешь? У меня есть яичница. Глазунья: два глаза. Можно с тобой поделиться...

Я понял: он по доброте своей предлагает мне то, что достается ему с наибольшим трудом, — еду, яичницу. И отказался.

— Мне надо сказать только два слова. Мне надо узнать... Ну, посоветоваться. Насчет отца. Я услышал сегодня, что у него «двести двадцать на сто»...

Так примерно начал я разговор, сделав вид, будто знаю, что это такое: «двести двадцать на сто».

— Видишь ли,— сказал дядя Ленья.— Я ведь только зубной врач...

«Всегда называет себя дантистом,— подумал я,— а тут — зубной врач... Боится, я не пойму, что такое дантист. Считает меня кретином! Или, вернее сказать, ребенком. Это для взрослых одно и то же».

— Скажите, дядя Ленья, это опасно: двести двадцать на сто? Вы ведь знаете!..

Он стянул очки с носа и засунул концы пластмассовых дужек в рот. Так ему всегда удобнее думать.

— Как бы это тебе объяснить? — проговорил он не очень внятно, потому что дужки были во рту.

Почему мне нужно все объяснять? А просто сказать нельзя?

— Как бы это тебе объяснить, чтобы ты меня понял?

Ну, конечно, ведь я же ребенок, то есть кретин!

— Отец выглядит абсолютно здоровым! — сказал я. — А когда смеется, то становится даже румяным.

— Я бы с удовольствием к вам зашел и посмотрел твоего отца, но лучше уж вызвать специалиста. Тем более что Людмила не приглашала. Мне самому неудобно...

— Но это опасно?

— Как бы тебе объяснить?.. Это — высокое кровяное давление. Его надо сбить! Врачи выпишут лекарства: порошки, уколы, таблетки. Но главное: положительные эмоции! Понимаешь?

— Еще бы! — соврал я. И подумал: «Хорошо бы, чтоб он мне не поверил. И объяснил!»

Он не поверил. Или пропустил мои слова мимо ушей.

— Положительные эмоции — это значит радость, веселье, надежда... Ведь главное — нервы. Им нужно питание.

Я посмотрел на яичницу. Он улыбнулся:

— Да-да! Им нужен витамин хорошего настроения. Они это любят, нервы. Отец работает на строительстве? всю жизнь он на стройках! Это уже, прости меня, не для него: сроки, задания, планы. И еще... Может, его что-нибудь мучает, угнетает? Это надо решительно снять!

Я подумал немного.

— Нет, его ничего не мучает. У нас дома все хорошо. И на работе его уважают. Ему будет трудно уйти... Привычка свыше нам дана. Сами знаете!

— Может быть, ты и прав. А Людмила что думает? В смысле его работы?

— Не знаю. Я у нее не спрашивал. Но его не угнетает... Никто! Я уверен.

— Что ж, хорошо. Это важно! Если Людмила захочет, я зайду, посмотрю...

Теперь я понял, почему он выглядел на лестницу: не хотел, чтоб Людмила увидела его в женском фартуке.

Они вместе учились в школе. Их считали женихом и невестой. Это было бы так хорошо, если б они поженились: Людмила осталась бы в том же доме, только спустилась бы на этаж. А у него книги не стояли бы там, где должна быть посуда...

Но Людмила не хочет. Она вообще не думает о замужестве: ее это не интересует. Она у нас «мастер четких линий» и думает только о своих чертежах.

Я однажды сказал:

— Вот если бы ты вышла замуж за дядю Леню!

— Две пары очков в одной молодой семье — это слишком много, — ответила мне она. Пошутила, хотя вообще-то шутить не любит.

А мама с отцом промолчали. И посмотрели на меня нежно и с жалостью, как на любимого дурачка: ты, дескать, мал еще. Не понимаешь!..

Странное дело: не заботятся о будущем дочери! Наверно, потому, что она — ранний ребенок. Но разве она виновата? Какая несправедливость! Все втроем они заботятся обо мне: просто уж нету сил.

Я слышал, как некоторые взрослые говорят: «Я сумасшедшая мать! Я сумасшедший отец!..» И всегда как бы гордятся своим сумасшествием.

Мои родители непохожи на этих людей. Они абсолютно нормальные. И даже стесняются того, что прямо-таки дрожат за каждый мой шаг. Поэтому они дрожат как бы в шутку, а не всерьез. И поэтому, думаю я, отец кажется иногда грубоватым. Просто родители слишком долго ждали меня. Вот в чем все дело!

Хотя мне от этого, конечно, ничуть не легче.

О себе они не заботятся никогда. Даже удивительно: про меня все знают — что вредно, чего нельзя. Даже полезное может им показаться вредным. А на себя словно рукой махнули.

«Больше я этого не допущу!.. Начну с отца. Буду все время подбрасывать ему положительные эмоции!» — с таким твердым решением я вернулся домой.

Раньше меня упрекали за то, что я часто бываю мрачным. Мама молча и внимательно заглядывала мне в глаза. Отец напевал: «Что ты, молодец, не весел? Что ты нынче нос повесил?» «О чем задумался, детина?..» Или что-нибудь вроде этого.

А Людмила спрашивала в упор:

— Ты нас готовишь к чему-то плохому? Что-то случилось в школе? А может быть, во дворе? Скажи прямо. Прямота многое искупает.

Сама прямая, «мастер четких линий», Людмила от всех кругом требует точности и прямоты.

А я, как правило, ни к чему особенному их не готовлю... Просто мне хочется попросить что-нибудь такое, вместо чего, я уверен, мне предложат все сокровища мира: музей, цирк или даже театр. А мне хочется поехать с ребятами за город, на озеро Бездонку, где все загорают и плавают, а не только с утра до вечера тонут, как считают мои домашние.

Но в тот день я всем улыбался. И без конца повторял:

— Не волнуйся, папа! Не беспокойся!.. Прошу тебя не волноваться!

Мама молча и пристально заглядывала мне в глаза.

— О чем волнуешься, детина? — привычно переиначил слова отец, хотя никакого волнения на моем лице не было: я улыбался.

— Ты нас к чему-то готовишь? — в упор спросила Людмила.

Найти положительные эмоции в доме, где все тебя обожают, не так легко, как думает дядя Леня.

Отец любит слушать радио, особенно музыкальные передачи. Но ему редко удается насладиться вдвойне: то я делаю уроки, то читаю (тут уж все ходят на цыпочках!), то Людмила выполняет срочную работу, готовится к каким-нибудь зачетам. Она всегда учится: или на курсах, или в университете культуры, или еще где-нибудь.

Но в тот вечер я сел возле приемника, стал наслаивать его на концерты и делал вид, что сам получаю огромное удовольствие.

— Я знал, что в конце концов музыка тебя поймет. Ты ведь мой сын!

— Твой, твой! — сказал я отцу.

Он улыбнулся счастливой и гордой улыбкой: дескать, долго мы тебя ждали, но такого стоило подождать!..

Положительные эмоции прибывали с каждой минутой!

Когда пришла мама, я включил приемник погромче, чтобы и она могла насладиться музыкой.

Из соседней квартиры постучали нам в стену.

В нашем доме толстые стены и высоченные потолки. Мама как-то сказала:

— Это хорошо, что наш дом строился в пору, когда архитектура еще не достигла огромных успехов. Теперь ведь стены рассчитаны на таких вот, как я. Которые плохо слышат...

Мама часто подшучивает над своим, как говорят, физическим недостатком.

— Новая архитектура служит не разъединению, а объединению семей, живущих в разных квартирах! — сказал отец.

— При старых нормах многие остались бы в старых квартирах, — спокойно объяснила Людмила.

— Только слышно за стенкою где-то... — тихо пропел отец.

За нашими стенами трудно что-нибудь уловить. Но сосед, я уверен, специально прикладывает ухо, чтобы при первом же удобном случае постучать. Если мы громко разговариваем, чтобы слышала мама, он начинает всегда возмущаться. А тут ему музыка помешала! Бывают же люди, которым все на свете мешает. Особенно если кто-нибудь рядом получает положительные эмоции.

— На сегодня закончим, — сказал отец. — Иди погуляй. Тебе надо побольше дышать свежим воздухом!

Почему именно мне надо побольше дышать? Как будто у меня «двести двадцать на сто»! Но я решил не уничтожать положительных эмоций и не стал спорить с отцом. Я пошел дышать воздухом.

Вскоре во двор вышел Костик. Он длиннее меня на целых полголовы, хотя учится со мной в одном классе. Не подумайте, что он огромного роста. Просто я невысокий. Может быть, поздние дети медленнее физически развиваются? А Костик не поздний, он самый обыкновенный. И родители у него молодые. Но очень противные! Это его отец стучит в стенку. И мамаша постукивает...

Костик имеет такую привычку: если увидит ребят, которые во что-нибудь играют или о чем-нибудь договариваются, обязательно подкрадется и крикнет: «А-а, попались, попались! Все видел, все видел! Все слышал, все слышал!» И отойдет. Хотя никто его не просил смотреть и слушать не приглашали.

Мне давно хотелось надавать Костику по физиономии. Ударить три раза и тихо сказать: «Это за папу! Это за маму! Это за тебя самого!» — как говорят маленьким, которые плохо едят.

Костик давно уж напрашивался на это. Я его предупреждал: «Не напрашивайся! Не напрашивайся!..» А он продолжал.

Но напрашивался он всегда как-то не до конца. Не было еще настоящего повода надавать ему и тихо сказать: «За папу! За маму!..» Ну, и так далее. А без повода бить как-то неинтересно.

Костик вышел во двор — и сразу ко мне:

— А-а, попались! Все слышал, все слышал: как стукнул вас папа, так сразу радио включили. Испугались! Больше орать не будете. Что у вас там, какая-нибудь глухая тетеря?

— Как ты сказал? — спросил я Костику.

И, испугавшись, что он повторит свои слова гром-

че, что все их услышат, быстро смазал его по скуле. Мне пришлось подняться на цыпочки, потому что Костик выше меня на целых полголовы. Он тут же удрал обратно в подъезд...

Я, наверно, очень разволновался и все сделал не так, как хотел: ударил его не три раза, а только один. И не стал приговаривать: «За папу! За маму!» Очень разволновался! Поэтому все забыл. Не ожидал, что он скажет эти слова...

«Не бить же его сначала?» — подумал я. И не стал догонять.

Минут через десять Людмила высунулась в окно:

— Леня, иди домой!

Я пошел... Уже с первого этажа я услышал, как на третьем шумит папа Костика:

— Он избил его! Он избил его!.. Хулиган! Призовите его к порядку. Или я сам... Недаром его зовут... Недаром ему дали это прозвище! — И он выкрикнул мое прозвище. — Заслужил!

Я не стал подниматься, пока не услышал, что папа Костика хлопнул дверью.

Тогда я поднялся.

Дома все были взбудоражены. Мама поглядывала на отца. Я знал этот взгляд, он как бы просил отца: «Помни, что мы его долго ждали! Не кричи на него! Разберись...» Отец же поглядывал на маму и словно просил о том же. Они всегда обмениваются такими взглядами, когда я в чем-нибудь виноват. Будто сдерживают друг друга.

— За что ты его избил? — спросила Людмила.

— Так... Ни за что. Я давно хотел.

— Ты хотел?! — Людмила нервно чертила что-то на огромном листе. У нее такая привычка: когда идет неприятный разговор, не прекращать работу, водить карандашом или рейсфедером по бумаге.

Я молчал.

— За что ж ты его избил? Ведь была же, наверно, причина? Скажи нам. Прямота многое искупает!

— Нет... Просто так. Он очень противный.

— Мало ли противных людей на свете! Ты всех будешь бить?

Я пожал плечами:

— Не знаю.

— Если была бы причина, я, возможно, могла бы понять...

Любит она рассуждать: «Если бы было, тогда бы...»

— Не было. Нет!..

— Жестокость вообще отвратительна, — не прекращая чертить, сказала Людмила. — А беспричинная жестокость безнравственной вдвое. Нет, в тысячу раз.

Подсчитала!..

4

Если говорить по-честному, гордостью нашей семьи должна быть Людмила. Она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. А гордятся все в доме мною. Это несправедливо. Но что можно поделать?

Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. А иногда грубовато. Из-за его грубоватости и появилось на свет мое прозвище, которое я до сих пор не решался произнести.

Даже за тройки меня не ругают.

— Вот ведь способный какой, мерзавец! Совсем вчера не учил уроков, у телевизора просидел, а на тройку ответил! — Свои восторги отец обязательно закончит словами из песни. Глядя на меня, он пропоеет на какой-то свой собственный любимый мотив: — И в воде он не утонет, и в огне он не сгорит! Или что-нибудь вроде этого.

Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, которую мы оба читали.

— Память какую имеет, мерзавец! Все помнит, как будто вчера читал... — И радостно восклицает: — Я вот все позабыл, все перепутал!

Мне кажется, отец просто счастлив, что забывает и путает.

На следующий день после того, как я смазал по морде Костика, отец не выдержал и сказал:

— Драться, конечно, плохо. А все-таки смелый какой, мерзавец! Ниже на две головы, а пошел в наступление, решился! Ниже на целых две головы!..

И потом он еще долго не мог успокоиться, все повторял:

— Смелый, мерзавец!

Слово «мерзавец» он всегда произносит ласково, даже нежно. Но мне от этого, конечно, не легче, потому что это самое слово и стало давно моим прозвищем. «Ленька-мерзавец» — зовут меня во дворе.

Вот до чего доводит любовь!

И вообще мне вовсе не нравится, что дома мною все восхищаются. Трудно, что ли, ответить на тройку? Или запомнить содержание книги? Кретин я, что ли, какой-то? И почему надо радоваться, что я на целых две головы ниже Костика? (Хотя на самом деле я ниже всего на полголовы!)

Отец и мама, мне кажется, очень довольны, что я невысокий. Они бы хотели, наверно, чтоб я и вовсе не рос: они-то ведь ждали ребенка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. Но я не хочу!

Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, нехорошо одного из них выделять. С воспитательной точки зрения! Я сказал об этом родителям.

— Другой бы гордился, что его выделяют, а этот заботится о сестре! — воскликнул отец. — Добрый, мерзавец!..

— Это даже хорошо, что ты сделал нам замечание, — согласилась мама. — Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом. Мы очень рады.

Вот вам и все! Они очень рады. А я?..

И то, что Людмила до сих пор не выходит замуж, мне кажется, не волнует моих родителей. По крайней мере когда я сказал о зубном враче дяде Лене, они промолчали. «Поддержали бы меня в тот момент, — думал я много раз, — и, может быть, наша Людмила жила бы сейчас на втором этаже, прямо под нами. И мы ходили бы в гости друг к другу! У нее была бы семья... В книжках пишут, что каждая женщина стремится иметь семью. Может, Людмила этого не понимает? И родители не объяснят! Потому что я заслонил Людмилу, я, поздний ребенок... А это несправедливо...»

За драку отец хвалил меня, когда Людмила еще не вернулась с работы. Сестру у нас в доме побаиваются. Потому что она, как говорит отец, человек без слабостей.

Но одна слабость у сестры все же есть. Это я! Что подделаешь? Снова я...

Нет, Людмила не станет хвалить меня за тройки или за драку. Она сделает замечание, отчитает. А дня через два или три принесет мне подарок, словно бы извинится. Так бывает почти всегда.

И на этот раз так получилось.

Вернувшись с работы, сестра меня будто не замечала. Когда она сердится на меня, у нее сразу находится тысяча дел: чертит, стирает, переписывает какие-то лекции. И всем этим она занимается, чтоб не встречаться глазами, не разговаривать.

На этот раз она тоже целый вечер работала. А перед сном вдруг сказала:

— Завтра не вздумай долго валяться в постели!

— Но ведь завтра же воскресенье, — тихо ответил я.

— Мы идем с тобой в театр.

Она сказала так, будто собиралась отправить меня в милицию.

— Хорошо, — сказал я. — Пойдем.

Благодарить ее в такие минуты нельзя.

Не знаю, как я дождался утра! Я даже не спросил Людмилу, какую пьесу мы будем смотреть. Это мне все равно. Важно, что я иду в театр!

Взрослые начинают выпрашивать: «Что за спектакль? А не потеряем ли мы время даром? Что о нем пишут? Что говорят? Интересно ли это?» Им можно так кочевряжиться, потому что они ходят, когда пожелают и куда пожелают. Просто избаловались. А мама с папой еще не отхотят, чтоб я рос, чтоб стал взрослым!..

Наконец мы пошли. Отец решил проводить нас до театра. Он держал меня за руку. Он любит вести меня за руку, как раньше, когда я был еще маленьким и он заходил за мной в детский сад. Обычно я вырываю руку (смешно тащить на буксире тринадцатилетнего парня!), и сейчас бы я не позволил, если бы у отца не было двести двадцать на сто. Я не имею права отбирать у него положительные эмоции!

Людмила уже немного смягчилась, но еще окончательно не простила меня. Теперь было похоже, что она решила отвести меня не в милицию, как накануне, но все же в место не очень приятное: например, на урок, хотя у всех был день отдыха, воскресенье. По ее строгому виду никак нельзя было угадать, что мы идем в театр.

Я тайком наблюдал за Людмилой.

«Какая же, — думал я, — все-таки несправедливость: Людмила, женщина, высокая и, как говорят, со спортивной фигурой, а я, мужчина, маленький, ниже среднего роста. И отец сгибается пополам, чтоб вести меня за руку. Нет, я не хочу отбирать у Людмилы ее фигуру, но пусть и у меня будет не хуже!»

У Людмилы не только фигура спортивная, она и в самом деле занимается спортом: играет в теннис и волейбол. Вообще она, на мой взгляд, интересная. Очки ничуть ей не мешают, а даже чуть-чуть украшают ее: лицо получается строгое, умное. Вот только не знаю, нравятся ли мужчинам строгие и умные женщины.

Я видел, что молодые люди, которые шли нам навстречу, почему-то не обращали на Людмилу внимания. Это было обидно. Может быть, они угадывали по лицу сестры, что она не стремится иметь семью, к чему должна стремиться, как я читал, всякая нормальная женщина.

Так я думал, поглядывая тайком на сестру.

Навстречу шли женщины под руку со своими мужьями. Это ведь сразу видно: муж или не муж. Некоторые везли коляски, а мужья их шагали рядом. Или даже сами везли...

Мне хотелось спросить у всех встречных женщин: «Вы кандидат наук? А вы кандидат?»

Уверен, что никто не ответил бы: «Да». А моя сестра — кандидат. Почему же только она одна шла одна? То есть со мной и с отцом, но это же не считается. Все потому, что не хочет замуж!

У театра мы встретили каких-то знакомых Людмилы.

— Двадцать лет не виделись! — закричали почти в один голос мужчина и женщина. — Почти двадцать! Мы из пятого «В»! Ты помнишь? Нас потом перевели в новую школу. И мы разлучились. На столько лет! Живем в одном городе — и ни разу не встретились. Непостижимо! А сейчас сразу узнали... Непостижимо! Мы давно поженились. Уже очень давно. Просто не помним себя неженатыми. Непостижимо! Просто не помним...

Можно было подумать, что они поженились еще в пятом классе. Они перебивали друг друга. И готовы были восклицать свое «Непостижимо!» по поводу всего — и хорошего и плохого.

— Это твой сын? — воскликнула женщина. — Копия! Просто одно лицо!..

— Это ваш внук? — обратилась она к отцу. — Очень похож на дедушку! Очень... Просто непостижимо! Ну, поздравляем. Прекрасный внук!

«Неужели я выгляжу настолько моложе своего возраста, что меня можно принять за сына Людмилы? — с огорчением подумал я. — Или Людмила выглядит старше? Нет, они знают, сколько ей лет: вместе учились. Значит, дело во мне!»

Но еще больше меня поразило то, что отец промолчал, когда его поздравили с таким замечательным внуком. Он только залился краской так сильно и густо, как не заливался еще никогда: и уши, и шея, и даже затылок (это было видно сквозь белые волосы) — все стало красным.

Я вспомнил слова дяди Лени с нижнего этажа: «Может, его что-нибудь мучает, угнетает?»

А может, отца действительно что-то мучает? И он только вида не подает? Мне казалось, он хотел, чтоб бывшие пятиклассники и дальше принимали меня за сына Людмилы. Да, он хотел... Это мне было ясно.

Я взял сестру за руку и, хоть она еще не совсем простила меня, прижался всем телом к ее руке.

Бывшие пятиклассники, казалось, готовы были вспомнить все, что с ними случилось за последние двадцать лет. Есть ведь такие люди: думают, что всем интересна любая мелочь и чепуха из их жизни, словно они великие композиторы или писатели.

— Мы опоздаем, — сказала Людмила.

— Где вы сидите? Где вы сидите? — опять зашумели мужчина и женщина из пятого «В». — Ах, в десятом ряду? Непостижимо! Мы совсем рядом. Это прекрасно! Познакомим твоего сына со своими дочками. Они уже у нас там, внутри. Сидят чуть ли не со вчерашнего дня. Они тоже в четвертом классе. Двойняшки! Твой ведь в четвертом?

— В четвертом, — ответил я, хоть на самом деле учился в шестом.

— Да-да... — тихо сказала сестра. И, мне показавшись, посмотрела на меня с благодарностью.

Я уже не отпускал ее руку.

Когда мы вошли в вестибюль, Людмила шепнула:

— Ну, уж... называй меня мамой. Раз они так хотят!

Я так и не узнал, какой мы будем смотреть спектакль, пока не купили программу. Потому что все время думал — и в вестибюле и когда поднимались по лестнице...

— Хочешь в буфет? — каким-то чужим, словно заискивающим голосом спросила меня сестра. Уж лучше б сердилась!

Я согласился... Я люблю получать от театра все удовольствия: попить воды в буфете, съесть пирожное, купить программу и всю ее прочитать, походить по фойе и поглядеть на портреты артистов... И, конечно, посмотреть пьесу. Чуть не забыл!

Сестре часто звонят. Если она уходит из дому, то оставляет блокнот и по-особому тщательно очищенный карандаш («Мой инструмент!» — говорит сестра). Она просит нас аккуратно записывать, кто ей звонит, откуда и по какому вопросу.

Выполняя просьбу Людмилы, отец часто повторяет:

— Все по делу! Только по делу! — И напевает из своего любимого «Князя Игоря»: — Ни сна, ни отдыха измученной душе!..

Прежде мне казалось, отец поет от радости, что его дочь такой деловой, такой занятой человек. А теперь я подумал: «Откуда же радость? Ведь князь Игорь поет эту арию в половецком плену!.. Правда, отец иногда переиначивает по-своему песни и арии. Но тут, кажется, он ничего не меняет, а поет так же, как временно побежденный князь: грустно, с досадой... Почему я раньше этого не заметил?»

Однажды, дней через десять после того, как мы были в театре, раздался странный звонок. Верней, звонок-то был самый обычный, а разговор сразу начался как-то не так... Мужской голос позвал Людмилу. Всегда ее называют по имени-отчеству. Даже старые люди у нас в доме, которые помнят сестру девчонкой, зовут ее, как говорит отец, не забывая про папу. Я всегда был уверен, что отец этим гордится: если молодую женщину зовут по имени-отчеству, значит, ее уважают! «Или перестали считать молодой? — неожиданно подумал я после театра. — И откуда я взял, что отцу это нравится?»

Я ответил мужчине, что Людмилы нет дома, и спросил, как всегда, откуда он и что передать.

— А кто это говорит? — спросил он в ответ.

Так никогда и никто не спрашивал. «Называет сестру по имени, интересуется мною, — подумал я. — Интересуется, как те возле театра... Наверно, тоже какой-нибудь бывший пятиклассник из Людмилиной школы. Конечно!.. Кто же еще может звонить ей без всякого дела?» Мне показалось, мужчина не хочет сказать ничего такого, что нужно было бы записать в Людмилин блокнот. И захлопнул его.

Я вспомнил, как в театре сестра шепнула: «Называй меня мамой...»

«Сестре приятно, чтобы приятели, которые не видели ее двадцать лет и сами давно уже переженились, думали, что и она тоже замужем... и имеет ребенка», — рассуждал я. Все эти мои размышления продолжались секунду. И, не успев еще ничего решить, я брякнул в трубку:

— Это ее сын...

— Какой сын? — спросил мужской голос.

— Какой?... — Я ответил: — От первого брака!

Сам не знаю, зачем я это сказал. Должно быть, мне хотелось, чтоб школьный друг Людмилы подумал: «Я женат всего один только раз, а она вон какая: сумела быть в браке целых два раза! А может, и больше... Значит, пользуется успехом!»

Нет, пожалуй, в тот миг я не успел ничего подобного захотеть. Просто не было времени... Но то, о чем я в последнее время мечтал, как-то само собой слетело у меня с языка.

— Спасибо, — сказал мужчина. И сразу ухо мне закололи тонкие, короткие гудки.

«Ну, ничего, — думал я. — Ничего не случилось... Несколько раз может выйти замуж только красивая женщина! Значит, я не унизил сестру. А даже наоборот. Пусть ей завидуют! Все правильно. Все прекрасно!»

Так я думал до той минуты, пока Людмила не вернулась домой. Она на меня даже не посмотрела. А прямо в пальто прошла в другую комнату, где мама читала книгу. И громко закрыла дверь.

Людмила, всегда такая спокойная и аккуратная, забыла снять в коридоре пальто: случилось что-то ужасное!

Вскоре я узнал, почему так волновалась сестра. Я не хотел подслушивать. Но снова подслушал... Или, верней сказать, услышал. Людмила, как и мы с отцом, говорит так, чтобы мама не напрягалась. Тут уж и в другой комнате хочешь не хочешь, а все разберешь.

— Я должна с тобой поделиться, — сказала Людмила. — Только ты не волнуйся. — Наверно, мама сразу заволновалась, потому что сестра сказала: — Нет, нет, ничего особенного!

Мама что-то ответила. Но ее слова оставались в той комнате, я их не слышал.

— Ивану кто-то сказал, что я была замужем. И даже два раза... Что у меня большой сын.

Потом стало тихо — что-то сказала мама. А я в это время успел подумать: «У сестры есть какой-то Иван, которого от меня все скрывают. Ну да, ведь я ребенок!...»

— В самом факте нет ничего такого... — продолжала Людмила. — Просто сплетня — и все. Или глупая шутка.

Мама что-то спросила.

— Нет, кто именно, не сказал. Но поверил! Унижительно было доказывать... И расспрашивать! Понимаешь?

Следующую фразу мамы я угадал по ответу Людмилы. Мама, наверно, сказала так: «Это даже хорошо: ты сможешь проверить теперь его чувства». Я думаю, она так сказала, потому что сестра ей ответила:

— Это даже хорошо? Не считаю! И не собираюсь проверять его чувства. А вот реакция его была отвратительной: он не сдержался, он мне нагрубил. Он даже кричал... Понимаешь?

Я боялся, что вернется отец... И услышит. А потом шея его, и затылок, и уши снова залиются краской, как тогда, возле театра.

Что же я натворил?!

— Если бы он попросил объяснить, я бы могла понять...

Любит сестра рассуждать: если бы да кабы... Как будто нельзя простить!

Что-то сказала мама.

— Нет уж, все кончено!

Что-то сказала мама.

— Почему будет трудно каждый день видеть? У меня будет сознание правоты!

Мне казалось, Людмила нарочно отвечала какими-то жесткими фразами, чтоб не расплакаться. Мне было жалко Людмилу. И в то же время я злился: разве нельзя простить?

Значит, они работают вместе: «каждый день видеть»...

— Нет, ни за что! — сказала Людмила. — Можно все попытаться понять, но когда унижают твоё достоинство... Да, ты права: это даже хорошо, что он так раскрылся. Я вовремя остановлюсь!

Где она остановится? В каком это смысле? Не выйдет замуж!.. Я должен предотвратить ее остановку! А то ведь она «мастер четких линий»: как говорит, так и делает.

Сестра вышла из маминой комнаты. Я усиленно делал уроки...

Пальто уже было у нее на руке: ей стало жарко.



Сестра улыбалась, но фигура у нее была не такой спортивной, как всегда: Людмила чуть-чуть ссутулилась, словно на плечах у нее была тяжесть. Мне опять стало жалко ее... Захотелось помочь.

— Людмила, — сказал я тихо, — я кое-что слышал...

— Ты слышал?

— Не мог же я заткнуть уши! Я хотел убежать на улицу, чтоб не слушать... Но уроки! Сама понимаешь...

— Ты должен был войти в комнату и сказать нам, что слышишь. Это было бы честно.

— Я думал, что ничего не пойму... И поэтому не вошел. Но потом я все-таки понял. А когда понял, что понял, поздно было уже входить.

— Что же ты понял?

— Знаешь, Людмила, когда люди кричат, значит, они волнуются. А если они волнуются, значит, переживают... Ты разве не замечала?

— Какая-то чепуха! — сказала Людмила. Но продолжала слушать.

— Когда волнуются, могут сказать что угодно! Вот мама иногда говорит: «Глаза бы мои на тебя не смотрели!» Это она про меня говорит. Но разве она хочет, чтоб я исчез?

— Это все? — спросила сестра.

«Это все?» — так спрашивает наша математичка, когда у доски плетут ерунду. Но сразу не ставит двойку, а, нахмурившись, ждет: может, все же удастся услышать что-то толковое?

И Людмила ждала.

— Раз он кричал, значит, он волновался... А раз волновался, значит, переживает. Ну, а если переживает...

— Это я уже слышала!

Так тоже говорит наша математичка: «Это я уже слышала!» И вслед за тем сразу же ставит двойку.

— Это я уже слышала! — еще раз твердо повторила сестра.

Ясно: поставила двойку.

Ведь она слушала меня, как слушали бы шестиклассника, который пришел сдавать экзамен в институт.

— Ничего ты не понял,— сказала Людмила.— И не мог понять!

Еще бы: ведь я ребенок! Почему она этого не добавила? Забыла, должно быть. Просто забыла.

Людмила пошла в коридор, чтоб повесить пальто.

Я снова склонился над книгой. Но думал совсем о другом. «Я должен помочь ей!» — вот какое я принял решение.

6

Я уже говорил, что, если сестра отчитывает меня, то есть портит мне настроение, она дня через два или три обязательно извиняется. Не признается, конечно, в этом, но извиняется: покупает билеты в театр, или берет меня на стадион, где играет в теннис и волейбол, или приносит домой подарок.

В таких случаях подарок она не называет подарком, а говорит мне примерно так:

— Пора тебе уже заняться спортом. Сначала посмотри, как играют другие. Пойдем сегодня на стадион.

Или так:

— С математикой ты не дружишь. Кем же ты хочешь стать в будущем? Разве можно об этом не думать? Испытай свои силы в художественном творчестве. Для начала хоть в фотографии. Я купила тебе аппарат...

Сестра говорит очень строго, как бы не мирится, а воспитывает меня. Но подарок остается подарком. Я тоже испортил сестре настроение. Даже хуже: я заставил ее страдать! И чем больше она храбрилась (например, надевала платье, которого я раньше даже не видел!), тем яснее мне было, что ей сейчас не до платьев.

В тот день, когда я случайно подслушал ее разговор с мамой, уже вечером, перед сном, я не выдержал и сознался:

— Людмила, это я сказал Ивану, что у тебя есть сын от первого брака. По телефону... Он позвонил и спрашивает: «Это кто говорит?» На меня вдруг что-то такое нашло непонятное... Я и ответил: «Это ее сын». Он говорит: «Какой сын?» А я: «От первого брака!» Пошутил, понимаешь?

Я сказал так и испугался: «Неужели она подумает, что я вовсе не пошутил, а сказал всерьез? Из-за той ее просьбы... в театре...»

Но сестра, кажется, так не подумала. И даже не рассердилась. Не рассердилась!..

— Дело совсем не в этом,— сказала она.— Дело в реакции... Впрочем, ты не поймешь!

— Но ведь если человек кричит, значит, он волнуется, а если волнуется...

— Это я уже слышала!

Больше я советов ей не давал.

Я прекрасно во всем разобрался, все, мне кажется, понял, но, по мнению Людмилы, не должен был разбираться и понимать. Не имел никакого права! И не мог помочь ей открыто. «Почему?» — злился я.— Почему?!

Я должен был действовать тайно от мамы и от Людмилы. Отец ничего не знал: у него двести двадцать на сто...

И вот я начал исправлять положение!

Я знал служебный телефон Людмилы и, когда никого не было дома, позвонил.

— Можно Ивана? — сказал я.

— Какого Ивана? — ответил смешливый девичий голос.

— Не знаю...

— А фамилия?

Я молчал.

Это девушку совсем уж развеселило.

— Какой-то ребенок! — объяснила она сотруднику.— Мальчишка или девчонка...

Снова ребенок! И неужели нельзя по голосу отличить меня от девчонки?

— Предлагаю на выбор! — сказал мне веселый голос.— Ивана Петровича, Ивана Сергеевича и Ивана Ивановича!..

Я выбрал Ивана Ивановича. Но когда он сказал «Алло!», я сразу повесил трубку. Вдруг не тот? А я назову ему имя сестры и начну извиняться!..

И потом, наверное, в мастерской много разных отделов. Откуда я взял, что Людмилин Иван работает с ней в одной комнате?

Что было делать?

Узнать фамилию у Людмилы? Она мне не скажет: не мое это дело! Спросить тайно у мамы? Она мне, конечно, ответит так:

— Это даже хорошо, что ты волнуешься за сестру. Благородно с твоей стороны! Но в данном случае вмешиваться не стоит.

Оставался один только выход...

В день, когда у сестры был отгул и она ушла играть в теннис, я отправился к ней на работу. Не совсем «на работу», а к дому, где была архитектурная мастерская.

Я знал этот дом — красивый, из стекла, металла, пластмассы. Таких домов еще мало у нас в городе. Но смешно, если мебельщики будут сидеть на плохой мебели, а архитекторы работать в некрасивом и старом доме.

Я пошел пешком, чтоб по дороге набраться храбрости. Но чем дальше я шел, тем страшнее мне становилось: «Как узнаю его? Ивана... О чем я ему скажу, незнакомому человеку?»

Делать что-нибудь смелое надо сразу, не думая, раз решил. И мне лучше было бы ехать туда на троллейбусе или трамвае. Слишком уж много времени я оставил себе для сомнений и всяких мыслей.

Наконец я дошел...

Я знал, что рабочий день кончается в половине шестого. Архитекторы стали сыпаться из подъездов, как мы высыпаемся из школы после уроков. Только немного потише и помедленнее...

Двери были из некрашеного дерева, с разводами, напоминавшими мне почему-то водяные подтеки, как на пнях. Эти двери моя сестра распахивала каждый день по два раза. Нет, по четыре: она еще ходит обедать в столовую. Я с интересом разглядывал двери и лестницу...

Сперва из дверей посыпались девушки. У нас из школы первыми выскакивают мальчишки. Девушки были в ярких, цветастых платьях, на каблуках, с модными сумочками. У некоторых в руках были рулоны. Все они казались очень красивыми. Это меня огорчило.

Но ни у кого из них не было такой спортивной фигуры, как у Людмилы. И такого умного, как говорит мама, значительного лица. Только вот нравятся ли мужчинам значительные лица? Этого я не знал.

В мастерской Людмила работает меньше года: раньше она училась в аспирантуре. У нее еще нет здесь близких подруг, которые ходили бы к нам домой. И от этого было спокойнее, никто не мог крикнуть: «Леня, а ты что тут делаешь?..»

Потом показались мужчины.

Как мне узнать Ивана? По дороге я кое-что избрел... Наверно, это выглядело очень смешно и глупо, но, как только вышли мужчины, я крикнул, глядя куда-то вверх, словно голубю или скворцу:

— Ива-ан!..

Никто не откликнулся.

Из дверей выходили группами: то женщины, то мужчины. Иногда вперемежку, но редко... Будь что будет, я быстро стал повторять:

— Иван! Иван! Иван!

Нет, так не годится: собаку я кличу, что ли?

— Ива-ан...

Я произнес имя протяжно и медленно, словно дальше должно было следовать отчество.

— Вы меня? — ткнул себя в грудь мужчина.

Он сказал «вы», наверно, от неожиданности.

Нет, этот был слишком уж старый и лысый. Я помотал головой: не вас!

И снова крикнул, глядя на небо:

— Ива-ан!..

— Вы меня?

Если б он и нравился нашей Людмиле, я бы решительно выступил против: он был сестре до плеча. И то бы не дотянулся!..

— Нет, я не вас...

И снова:

— Ива-ан...

— У тебя объявился тезка, — сказал кто-то кому-то в группе мужчин.

Один из них обернулся, взглянул на меня.

— Ива-ан! — снова крикнул я. Уже, наверное, от испуга.

Тогда он пошел ко мне.

— Видишь ли... — начал он где-то на полпути.

Я прямо вздрогнул: «Видишь ли...» — так часто начинает фразы дядя Леня с нижнего этажа. Но дядя Леня произносит свое «видишь ли» неуверенно, растягивая слоги, словно бы вслух рассуждая, а этот сказал как-то насмешливо.

Пока он шел ко мне, я успел подумать: «Наверно, не ниже Людмилы... Ведь мужчина среднего роста, можно считать, равен высокой женщине!»

— Видишь ли, — повторил он все так же насмешливо, — у меня к тебе огромная просьба: называя своего приятеля просто Ваней. Чтобы не было путаницы.

Первый из трех Иванов, он понял, что не мог его звать незнакомый, а тем более мальчишка. Не стал тыкать себя в грудь и спрашивать: «Вы меня?»

«Настоящий Иван! — думал я. — Русоголовый, светлоглазый... Родители, когда давали имя, не промахнулись! Конечно: ведь в сказках Иван если даже Иван-дурак, то все равно далеко не дурак, а сообразительный и красивый. Ну, как же могли родители назвать Иваном того вон, лысого? Или того, низкорослого? Сообразили! Хотя, когда человеку дают имя, трудно с точностью определить, будет он лысым или не будет...»

— Ну, что же, договорились? — спросил он. — Поскольку твой Иван пока еще здесь не работает...

— Работает! — неожиданно для самого себя перебил я его.

— Ну-у, брат! Создается просто безвыходное положение. И часто ты будешь его вызывать?

— У меня тут еще кое-кто работает...

— Тоже Иван?

— Людмила...

Я нарочно назвал имя сестры, чтоб посмотреть, какое это произведет на него впечатление.

Он не вздрогнул, не побледнел и не схватился за сердце, как делают, услышав имя любимой, герои в

пьесах или романах. Просто исчез его насмешливый взгляд, сразу куда-то пропал. И я догадался: это тот самый. Тот!

Он глядел уже на меня абсолютно серьезно и даже чуть-чуть подозрительно, будто я мог обмануть его или разыграть.

— Какая Людмила?

Я назвал нашу фамилию.

— Ну, брат...

— Вот именно: брат! Я ее брат... И даже похож на нее немного лицом. Так говорят... Присмотритесь! Я забыл, что можно быть похожим не только на сестру, но и на мать. Чтобы он не успел об этом подумать, я стал убеждать:

— Да брат же я, брат! Это я разговаривал с вами и пошутил... У Людмилы нет сыновей! И не было браков... Ей тысячи раз предлагали, но она не хотела!

— Тысячи раз?

— Ну, десятки... Она сама не хотела выходить замуж. И сейчас не хочет. Так мне кажется... А я просто-напросто пошутил.

Он мне поверил, потому что обернулся к друзьям и сказал:

— Не ждите меня.

Он не повысил голоса, но они услышали, потому что голос у него и так был громкий, отчетливый. «Вполне подходит для нашей семьи!» — решил я.

— Идите. — Он махнул сослуживцам рукой.

— Что, отыскал пропавшего сына? — спросил кто-то из них.

— Вот видите! — обрадовался я. — И они пошутили: назвали меня вашим сыном. А кто-нибудь может услышать и подумать, что в самом деле. Как вы подумали...

— Так ты и есть Леня?

— Она вам рассказывала?

— Говорила, что есть младший брат. А ты, оказывается, вполне взрослый парень!

С этой минуты я его полюбил.

— Почему вы ни разу к нам не пришли? Просто так, в гости...

— Не приглашала... Пойдем-ка обсудим с тобой ситуацию.

Он обнял меня за плечи. Это было приятно. И мы с ним пошли по улице, не спеша, как ходят приятели.

Сперва он молчал. А я обо всем на свете забыл: мы шли как приятели!

Потом я взглянул на него и подумал, что он бы ни за что не вышел на лестницу в фартуке, как дядя Леня, с которым я почему-то его мысленно сравнивал. На нем был модный, красивый костюм и рубашка такая белая, что лицо казалось уже загорелым, хотя была еще только весна. А может, и правда успел загореть?

— Мы ведь с Людмилой в мастерской почти друг друга не замечали: она — на втором этаже, а я — на четвертом. Познакомились на теннисном корте, — сказал он. — Вот уже полторы недели, как забросил ракетку...

«Он забросил ракетку, а Людмила стала ходить на корт еще чаще, — подумал я. — Значит, он может не видеть ее, а она его, значит, не может?..»

— Людмила тоже не ходит на теннис, — сказал я. — Она ходит в театр... В кино! Почти каждый вечер...

— Вот видишь! Я так и знал. Почти каждый вечер?

Заволновался!

— Ну, в крайнем случае через день.

— В этом-то все и дело! Не в том, что ты пошу-



тил, а я ей устроил сцену... Дело в том, что она даже не хочет мне объяснить...

— У нее есть сознание собственной правоты! — сказал я. — И потом... Должна у нее быть гордость?

— Ну-у, брат, ты меня удивил! Разве можно с этим считаться? Подошла бы и объяснила: так, мол, и так, мой брат пошутил. А то ведь даже слова не произнесла! Ничего объяснить не пожелала... И спокойно ходит в кино!

«Людмила считает, что он не имел права разволноваться и накричать, — размышлял я. — Он считает, что она обязательно должна ему все объяснить... Почему взрослые придают такое значение мелочам? И все усложняют?.. Они слишком много думают — вот в чем несчастье. А иногда надо поступать не думая, просто как хочется! Я вот, например, не могу быть в ссоре с друзьями больше чем день или два... А взрослые все усложняют! Иногда я могу им помочь. Но они не верят, что я могу. И я не могу! Хотя Иван, кажется, верит...»

— Слушай, ты сам-то влюблялся? — спросил он меня.

Сам-то? Влюблялся?.. Значит, он в Людмилу влюблен!

Я улыбнулся, хоть не хотел улыбаться.

— Вижу по твоей блаженной физиономии, что уже успел!

— Я? Нет еще...

— Ну-у, брат! Неужели ни разу?

— Точно не помню... Но, кажется, нет...

— Вспомни! Не может быть!..

— То есть однажды я испытывал кое-какие чувства... Но потом это прошло.

— Ну, конечно.

Почему же конечно? Может быть, и у него чувства всегда проходят?

Когда я ответил, что не влюблялся, я сказал Ивану неправду. Потому что не привык, чтоб взрослые задавали мне такие вопросы. А на самом-то деле почти все мальчишки у нас в когор-нибудь влюблены. Один мой друг даже остался на второй год из-за любви. Абсолютно ничего не соображал: не мог писать диктантов, контрольных по математике. Разве нормальный взрослый в это поверит? А Иван бы поверил... Я чувствовал это. И все-таки не смог ему честно ответить.

— А я, знаешь, где первый раз влюбился по-настоящему? — спросил вдруг Иван.

— По-настоящему? Должно быть, в этой самой архитектурной мастерской?..

— Знаешь где?

— Нет, я не знаю...

— В детском саду! Мы выезжали летом за город. И там одна девочка заболела. Ее звали Норой. Даже имя запомнил! Необычное такое легче запомни-

нается. Ей было шесть лет. В нее были влюблены все поголовно. Ну, конечно, из тех, которые умели влюбляться в шесть лет! Она заболела, и я ей носил в изолятор букетики ягод. Огромное счастье, что она меня презирала!

— Почему?

— Оказалось, что я ей носил волчьи ягоды. Дикие! Они были очень красивыми. Внешне очень мне нравились!

Всю дорогу я мечтал сказать что-нибудь умное.

— Внешняя красота не всегда совпадает с внутренней, — сказал я.

— Она поняла это еще раньше, чем ты: в шестилетнем возрасте. И выбрасывала мои подарки. Иначе бы ей не выздороветь никогда! Сообразительная была девчонка... И все-таки я к ней охладел. Тогда все было просто.

«Теперь уже, значит, не просто!» — с радостью решил я. И сказал:

— Это нельзя назвать серьезной любовью. Ну, увлечение... Такое со мной бывало сколько угодно раз!

— Тогда ты должен меня понять! И помочь!..

Я читал в книжках, что ребята во время войны часто помогали взрослым. Иногда даже спасали от смерти! А так, в обычные дни, взрослые почти никогда не обращаются к нам за серьезной помощью. Сбегать за чем-нибудь, что-нибудь принести — это пожалуйста. А по серьезному делу, от которого зависит их жизнь, не обращаются. Иван обратился... И я готов был сделать для него что угодно!

— Разве у вас сейчас... увлечение?

— А у нее?

Раньше мне очень хотелось сказать ему, что Людмила абсолютно спокойна, совсем не страдает. Но теперь я не мог соврать и сказал правду:

— Она тоже переживает.

Он даже остановился.

— Где же логика? — вроде бы злился он. Но голос был радостный. — Где же простая логика?! Ничего не сказала... Не объяснила!

Обычно, когда я мирюсь с приятелем, то для начала предлагаю ему что-нибудь приятное. Подхожу и как ни в чем не бывало говорю: «Пойдем на каток! Пойдем играть в чехарду!»

— А вы бы просто так подошли к ней и сказали: «Пойдем в кино!» или «Пойдем играть в теннис!».

— Я предлагал.

— А она?

— Не реагирует.

Зачем все так усложнять?!

— Она очень переживает? — тихо спросил он.

— А вы думали нет?..

— Кончай с этим «вы»! — крикнул он, вот как обрадовался. — Говори просто «ты»! Я — за полное равноправие.

Равноправие... Вот чего мне всегда не хватало!

Часто взрослые говорили мне: «Давай побеседуем как мужчина с мужчиной!» Или: «Поговорим с тобой как приятели!» Это самое как подчеркивало, что на самом-то деле я не мужчина и мы еще пока не приятели. Разве может быть равноправие на какое-то определенное время? Разве можно быть приятелем на одну беседу?

Иван предлагал равноправие навсегда. Так мне казалось.

Мне захотелось немедленно отблагодарить Ивана. И я рассказал о плане, который придумал еще до нашей с ним встречи, дома:

— Сделаем так!.. Я скажу, что пригласил к себе друга. Нового... Совсем нового! Все будут дома: они

любят изучать моих новых друзей. А придете к нам вы!

— Я?..

— Ну да! А потом уж я все объясню: разыскал вас и пригласил. Так я им объясню. Дома Людмила не сможет пройти мимо и не ответить. Она очень гостеприимная. На себя все возьму. Раз из-за меня это случилось!

Я боялся, он скажет так, как сказала бы мама: «Это хорошо, что ты обо мне заботишься. Благородно! Но в данном случае твой план не подходит...»

Он ничего подобного не произнес. Обнял меня сильнее за плечи, и мы снова пошли.

— Я всегда говорю, что нет безвыходных положений! — воскликнул Иван.

— А до этого заговаривать с Людмилой не надо! — сказал я. — Она ведь может опять не ответить. Пройдет мимо, и все! Вполнѐ может быть... Она у нас тоже с детского сада пользуется огромным успехом. Как ваша Нора... Мне мама рассказывала. И поэтому она очень гордая!

— А я ведь ей не сказал про тебя ни слова. Не выдал! — похвастался он, как мальчишка. — Она так и не знает, кто это мне наврал про сына и двух мужей.

— Я сам сознался...

— Значит, ей известно, как все получилось? И все-таки не подходит? Не объясняет?.. И мириться не хочет? Ну, это уж слишком! Ну, знаешь, брат, это уж...

— Она первая не подойдет! Потому что она очень многим нравится. Вот, например, дяде Лене, который под нами живет. Он очень известный врач: все болезни умеет лечить. А недавно мы с ней шли в театр, так все кругом на нее смотрели. И сборачивались...

— Это я сам замечал, — грустно сказал Иван. И добавил: — Она уж, наверно, дома? Ты ее скоро увидишь?

Он мне завидовал! И я его понимал... Вот, например, когда я в последний раз был влюблен, то очень завидовал брату этой девчонки. Ему было всего лет семь или восемь, а я к нему даже подлизывался. Заговаривал с ним. И очень ему завидовал: ведь он видел ее каждый день — и утром и вечером, с ней вместе обедал и ужинал. И вместе ездил на дачу, а я летом с ней разлучался. «Он всегда будет знать о ней — через десять лет, через двадцать... Куда бы она ни уехала!» — так думал я. Ведь я же не знал, что скоро к ней охладею. А если бы кто-нибудь мне сказал, я б ни за что не поверил. Мне, когда я влюбляюсь, всегда кажется, что это до самой смерти, на всю жизнь, до конца.

— Значит, договорились? Вы приходите к нам в гости, потому что я вас пригласил!

— Не вас, а тебя!

Кстати, я часто думал о том, что неравноправие между нами и взрослыми начинается с этого самого: они нас — на «ты», а мы их — на «вы».

Мама, отец и Людмила, как я уже говорил, очень любят изучать моих новых друзей. Если приятель им не понравится, они обязательно дадут мне это почувствовать. Конечно, каждый по-своему, потому что у каждого из них свой характер.

Отец постарается, чтоб то, что мой новый приятель ему неприятен, мне было приятно. Или по крайней мере, чтоб я не очень расстроился.



— У тебя же есть просто замечательные друзья,— скажет он.— Слишком уж расширять этот круг— все равно что разбавлять вино водопроводной водой: оно крепче от этого не становится. У тебя же есть такие отличные друзья. Такие надежные! Все к тебе тянутся... Любят тебя, мерзавца!

— Это даже хорошо, что ты прощаешь ему все недостатки,— скажет мама про моего нового друга.— Значит, ты добр...

Таким образом я пойму, что у приятеля есть недостатки. Ну, а Людмила и в этом случае не станет переиначивать арии.

— Что касается друзей, то тут я не за количество, а за качество,— скажет она.— Не знаю, так ли уж великолепны твои другие товарищи, но этот проверка на качество не выдерживает.

Ну, а если я все равно захочу проводить время с новым приятелем, они начнут отвлекать меня от него всеми существующими на земле удовольствиями: фильмами, пьесами, футбольными матчами.

В общем, я знал, что в тот вечер, когда должен будет прийти мой новый товарищ, они все трое окажутся дома.

— Надень, пожалуйста, свой тренировочный синий костюм,— попросил я Людмилу.

У нее был новый спортивный костюм, который мне очень нравился.

— Зачем? — спросила сестра.— Ходить по квартире в спортивном костюме?

— Он тебе очень идет. Гораздо больше, чем пла-тье.

Людмила пожала плечами.

— Понимаешь, я рассказывал этому другу, что

ты спортсменка... что играешь в теннис и волейбол. Я хочу, чтобы он поверил.

— А он считает тебя лгуном?

За полчаса до того, как должен был явиться мой друг, Людмила стала заниматься гимнастикой, хотя всегда занимается ею по утрам. Нет, она и не думала выполнять мою глупую просьбу, но, когда Иван позвонил к нам в дверь, она случайно оказалась в том самом спортивном костюме.

Я побежал открывать...

Когда Иван вошел в комнату, все усиленно занимались своими делами: отец, прикрыв глаза, слушал музыку (в этот день он купил огромные пластинки, на которых умещались целые оперы и симфонии), мама вязала мне свитер, а Людмила водила рейсфедером и линейкой по своей чертежной доске. Одним словом, они и не собирались уделять моему другу какое-то особенное внимание.

Иван сказал:

— Здравствуйте!

Тогда они все сразу отвлеклись от своих занятий. Мама с отцом переглянулись. А Людмила не удивилась. Как будто знала, что Иван должен прийти... Она никогда не удивляется.

— Заходи,— сказала она. Потом обратилась к маме, отцу и ко мне: — Познакомьтесь: это Иван.

— Леня ждет своего друга. Он думал, что ты — это он, поэтому так разбежался,— пояснила она Ивану.

Иван растерялся. И я решил тут же ему помочь.

— Заходи, Иван, заходи! — сказал я еще более громко, чем всегда разговаривал дома.— Мы тебя ждали!..

Накануне я никак не мог произнести это самое «ты», и вдруг оно как-то легко и просто слетело у меня с языка.

— Вы знакомы? — спросила мама.

— Да, мы знакомы,— ответил я. Людмила и этому не удивилась.— Я разыскал Ивана и пригласил...

— Прекрасная инициатива! — воскликнул отец.

Он ничего ведь не знал о ссоре, и Людмила должна была улыбнуться Ивану:

— Я рада, что вы познакомились.

Что бы стоило ей сказать: «Я рада, что ты пришел!»

Отец выключил радиолу. Мама бросила мой будущий свитер и побежала в соседнюю комнату. А через минуту она вернулась оттуда причесанная и даже губы чуть-чуть подкрасила.

— Мы с Иваном встретились и подружились! — объяснил я всем членам нашей семьи.— Это и есть мой новый товарищ.

— Все точно,— сказал Иван.

И тут я заметил, что в руках у него гвоздики и коробка конфет. Он и сам от волнения забыл о них. Я решил разгрузить Ивана:

— Давай это все!

— Ты уверен, что это тебе? — спросила меня Людмила.

— Нет, тебе! — сказал я уверенно.

— А может быть, маме?

— Наверно, обеим. Иван, это обеим? Скажи, не стесняйся!

Я старался его ободрить: ведь он же был моим гостем.

— Давно вы на «ты»? — спросила Людмила.

Она не могла чертить или читать свои лекции, как делает, если чем-нибудь недовольна. Но обращалась все время ко мне: она не любит встречаться глазами с тем, на кого сердита.

— Это даже хорошо, что вы явились так неожиданно,— сказала мама.— С хозяйки нет спроса! У скромного ужина есть оправдание!..

— Да, прошу вас за стол,— пригласил отец.

— Садись, Иван,— поддержал я отца.— Чувствуй себя как дома!

— Тогда я сниму пиджак! — сказал Иван так громко, словно знал законы нашей семьи.

На буфете у нас стоят фарфоровые фигурки. Их расставила бабушка, которая умерла года три назад. Людмиле фигурки не нравятся, но она их не трогает: это считается памятью о маминной маме.

А в тот вечер мама сама вдруг взяла фарфоровые фигурки и унесла в соседнюю комнату. Она все время оглядывала наши стены и вещи, то и дело что-нибудь вытирала. Она, когда нервничает, всегда водит тряпкой по мебели, ищет пыль, которой там нет. Мама не подготовилась к встрече гостя, мнение которого было для нее, оказывается, так важно. Но не мог же я рассказать обо всем заранее! «Не твое это дело! Ты этого не поймешь!» — сказала бы мне Людмила.

Все волновались. Отец снова и снова включал радиолу и каждый раз спрашивал:

— Не мешает?

— Ну что вы! — отвечал Иван.

Тогда отец выключал... Да и сам Иван, я уверен, снял пиджак просто для храбрости.



Людмила помогала маме на кухне. Когда они внесли в комнату тарелки с сыром, ветчиной и салатом, мы, все трое мужчин, сидели уже за столом.

Людмила взяла пиджак Ивана и, отряхнув рукав, перевесила на свободный стул.

С этой минуты всем стало легко.

Отец достал графин, в котором плавали желтые корки.

Я поймал мамин взгляд. «Надеюсь, ты пить не будешь», — молча сказала она отцу. А он ответил ей вслух:

— Врач разрешил... в исключительных случаях...

— Но сегодня ничего исключительного не происходит, — сказала Людмила.

Иван взял графин и налил в рюмки всем, кроме отца. Мне тоже... Но я боялся, что Людмила какой-нибудь одной фразой все сразу испортит, и поэтому пить не стал.

— За мир и дружбу! — сказал Иван.

— Между народами? — спросила Людмила.

— В том числе и между народами.

Людмила улыбнулась и выпила. Мы с Иваном переглянулись.

Чтоб моя полная рюмка не мозолила всем глаза, Иван незаметно и ее, как говорят, осушил.

Мы долго еще сидели. Отец опять заводил свои огромные пластинки. А Иван терпеливо их слушал. Может быть, он даже получал удовольствие. Потом Людмила переоделась и пошла провожать его.

Когда они стояли в коридоре возле двери, я с радостью сказал сам себе: «Все-таки он чуть-чуть выше сестры. А еще ведь надо учесть ее каблучки!»

— Иван и Людмила! — сказал вдруг отец.

«Иван и Людмила... Руслан и Людмила... Отец за весь вечер ни разу не цитировал песни и арии, — подумал я.— Ни единого раза! И ни разу не назвал меня гордо мерзавцем. Почему? Наверно, стеснялся Ивана. Дорожит его мнением?.. Значит, Иван понравился?»

Но ведь взрослые не торопятся высказывать вслух то, что думают друг о друге. И всегда боятся пе-

рехвалять. Обругать они не боятся, а вот прежде чем похвалить, будут долго присматриваться, приглядываться. Даже если все сразу ясно!

— Это хорошо, что ты устроил такой спектакль, — унося на кухню тарелки, сказала мама.

— И как ты это придумал? — воскликнул отец. — Умный, мерзавец! Изобретательный!..

Опять они обо мне!



Прошло два с половиной месяца. Иван теперь бывал у нас очень часто. И дом наш как-то повеселел. На окна и двери мама повесила новые портьеры, которые много лет лежали в шкафу. На столе теперь всегда была яркая скатерть, которую раньше мама стелила только по праздникам.

Вкуснее всего мама кормила нас теперь по вечерам: Иван иногда ужинал вместе с нами.

Однажды дядя Леня с нижнего этажа остановил меня на лестнице и спросил:

— Это ваш родственник? Такой... загорелый...

— Да, — ответил я. — Родственник... Мамин племянник.

— Я так и думал: ты с ним на «ты».

— Что, симпатичный?

— Видишь ли, издали трудно определить. Но производит хорошее впечатление.

— Он архитектор. Талантливый!

— Это стало в вашей семье фамильной профессией. Впрочем, это профессия века: строят, строят... Дядя Леня засунул дужки очков в рот: призадумался. — Кем же он Людмиле приходится? Двоюродным братом?

— Ну да. Они дружат с детского возраста.

Он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Мне показалось, от радости... И сказал на прощание:

— Если Людмила захочет, я зайду посмотреть отца. Или привезу к вам специалиста. Если захочет...

Я не успел еще похвастаться во дворе, что сестра скоро выходит замуж. Как хорошо!.. Зачем огорчать дядю Леню?

Ивану я сказал:

— Прямо под нами живет один врач. Я уже, кажется, говорил... Очень влюблен в Людмилу.

— Давно?

— С детского возраста! Я объяснил, что ты наш двоюродный брат. Чтоб он не расстраивался... Понимаешь? Так что будь в курсе дела.

— Добрый ты, брат! — улыбнулся Иван.

Вместо слова «мерзавец» он говорил мне «брат». Это было приятнее.

Дома у нас никто о свадьбе даже не упоминал. Отец и мама боялись спрашивать у Людмилы. Но все время об этом думали. И я думал.

Когда сестра возвращалась домой, мы смотрели на нее вопросительно.

— Играли в теннис, — сообщала она. — Иван снова выиграл.

Или что-нибудь вроде этого.

Конечно, я мог бы узнать у Ивана. Но получилось бы, что мы ждем не дождемся.

Однажды вечером Людмила сказала:

— Жить я хочу рядом с вами. Где-нибудь здесь, поблизости.

— Какое это имеет значение! — Отец вскочил со стула.

Мы с мамой тоже вскочили. Ожидание прорвалось — и мы стали убеждать Людмилу, что транспорт у нас в городе работает хорошо, что отцу и маме врачи прописали прогулки и что район поэтому не имеет никакого значения. «Не хватает, чтоб из-за этого она затынула все дело!» — думал я. Но сестра повторила так твердо, что все мы сразу притихли:

— Нет, я буду жить только где-нибудь рядом. Это уже решено.

Кем решено? Ею?.. Или ими обоими? Никто спросить не решился.

Ивану недавно дали комнату в совсем новом доме. Это было далеко: минут сорок от центра, если ехать на троллейбусе. Один раз Иван, как он выразился, затащил меня к себе. Правда, я не очень сопротивлялся. Так, для приличия сказал:

— А может быть, лучше поедem к нам?

Это было на стадионе, где Иван с Людмилой играли в теннис.

— Нет, — ответил Иван, — ты прорубил мне окно в ваш дом, а я должен прорубить тебе в свой.

Мы поехали на такси. Первый раз в жизни я в автомобиле не сел рядом с шофером: мне приятнее было сзади, вместе с Иваном.

Иван тоже пока холостяк... Как дядя Леня. Но посуда у него стояла там, где должна быть посуда, а книги — в книжном шкафу.

Мы сидели на балконе и видели реку и лес.

Иван сказал:

— Вот что значит квартира со всеми удобствами: хочешь — купайся в ванне, а хочешь — в реке, хочешь — дыши газом на кухне, а хочешь — березой в лесу! Но главное: нет телефона! Это величайшее из удобств: сберегается время. Кого не хочешь слышать — не слушаешь, а кому надо сказать два слова — звонишь из автомата. Он под самыми окнами.

В тот вечер он еще много раз восторгался:

— Дачный климат! Просто курорт!..

«Захочет ли Иван уехать отсюда? Скажет еще: «Где же логика? Где же простая логика? Здесь лес и река!» Это меня волновало.

«И чего сестре взбрело в голову? — раздумывал я. — Наверно, потому что у отца двести двадцать на сто. И мама неважно слышит... А может, ей и со мною жаль расставаться?»

— Пусть Иван переедет к нам! — сказал я однажды, словно был главою семьи. — Я буду спать на кухне. Пожалуйста... А если хотите, то в коридоре.

— В нашем доме, в нашем доме!.. — переиначил отец арию из «Евгения Онегина».

— Да, в нашем доме... — задумчиво сказала Людмила. — У Ивана есть комната. Он готов обменяться: переехать в любую квартиру нашего дома.

На следующий день я сочинил объявление:

«Срочно меняю комнату в доме со всеми удобствами: балкон, ванна, душ, газ, лес, река, дачный климат, телефон под самыми окнами! С предложениями обращаться в любое время...» И написал номер нашего телефона.

Но никто с предложениями не обращался, хоть объявление я расклеил во всех подъездах нашего огромного дома. И еще в доме напротив. Неужели никому не нужен был дачный климат?

Никто не звонил... Только дядя Леня остановил меня во дворе и сказал:

— Там висит объявление. И ваш телефон... Я помню его еще с детства. Прочитал и не понял: кто хочет меняться?

— Это двоюродный брат. Хочет быть с нами рядом! Он любит маму... Она его единственная тетя.

— Это понятно: каждый хочет быть рядом с родными людьми.

Однажды Иван попросил меня проводить его. На улице он обнял меня за плечи, как тогда, в день знакомства.

— Ну, брат, затеяла Людмила историю. Может быть, ты поможешь? Я говорю: «Давай переедем ко мне, а потом подыщем что-нибудь в вашем Машиностроительном тупике». А она отвечает: «Если мы переедем, тогда уж не обменяемся: стимул ослабнет!» Где же тут логика? Где же простая логика? Может быть, ты что-нибудь придумаешь? Как тогда, с этим твоим приглашением...

Уже второй раз он нуждался в моей помощи!

— Ладно, подумаю,— сказал я.

— Подумай, брат. Очень прошу!

Но подумать я не успел. Через три дня вечером сестра нам сообщила:

— Срок поисков продлевается! Мы с Иваном уезжаем на полгода в командировку.

— Вместе? — переспросила мама.

— Вместе. Конечно! — сказала Людмила. — За это время Леня облеит объявлениями весь наш тупик, и что-нибудь да найдется!..

Она говорила бодро и даже весело, потому что мама начала искать трюпкой пыль там, где ее не было, а у отца по шее и по лицу поползла красная краска.

Отец не пропел, а как-то почти прошептал на свой особый мотив:

— В движении мельник жизнь ведет, в движении!..



Я уже говорил, что не помню, с какого возраста я себя помню. Но с той поры, с какой помню, никто из нас четверых никогда не уезжал на целых полгода.

Сколько написано разных музыкальных произведений про людей, которые уезжают! Отец цитировал сейчас эти песни и арии. Композиторы почему-то очень радуются, когда люди уезжают из дома. Но отец пел эти веселые песни невесело.

И мне было как-то не по себе.

— Это даже хорошо, что ты уезжаешь,— сказала мама Людмиле. — Наконец мы узнали, как Леня к тебе относится!

Чтоб не грустить, я пытался вспомнить все случаи, когда Людмила была несправедлива, а вспоминал фильмы и пьесы, на которые водила меня сестра. Хотел вспомнить приятелей, которые мне нравились, а ей нет, но вспоминал об Иване, с которым никогда бы не встретился, если бы не она.

К Ивану мы тоже привыкли. Он все время подбрасывал нам положительные эмоции.

— Вы провожаете нас с Людмилой в наш первый путь, как провожают в последний,— сказал Иван. — Где же логика? Где же простая логика? Надо радоваться, а вы?..

— Чему радоваться? — спросил я.

— Раньше вы не получали от нас писем, а теперь будете получать! Это во-первых. Во-вторых, до сих пор вы не ждали нашего возвращения, а теперь будете ждать. И в-третьих, мы действительно к вам вернемся. Это же будет праздник!

— Слишком уж до-олго... — промямлил я.

— Долго? Вспомни какой-нибудь случай, который произошел с тобой полгода назад. Что-нибудь такое... значительное!

Я подумал, что примерно полгода назад дал Костю по физиономии.

— Вспомнил?

— Ну, вспомнил...

— Давно это было?

— Нет... как будто вчера.

— Вчера? Значит, мы вернемся к вам завтра! Все познается в сравнении.

— Я понимаю.

— Эти шесть месяцев промчатся так же быстро, как те. Ты хозяин своих собственных мыслей?

— Наверно, хозяин.

— Вот и переключи их с отъезда на возвращение. Переключил?

— Постараюсь.

— Ну, вот! Не существует безвыходных положений.

— О бра-а-а-а, довольно печали! — пропел отец из той самой странной симфонии Бетховена, в которой поют. И добавил: — Плохой тот мельник должен быть, что век свой хочет дома жить!..

Иван опять подбросил нам положительные эмоции. Накануне отъезда мы все, мама, отец и я, с его помощью переключили мысли и думали о дне возвращения. Как это будет здорово — получим телеграмму: «Встречайте! Целуем!» — и помчимся встречать!

Мама опять устроила ужин... Иван пришел с чемоданом, чтобы на следующий день рано утром вместе с Людмилой отправиться на вокзал.

Два чемодана стояли возле стены, прижавшись друг к другу: один — огромный, перепоясанный ремнями и чуть-чуть покорябанный, а другой — аккуратный, без единой царапинки и даже пахнущий духами (я почувствовал это, когда ставил его к стене).

Мне казалось, что кто-то ввинтил в люстру новые лампочки, более сильные: так сверкали на столе рюмки, бокалы, тарелки. Я не видел раньше этой посуды. В последнее время мама доставала из шкафа все, что берегла для какого-то особенного, торжественного события.

В центре стола был любимый отцовский графин, в котором плавали желтые корки. Иван поставил рядом с ним бутылку шампанского и коньяк.

Мама отозвала меня в сторону, попросила сбежать в магазин за фруктовой водой.

— Для отца,— шепнула она. — Я не хочу, чтобы он сегодня пил это... Очень волнуется!

Когда я возвращался с тремя бутылками лимонада, меня встретил на лестнице дядя Леня. Мне казалось, он только и делает, что ходит по лестнице, отпирает и запирает дверь: очень уж часто я встречал его.

— У кого-нибудь день рождения? — спросил дядя Леня. — Утром мама несла бутылки. Теперь ты...

— Да, день рождения!

— Кто же родился?..

«Если сказать, что Людмила или кто-нибудь другой из нашей семьи, он побежит за подарком», — решил я.

— У кого же сегодня праздник? — повторил дядя Леня.

— У маминого племянника. Он одинок. И вот мы устроили... Для него!

— Это понятно,— сказал дядя Леня. И, как всегда после моего ответа, полез ключом в замочную скважину.

Дома все ждали меня. Мама вытерла бутылки лимонада и поставила их на стол.

— Твой напиток,— тихо сказала она отцу.

— Куда ты, удаль прежняя, девалась?.. — пропел

отец из «Царской невесты». И добавил обыкновенно, по-человечески: — Да куда не девалась! Вот она, здесь...

Отец взял два чемодана, стоявшие у стены, и вскинул их вверх, как спортсмен, поднимающий гири.

— Иван и Людмила! — воскликнул он, потрясая в воздухе чемоданами.

— Есть еще порох в пороховницах! — воскликнул Иван.

— Есть! — ответил отец.

Чемоданы рухнули на пол... Отец застыл с поднятыми руками.

— Что такое? — тихо спросила мама.

Отец открыл рот, но не смог ничего ответить. Он шевелил губами, словно вспоминал про себя какую-то арию или песню...

Иван подошел к отцу. Я не понимаю, как это получилось, но через какую-нибудь минуту отец уже лежал на диване. Как Иван перенес его? Взял ли себе на плечи? Или взял на руки, как ребенка? Я просто не видел.

Отец был выше Ивана, шире в плечах, тяжелее, и я не представляю себе, как Иван смог его дотащить. Так быстро, так осторожно... И мы застыли на месте, будто состояние отца передалось нам, и даже не помогли.

Потом все трое, как по команде, мы ожили и очутились возле дивана.

— Кол... — прошептал отец. — Кол... загноили сюда... — И положил руку на сердце.

— Не шевелись! — приказала Людмила. И побежала в другую комнату.

Мама стала водить тряпкой по спинке дивана, тихо, бессмысленно.

— Это бывает... — Иван тяжело дышал, но улыбался. — Пройдет!

Он сказал так уверенно, будто с ним это случалось уже не раз.

— Что же делать? — спросила мама.

Людмила вошла в комнату с пузырьком и кусочком сахара. По всему куску расплзлась желтая капля. Отец взял сахар в рот, под язык.

— Сейчас сбегает! За врачом... — сказал я. И бросился в коридор, потом вниз по лестнице. Только бы он был дома!.. В этот миг дядя Леня казался мне самым нужным, самым важным, самым значительным человеком на свете. Мне казалось, что все, все в мире зависит сейчас от него!

Должно быть, он понял это, потому что не стал задавать вопросов: хочет ли Людмила, чтоб он пришел, или не хочет? Он взял коричневую пластмассовую коробку, потом блестящую, металлическую, еще что-то засунул в карман и побежал за мной прямо в чем был — в ковбойке с распахнутым воротом и засученными рукавами, в пижамных штанах и тапочках.

Когда он вошел к нам, то чуть-чуть зажмурился от яркого света. Все было праздничным и нарядным: рюмки, тарелки, бутылки, графин с желтыми корками, шампанское и коньяк, Людмилино и мамино платье, модный костюм Ивана. Даже отец лежал на диване в каком-то парадном виде: мама гладила сегодня пиджак и брюки, дала ему новую нейлоновую рубашку.

Людмила сидела рядом на стуле и держала в своей руке руку отца. Мама присела на край дивана и по-прежнему водила тряпкой по его деревянной спинке.

Иван уже отдышался, но стоял все на том же месте. Когда мы вошли, он сказал:

— Вот сейчас врач подтвердит: это спазм. Простая история! Спазм проходит. Вообще нет безвыходных положений. А тут — простая история...

Я верил Ивану. Мне казалось, в его присутствии не может случиться ничего страшного, непоправимого. Людмила выпрямилась, поднялась, указала на стул дяде Лене.

Дядя Леня измерил отцу давление. Аппарат был в той самой коричневой коробке. Потом расстегнул отцу нейлоновую рубашку, снял галстук, засунул себе в уши концы резиновых трубок и стал слушать сердце.

Наконец он поднялся и спросил у отца:

— Что вы чувствуете?

— Кол... — прошептал отец. — Будто загнали кол...

— Так... Понятно. Вы не волнуйтесь. Племянник правильно говорит: это спазм. Просто спазм... Сейчас сделаю вам укол. И все сразу пройдет! Но вставать нельзя. И нельзя шевелиться. В первое время...

Никто даже не удивился, что он назвал Ивана племянником. Только я это заметил.

После укола отцу стало легче. Он улыбнулся — так, еле-еле...

Тогда дядя Леня увидел чемоданы, валявшиеся посреди комнаты, будто кто-то их расшвырял. Он удивленно посмотрел на один чемодан, потом на другой, потом на меня... А потом заметил свои пижамные брюки и сразу заторопился:

— Я больше не нужен.

— Спасибо тебе, — сказала Людмила.

Они были на «ты». Еще с детства.

Мы с Людмилой пошли провожать дядю Леню. В коридоре он засунул дужки очков в рот, словно нарочно, чтобы было не очень ясно слышно то, что он скажет:

— По-моему, это инфаркт... Надо бы «неотложку».

— Уже позвонили, — сказала Людмила. — Значит, ты думаешь?..

Войдя в комнату, сестра улыбнулась отцу:

— Вот видишь: все не так страшно.

Первый раз в жизни она сказала неправду.

А я опять пошел в коридор. Я там ждал «неотложку», чтобы она при отце подтвердила слова Людмилы: «Все не так страшно...».

10

Иван уехал один. После того, как отцу разрешили вернуться набок.

Отец так и лежал на диване, куда принес его на руках Иван.

Приходили врачи, один раз мы с Иваном привезли профессора на такси. Нам советовали отправить отца в больницу:

— Теперь мы транспортируем инфарктников. Новый метод!

После врачей мы бежали за дядей Леной.

— Видите ли, — говорил он, — новые методы не хочется проверять на близких. Лучше уж дома обеспечить уход... Я буду к вам заходить.

Он заходил каждый день. По вечерам, когда дома была Людмила. У себя, на втором этаже, он все время теперь был в таком виде, будто собирался на концерт или в театр: а вдруг мы за ним прибежим?

Дядя Леня был всего лишь зубным врачом, но мы делали то, что советовал он.

— Да-а... Транспортировка инфарктников? — рассуждал он, засунув в рот пластмассовые дужки очков. — Это слишком серьезно. Нельзя рисковать.

— Если б у вас было что-то серьезное,— объяснял потом отцу Иван,— вас бы сразу же отвезли в больницу. Все познается в сравнении! Знаете ли вы хоть одного инфарктника, которого бы не отвезли? Я говорю о последнем времени, когда победил новый метод.

— Убедительно,— говорил отец. И напевал из «Сомнения» Глинки: — Усни, беспокойное сердце!..

— Правильно,— соглашался Иван.— Повернитесь на правый бок и усните. Благо вам теперь можно ворочаться. Сон — лекарство номер один!

Профессор советовал:

— Надо сказать ему, что это инфаркт. Тогда мобилизуются нервы, он устремит себя на борьбу!

Профессор был стар, но отстаивал новые методы.

— Видите ли...— рассуждал дядя Леня, когда профессор ушел.— Человеку свойственно верить в лучшее. И надеяться... Есть точка зрения, что и о самых ужасных недугах следует сообщать. Но ведь даже врачи забывают о симптомах страшной болезни, когда сами ею болевают. Мы всегда оставляем место надежде. Не хочется верить в худшее. Так зачем сообщать?... Нужны положительные эмоции!

— Все познается в сравнении! — объяснял позже отцу Иван.— Хоть от кого-нибудь из ваших знакомых-инфарктников разве скрывали диагноз? Нет, не скрывали? Вот видите. Новые методы побеждают! И для вас бы не сделали исключения. Значит, нет никакого инфаркта. Обидно, конечно, болеть не самым серьезным образом. Но что тут поделаешь? Просто спазмы сосудов... На всякий случай вас выдерживают в постели. Верней сказать, на диване!

— Да-да... Я понимаю,— соглашался отец.

В присутствии дяди Лени Иван и Людмила всегда оказывались в разных концах комнаты. И вроде бы не замечали друг друга. Они не сговаривались, так само собой получалось.

В день отъезда, уже на вокзале, Иван сказал Людмиле:

— Писать буду регулярно. Но коротко! На бумаге все как-то не так получается... Но ты не считайся с этим — пиши подлиннее! Ведь вы тут все вместе, а я буду один...— Потом повернулся ко мне.— Тебе, Леня, буду писать отдельно. И ты мне пиши почаще: о доме, о школе, об отце, конечно. Сам понимаешь! И о Людмиле. Это все меня особенно интересует... И постарайся переселить нас с Людмилой поближе к вашему дому.

Людмиле хотелось по привычке сказать, что Иван обращается не по адресу, что я не смогу, не сумею: ребенок! Я чувствовал, что она хотела это сказать, но не сказала. Вообще с приходом Ивана я в глазах всех домашних вдруг повзрослел. Он разговаривал со мною, как с равным, и все ему начали подражать.

— Значит, постарайся переселить,— повторил Иван.— Иначе я останусь холостяком!

Людмила утвердительно кивнула: да, мол, останешься.

Иван уехал.

Дней через десять пришли два первых письма: «Людмиле Нечаевой (лично)», «Леониду Нечаеву (лично)». Иван писал, как устроился, как начал работать. В письме, адресованном мне, на отдельном листке он обещал отцу, что научит его играть в теннис и волейбол.

В тот же день я послал ответ. Иван просил меня писать о доме, о школе, об отце, о Людмиле. Я решил в первом же письме выполнить все его просьбы.

Письмо получилось длинным. «Другие будут короче,— решил я.— Это же самое первое!..»

Потом сел и переписал. Но все равно на бумаге получается как-то не так... Иван абсолютно прав!

«Дорогой Иван! Твое письмо получил. Расскажу обо всем по порядку.

Сперва об отце. Ему уже разрешили садиться. Он мне сказал: «Никогда не представлял себе раньше, что это так здорово, так приятно: просто сидеть на диване. Как будто начинаю жить заново!» Как только мама чуть-чуть нахмурится, он сразу поет: «О братья, довольно печали!» Он вообще теперь больше всего поет не из опер, а из этой самой Девятой симфонии. Значит, думаю, поправляется.

Вчера к нему товарищи приходили с работы. Трое с цветами. Цветы отцу принесли, но как Людмилу увидели, так сразу ей передали. И весь вечер возле нее вертелись, как будто забыли, зачем пришли. Сперва сказали: «На пять минут! Не будем его утомлять!..»,— а просидели до позднего вечера.

«Ну,— говорят,— иметь такую дочь и болеть — просто стыдно! Иметь такую дочь и не выздороветь — невозможно!..»

Потом дядя Леня пришел. И сказал: «Видите ли, ему пора отдохнуть...» Наверно, из ревности это сказал. Тогда они сразу ушли.

Теперь расскажу немного о школе.

У нас было родительское собрание. Мама не смогла пойти: она все время с отцом. И пошла наша Людмила.

А на следующий день математичка (самая строгая в школе!) сказала: «Сестра-то у тебя, оказывается, интересная женщина. Такое значительное лицо! А это гораздо больше, чем просто красивое!..»

Я даже представить себе не мог, что она об этом заговорит. А потом и ребята стали подходить: «Слушай, Леня, наши родители в твою сестру вчера все влюбились!» Ну, я стал с ними спорить, сказал, что они немного преувеличивают. Но они даже слушать меня не хотели. «Мы,— говорят,— своим родителям больше верим. Они лучше в таких делах разбираются!..»

А в доме у нас, в помещении красного уголка, товарищеский суд состоялся. Объявление повесили, что в тридцать пятой квартире ссора произошла и что ее будут в красном уголке обсуждать. Все за два часа начали места занимать, как будто на заграничную кинокартину.

А к нам домоуправ специально зашел. «Вы,— говорит,— Людмила Андреевна, как член товарищеского суда, обязательно должны быть. Вас ведь избрали единогласно!» Людмилу действительно все избрали, еще полгода назад. Хоть она ужасно отказывалась, отбивалась. Она тебе об этом из скромности не рассказывала.

На другой день после суда все во дворе восхищались: «Как ваша Людмила выступила, так сразу нам ясно стало, кто прав, а кто виноват. Совсем молодая, а так во всем разбирается!»

И дядя Леня на другой день приходил смотреть отца не один раз, а целых три. И тоже хвалил Людмилу. Ну, он-то понятно: влюблен в нее с детского возраста. А вот другие... Совсем же чужие люди! И в таком были восторге. Мне во дворе уже второй день уступают очередь на бильярде. Из-за Людмилы!

Дорогой Иван! Ты просил написать о доме, о школе и об отце. Я все это выполнил. Ты просил еще о Людмиле. Но она же сама тебе пишет.

Старюсь переселить вас с Людмилой поближе к нам. Объявления написал большими печатными бук-

вами и расклеил почти во всех домах нашего тупика, кроме одноэтажных.

Отец и мама тебя целуют. И я тоже! Леня».

В конце месяца Людмила меня спросила:

— Ты сколько писем получил от Ивана?

— Два.

— Что ж, пять — два в мою пользу.

Как будто она была на волейбольной площадке!..

II

Мне кажется, что время остановилось, — сказал как-то отец.

— Это даже хорошо, — тихо сказала мама. — Значит, мы не будем стареть. Ты ведь всегда горевал, что годы, как шофер-лихач, «превышают скорость».

— Да-а... Мчатся годы, выются годы, — переиначил отец романс на стихи Пушкина. Иногда он и Пушкина переделывает по-своему. — А теперь вот сутки кажутся мне целой неделей.

Я знал, что, когда ничего не ждешь, время катится очень быстро, а если чего-нибудь ждешь, то оно ползет, как улитка. И все-таки я решил утешить отца.

— Все познается в сравнении! — сказал я. — Вот вспомни: что было месяц назад? Тебе разрешили выйти на улицу! Но ведь это было буквально вчера. Правда?

— Действительно... Будто вчера, — согласился отец.

— Значит, Иван вернется к нам завтра! Потому что это будет как раз через месяц. Все познается в сравнении!

— Умный, мерзавец! — воскликнул отец. — Просто философ!..

На самом деле я почти слово в слово повторил то, что говорил мне перед отъездом Иван. Но я не сказал об этом отцу: пусть думает, что сын у него философ. Ему нужны положительные эмоции.

— Когда есть какое-нибудь дело, дни идут гораздо быстрее, — продолжал я философствовать. — Ты сейчас ничего не делаешь, и поэтому тебе кажется, что время остановилось. Помоги мне переселить Ивана!..

— Я готов, — согласился отец. — Пожалуйста... Я готов. Но радиус моих действий очень уж ограничен: двор и бульвар.

— Вот и прекрасно! — воскликнул я. — Там гуляют пенсионеры. Старые, усталые люди... Они вполне заслужили отдых с видом на реку и с дачным воздухом! Зачем им жить в Машиностроительном тупике? Они с удовольствием переедут.

В тот же день вечером отец грустно пропел из «Евгения Онегина»:

— Привычка свыше нам дана...

— В каком смысле? — спросил я.

— Пенсионеры не желают покидать насиженных мест.

— Плохой тот мельник должен быть, что век свой хочет дома жить! — не пропел, а со злостью прокричал я. — Ты это им объяснил?

— Объяснил.

— А они?

— Привычка свыше нам дана, замена счастию она!..

— Действительно, отказываются от своего собственного счастья! Это же глупо! Ты как считаешь?

— Надо искать среди молодых, — ответил отец.

Я искал среди людей всех возрастов. Всем одиноким я объяснял, что, переехав к Ивану, они будут жить одновременно и в городе и на даче, что им

не придется покупать путевки на курорт. Иван дал мне задание, и я должен был его выполнить. Но оказалось, что люди не любят переезжать с места на место. И еще оказалось, что они почему-то очень ценят разные удобства. Для них имеет большое значение, например, чтобы остановка троллейбуса была рядом. Как будто трудно пройти один километр по свежему воздуху! Но особенно для них важно, чтоб в квартире был телефон.

В объявлениях, которые я расклеил по всем подъездам нашего тупика, было крупными печатными буквами написано: «Телефон под самыми окнами».

— Что это значит: под самыми окнами? — несколько раз спрашивали меня. — Вы его там повесили, что ли?

— Нет, это телефон-автомат.

— Ах, автомат? Тогда вопрос отпадает.

— Отсутствие телефона — это же величайшее из удобств, — повторил я как-то дяде Лене слова, которые услышал от Ивана. — Сколько можно сберечь времени! Кого не хочешь слышать — того не слушаешь, а кого хочешь — тому звонишь из автомата. Он под самыми окнами. Очень удобно! Почему люди не понимают?

— Видишь ли, телефон — это для некоторых избавление от одиночества, — сказал дядя Леня. — Я предполагаю, что у Ивана комната не очень большая...

— Не очень. При чем тут это?

— Значит, на твои объявления откликаются главным образом одинокие люди. Телефон для них особенно важен. Им ведь дома не с кем поговорить. Они хотят иметь связь с внешним миром.

— Внизу автоматная будка!

— Видишь ли, это односторонняя связь... А люди предпочитают двустороннюю.

— Пусть выйдут в коридор или на кухню и там связываются с внешним миром. У Ивана ведь не отдельная квартира, в которой можно сдохнуть со скуки. У него есть соседи! Кажется, даже две или три семьи.

— Сосед — это тот, кто оказался рядом случайно. Друзья и соседи — понятия разные.

Мне стало ясно, что выполнить задание Ивана будет совсем нелегко.

Часто я слышал, как Людмила рассказывала по телефону о комнате «на краю города». Она говорила вполголоса, словно стеснялась, словно боялась, что кто-нибудь из нас услышит.

Я злился! Ну зачем было подчеркивать, что Иван живет так далеко? И что в квартире много соседей? И что до троллейбусной остановки нужно идти пятнадцать минут? А может, кто-нибудь дойдет за десять? Или даже за пять! «Мастер четких линий!» — злился я про себя. — Прямота многое искушает! И так далее... Но если она уж такая прямая, то почему не говорит о дачном воздухе, о реке, о курортном климате? Почему это скрывает? Неужели она не хочет, чтоб Иван переехал? Неужели не ждет?..»

Однажды я полез в ящик Людмилиного стола за бумагой: мне казалось, что письма, написанные на тетрадных листах в клеточку или в линейку, выглядят как домашние сочинения или как контрольные по математике. В ящике были аккуратно сложены в стопку все письма, полученные от Ивана, и на каждом конверте четким Людмилиным почерком были обозначены месяц, число.

Сестра не любит хранить то, что ей не нужно. Она всегда с удовольствием рвет на мелкие клочки ста-

рые записи и тетради: «Человечеству это не пригодится!..»

Прогулки отца по двору и бульвару становились длиннее.

Дядя Леня сказал тихо и даже с грустью:

— Заметное улучшение.— А потом добавил: — Но еще долго будет необходим ежедневный врачебный контроль.

Он привык бывать у нас ежедневно.

Один раз я заметил, что у дяди Лени совсем уж грустное настроение. «Может, отец уже выздоровел? — подумал я.— И ему не нужен ежедневный врачебный контроль?»

— Что с обменом? — спросил меня дядя Леня в коридоре, возле самой двери.— Никто не хочет ехать туда, на край города?

— Нет, не хотят! — с досадой ответил я.

— Видишь ли, больше по этому поводу можешь не волноваться.

— Почему? — удивился я.

— Видишь ли... я все продумал... И согласен туда переехать.

— Вы?!

— Ну да, готов обменяться с этим самым молодым человеком, которого ты выдал за двоюродного брата.

— Как это в ы д а л?

— Видишь ли, получилось не очень удобно... Мне нужно было оставить памятку: как принимать лекарства, в какой последовательности. Отец попросил меня открыть ящик стола, где лежит бумага. Там я увидел... Случайно, конечно. Как-то неловко вышло... Я вроде бы подглядел. Хотя это не очень существенно... Видишь ли, от двоюродного брата так много писем не получают. И их так бережно не хранят. Но, в общем, это все несущественно. Я согласен отсюда уехать...

Я обрадовался. А потом спохватился и стал отговаривать дядю Леню:

— Мы к вам привыкли!..

Он решительно распахнул дверь и сказал каким-то не своим, твердым голосом:

— Значит, считайте, что я согласен.

Иван и Людмила будут жить прямо под нами, на втором этаже!

— В нашем доме, в нашем доме!.. — весело переиначил отец арию из «Евгения Онегина».

— Мы будем перестукиваться по трубе! — крикнул я.

Мама стала искать тряпкой пыль там, где ее никогда не было. А Людмила начала чертить что-то на своей доске, хотя за пять минут до этого сказала, что весь вечер будет свободна.

— Надо сейчас же написать об этом Ивану! — воскликнул я.

— Напиши, — сказала сестра.

А когда я сел рядом с нею за стол, тихо спросила:

— Сколько ты в этом месяце получил писем?

— Два!

— Значит, два — один в твою пользу.

Я подтверже уселся на стуле и гордо огляделся по сторонам. Но мама и отец не слышали Людмилиных слов и не могли понять моей гордости.

А через два дня счет в мою пользу увеличился. Я получил третье письмо от Ивана. Правда, оно было совсем коротким:

«Здравствуй, Леня! Я прилечу на один день. Есть важное дело! Пока никто не должен знать об этом. Никто, кроме тебя! Ты помнишь, где я живу? Жду тебя двадцатого в три часа дня. Надеюсь, что самолет не опоздает. Мужской уговор: никому ни слова. До скорой встречи! Иван».

Большее всего в письме Ивана мне понравились слова «мужской уговор». Я много читал о священных союзах, которые заключали между собой мужчины. Они всегда договаривались кого-то спасти, выручить или преподнести кому-нибудь неожиданный подарок, сюрприз.

«Наверно, Иван тоже решил поразить Людмилу, а может, и маму с отцом чем-то необычным! И хочет, чтобы я ему в этом помог. Как мужчина мужчине!.. — так рассуждал я в троллейбусе, конечная остановка которого была примерно за километр от Ивана дома.— Иван верит в меня. Знает, на что я способен. Он ни разу не сказал: «Ты ребенок! Не поймешь, не сумеешь, не сможешь!» И никогда так не скажет. Все познается в сравнении! Иван прекрасно помнит самого себя в моем возрасте. Разве он считал себя в те годы ребенком?»

Я ехал прямо из школы, с портфелем. Дома я сказал, что у нас будет собрание. Многие не любят собраний, ругают их. Но это же просто-напросто черная неблагодарность! Собрания бывают не так уж часто, но зато как часто можно на них сослаться! Куда бы ни пошел после школы, к товарищу или на стадион, всегда можно сказать: «Было собрание!» И никто не станет ворчать: «Столько часов без обеда! Все ждали, все волновались...»

В прошлый раз я ехал к Ивану на такси. Это было летом, дорога была быстрой, приятной. А троллейбус тащился не пешая, потому что была гололеда, и делал слишком уж частые длинные остановки. Потом усы его соскочили с проводов, водитель выскочил из кабины и долго дергал усы за веревку. Потом какой-то грузовик буксовал на дороге. Водитель снова выскочил и вместо того, чтобы подтолкнуть грузовик, зачем-то ругал шофера.

Оба раза я выскакивал на улицу вместе с водителем. «Все норовит подсобить!..» — сказала кондукторша. Она не знала, что я еле-еле поспевал к трем часам.

«Ведь никому, кроме меня, неизвестно о приезде Ивана,— рассуждал я.— В письме так и написано: «Никто, кроме тебя!» Значит, я один ему нужен. И, может быть, именно в три часа. Ровно в три!..»

Чтоб сократить расстояние, я бежал от остановки до дома прямо через сугробы. Падал, проваливался, отряхивался и снова бежал...

Дом Ивана нельзя было спутать с другими домами: он стоял один среди белого поля, которое летом было зеленым. С двух сторон от него начинали расти еще два кирпичных корпуса, словно братья-близнецы, родившиеся совсем недавно: летом их не было. Недалеке, за шоссе, была замерзшая река с невысокими берегами и лес, который летним вечером казался мне совсем темным и мрачным, а в зимний день стал серебристо-синим, нарядным.

Вдруг я увидел Ивана. Он стоял на балконе в пальто, но без шапки. И махал мне, будто потираливал. Зимой редко выходят на балкон, а он вышел.

«Значит, не зря я бежал по сугробам. Значит, я нужен ему ровно в три!..» — так думал я, то и дело спотыкаясь на лестнице: очень спешил.

Дверь квартиры была открыта. Иван стоял на площадке. Я гордился, что первым вижу его в день возвращения. Раньше Людмилы! Раньше отца и мамы. Его, которого все так ждали!..

Иван притянул меня к себе и поцеловал. Я тоже вытянул губы, но попал в плечо его зимнего пальто.

Я никогда еще не видел его в этом пальто. Как все, что он носил, оно было красивым и выглядело совсем новым. «Почему все на нем кажется только что купленным?» — не раз уже думал я.

Он не был дома больше пяти месяцев, а комната была убрана, растения в горшках были зелеными, свежими. На тумбочке возвышалась кипа несмятых и, видно, нечитанных газет и журналов.

— Соседка следит, — объяснил мне Иван. — Я оставил ключи.

Он бросил свое пальто на диван. Потом бросил туда мое пальто и мою ушанку. «Наверно, волнуется, — решил я. — А то бы вынес пальто в коридор и повесил на вешалку».



— Как здоровье отца? — спросил он.

Я ответил, что отец целые дни дышит воздухом на бульваре и во дворе.

— Хорошо, что мы тогда не разрешили испытывать на нем новые методы, — сказал Иван. — Молодец этот ваш дядя Ленья!..

— Он согласен переехать сюда, к тебе! — торжественно сообщил я. — А вы с Людмилой переедете к нему, на второй этаж. Будем перестукиваться по трубе!

— Как мама? Чуть-чуть успокоилась?..

— За дядю Леню переживает... Он согласился из-за Людмилы. А мама его с самого детства знает, и ей его жалко. Столько лет любит Людмилу!

— Ты бывал без меня на стадионе?

— Один только раз. Мы пришли с Людмилой, а тот красавчик в белых трусах спрашивает: «Где ваш партнер?» Людмила сказала: «Уехал». Он взмахнул ракеткой и крикнул: «Это прекрасно! Я чувствую себя в блестящей спортивной форме!» Людмила его быстренько обыграла, и мы ушли.

Иван забыл закрыть балконную дверь. Наверное, от волнения. «Все-таки мы не виделись целых пять месяцев. Разволновался!» — думал я.

Мне было холодно, но я терпел и молчал. А он подошел прямо к открытой двери и стал смотреть туда, куда мы смотрели с ним летом: на речку и лес.

— Видишь ли...

Он произнес это «видишь ли» не твердо и не насмешливо, как всегда, а медленно, растягивая слоги, как дядя Ленья.

— Видишь ли... — повторил он. — Все познается в сравнении. Ты сам был влюблен, а потом... Нет, не

то! Стыдно, брат, просто стыдно: никогда ничего не боялся, а сейчас не знаю, как тебе объяснить. Страшное дело, Ленька... Честное слово! Встретил я девушку... Понимаешь? Пошло звучит, а иначе не скажешь: встретил. Там, на строительстве. И ничего не могу поделать. Ты понимаешь?

Я его понял.

«Нет безвыходных положений!» — говорил он мне раньше. Но сейчас оно было передо мной: безвыходное положение. Разве я мог упротить Ивана? Уговорить?..

«Если бы он переехал к нам, на второй этаж, хоть на время, — думал я. — Просто так, чтобы попробовать...» Он бы остался. Я бы все сделал, чтобы ему

там понравилось. Я бы все сделал... Все!..»

— Вы уезжаете прямо сегодня? — спросил я.

— Почему «вы»? Я еду один.

А я и спрашивал про него одного...

Раньше мне казалось, что мы с Иваном будем друзьями, что бы там ни случилось! Что бы ни произошло...

Но только не это.

Это вообще казалось мне невозможным. Ну, как если бы мама сказала вдруг: «Я встретила другого мальчишку. Он лучше тебя. Теперь он будет моим сыном».

— Людмила поймет, — сказал Иван. — Конечно, со временем. А как быть с отцом? Ему нельзя говорить. И матери тоже. Я сам к ним привык. Нарочно продолжил командировку еще на полгода. Чтоб отец совсем уж поправился. Ты подготовь их. Так, постепенно...

— Как... подготовить?

— Нет, ты не думай, что я собираюсь взвалить на тебя все это. Я сам все скажу. Но не сейчас. Сейчас не смогу. Когда отец забудет про сердце... тогда... Отвлеки их немного... подготовь. Этим ты мне можешь. Как мужчина мужчине. Ведь ты уже совсем взрослый!

— Какой же я взрослый?

— Теперь должен им быть! Ты и сам ведь хотел...

Часа через полтора я возвращался домой. Первый раз в жизни я должен был подняться к нам на третий этаж взрослым, совсем взрослым. Я никогда не думал, что это так трудно...



Леонид
Мартынов



Былое

Пергаменты фанатиками топчутся,
Смысл фолиантов варварам претит,
А член коммунистического общества
Сознание свое обогатит
Всем золотым наследьем человечества
Вплоть до забытых предками легенд,
Их фантастичностью не искалечится
Разумный трудовой интеллигент.
И только он сумеет, душу радуя,
Жить в добром мире этом, не ином,
с Гипербореем, Скифией, Элладой,
Кентаврами и Золотым руном.
И не труслив, он только расхохочется,
Что, мол, какой-то страшен Апостат
Своим возвратом; разве что заочники
Замучит завуч тысячей цитат!



Не сочтешь
Сегодня за день,
Сколько миллиардов градин
От асфальта поотскакивало.

Так все небо заволакивало,
Что сквозь толщу туч-громадин
Солнце с чем-то вроде факела
Высунулось и искало,
На кого весна атаки вела,
На кого собак спускала
И кого сама оплакивала,
Миллиардом слез сверкала.

Ильин день

Гроза разразилась
Над тихой рекою,
Как грохот орудий...
— Пророка Илью вы оставьте в покое! —
Пастух мне сказал. — Что делают люди!
Они уж однажды всю землю взорвали
И все, что росло, подрубили под корень!
Ему я на это ответил: — Едва ли!
Но был он в своих убеждениях упорен:

— Нет! Все погибало: и рыбы, и птицы,
И люди, и кони, и псы, и коровы!
И это и заново может случиться!
А, впрочем, как знаете! Будьте здоровы!

Строптивый нрав

Замедлять
Круговорот ночей —
Прост расчет твой, но хитер:
Толстой спичкою охотничьей
Разжигаешь ты костер.
А когда его пылание
Озаряет и меня,
У тебя одно желание —
Сесть подальше от огня,
Отстраниться, отодвинуться,
Отмахнуться, может быть...
И тогда хочу я кинуться
Прямо в реку, плыть и плыть,
Чтоб осталась позади стена
Хлестких ив и жестких трав...
Вот уж правильно, воистину —
У тебя строптивый нрав!

Тетрадь

Жалко, что кончается
Старая тетрадь.
Но не огорчается: трать бумагу, трать!
Только бы унылыми
Буквами не врать
Черными чернилами
В белую тетрадь.

Детский мир

Всех погостов
Атмосферой
Вся Земля окружена,
Будто остров Патмос, верою
В Апокалипсис полна.
Только дети поутру встают,
Как всегда, шалят, галдят,
Будто ничего не чувствуют —
Лепят баб и снег едят.
Дети многого не чувствуют,
За печатью не следят,
Нашим бедам не сочувствуют,
Только в комнатах следят,
И визжат, и снег похрустывает,
И, хотя их лепет слаб,
Не ханжат, не мясупустуют —
Лепят дедов, лепят баб!

Надо бы съездить в деревню

Надо бы в январе мне,
Хоть и мороз на дворе,
Все-таки съездить в деревню.
Что там у них в январе!
Куплен ли к Новому году
Там телевизор цветной!
Много ль прочло там народа
Книжку, даренную мной!
Не старики, так ребята,
Может быть, все же прочли,
Хоть о себе маловато
Упоминаний нашли.
Видно, в другом где-то месте
Их я упоминал,

Если не отдал в «Известия»,
Значит, в какой-то журнал.
Что бы ни находили
Где про родные края —
В «Правде» ли, в «Крокодиле», —
Думают: все это я.
Коль уж в таком я почете,
Все опишу — я не враль!
Может быть, к лету прочтете
И про январь и февраль.

Дневники

Не странно ли,
Что дневники
Не днем ведутся, а ночами,
Когда мигают ночники
И ходят тени за плечами,
Напоминая, что от них
Не скроешься и за свечами,
Включив ночник,
Строча дневник,
Графленный лунными лучами!

Старое поле

Октябрьское поле,
Громадное поле,
В тумане махины огромнейших зданий,
И нет никакой старины и тем боле
Каких-то преданий.
Как будто
Не видишь ты, гулкое поле,
Своими машинными фарами всеми,
Что было назад здесь лет семьдесят, что ли,
В далекое время, забытое время.
Но,
Если бы фары и все разглядели,
Они бы не поняли страха и боли,
С которыми выло на крайнем пределе
Ты, старое поле,
Ходыньское поле!



Язычники, христиане,
Буддисты, магометане,
Оставьте бомбометанье
На суше и океане.
Мне кажется,
Слышу давно я
Вот эти стихи без названия,
А может быть, просто воззванье,
Простое воззванье земное:
О люди,
Оставьте раздоры,
Довольно таяться и красться!
Об этом взывают просторы,
Долины взывают и горы,
И авто- и авиатрассы.
И громче торжественной мессы
Звенят магазинные кассы:
О люди, умножьте запасы
Пшеницы, маиса и риса!
Мир зябнул, от голода трясся,
Авось он напьется, наестся,
Ведь мы же не звери, чтоб грызться!
Об этом молчат вершины,
Об этом вопят провалы,
Об этом гремят машины,
Об этом скрипят штурвалы,
Об этом сердец трепетанье:
Язычники, магометане,
Евреи и христиане,

Да близятся дни процветанья,
Да кончится бомбометанье
На суше и океане!

Хвост земли

Так и так. Бывает всяко:
Иногда обрывки мрака
Лишь случайно только где-то
Жмутся к солнечной земле,
А порой обрывок света
Мечется в крошечной мгле,
Как бездомная собака.
Говорят: огромный хвост
У земли, как у кометы,
Простирается до звезд.

□ □ □

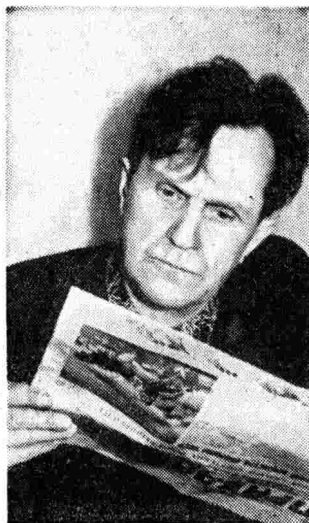
Григорий
Глазов



Моя старая фотография

За что обижен на меня
тот паренек в шинели серой!
Какой меня он мерит мерой,
сидящий около огня!
Над ним все тот же лес высок.
И так же влажно листьев тленье.
И та же ель тяжелой тенью
ложится на его висок.
Мы с ним расстались так давно.
Но все осталось тут, как было:
водой воронку затопило,
и в котелке лежит пшено.
Он будет вечно молодым.
Ему за двадцать. Мне за сорок.
И он по-прежнему мне дорог,
как этот лес, как этот дым.
За что ж обижен на меня
тот исхудалый мальчик в каске!
Какие призрачные сказки
ему дарит узор огня!
За что меня не признает
и улыбнуться мне не хочет!
Все над костром своим хлопочет
и мне руки не подает.
За что-то позднее вина,
отверг свое со мною сходство.
Он ощущает превосходство.
Он что-то знает про меня...

Варлам Шаламов



Рассказано людям немного,
Чтоб грозная память моя
Не слишком томила тревогой
Рассветы и сны бытия.

Достаточно ясен для мудрых
Простой и короткий рассказ
О тех перламутровых утрах,
О снеге без всяких прикрас.

Прощание

Вечор стояла у крылечка,
Одета пылью золотой,
Вертела медное колечко
Над потемневшею водой.

И было нужно так немного —
Ударить ветру мне в лицо,
Вернуть хотя бы с полдороги
На это черное крыльцо.

Рязанские страдания

Две малявинских бабы стоят у колодца —
Древнерусского журавля —
И судачат... О чем им судачить, Солотча,
Золотая, сухая земля!

Резко щелкает кнут над тропею лесною —
Ведь ночным пастухам не до сна.
В пыльном облаке лошади мчатся в ночное,
Как в тургеневские времена.

Конский топот чуть слышен, как будто
глубоко

Под землей этот бег табуна.
Невидимки умчались далеко-далеко,
И осталась одна тишина.

Далеко-далеко от московского гама
Тишиной настороженный дом,
Где блистает река у меня под ногами,
Где взмахнула Ока рукавом.

И рукав покрывают рязанским узором
Светло-бронзовым соснам под лад.

И под лад черно-красным продымленным
зорям

Этот вечный наряд.

Не комбайны, не храмы десятого века,
Добатыевских дел старина,
А заря над Окой — вот мечта человека,
Предзакатная тишина.



Мне снова жажда вяжет губы
В сухом снегу,
Где белый снег играет в трубы
Во всю вьюгу.

И наст горит под скользкой лыжей.
Дымится снег.
Огонь все ближе, ближе, ближе,
И вот — ночлег.

И, ставя обе лыжи стоймя
К венцу избы,
Я постучу в окно спокойно
Рукой судьбы.

Пушкинский вальс для школьников

Зачем он очарован
Наташей Гончаровой!
Зачем ему так дорог высший свет!

Ему бы в секунденты
Шекспира или Данта —
Дантеса отвели бы пистолет.

Зачем ясна погода
Романовым в угоду!
Зачем не поднимается метель!

Метели бы летели
Препятствовать дуэли,
Любую загораживая цель.

Зачем мелки масштабы,
Зачем так люди слабы!
Зачем здесь не явился Аполлон!

Потребовал поэта
К священной жертве света.
Не он сейчас потребовал, не он...



Вчера я кончил эту книжку
Вчерне.
Осадка в ней немножко лишку
На дне.
В подножье строк или палаток
Гранит
Нерастворимый тот остаток
Хранит.
Стиха невозмутима мера —
Она
Для гончара и для Гомера
Одна.



В воле твоей — остановить
Этот поток запоздалых признаний,
В воле твоей — разорвать эту нить
Наших воспоминаний.
Только тогда разрывай до конца,
Чтобы связавшая крепко вначале
Если не судьбы, так наши сердца
Нить, как струна, зазвучала...

Николай Доризо



Слава

Пусть слава подойдет к столу.
За нею гнаться я не буду.
В стихах не буду бить посуду,
Чтобы греметь на всю страну.
Пусть слава подойдет к столу.
Хочу услышать похвалу.
Заметь меня,
старик Державин,
Но хоть я дьявольски тщеславен,
Пусть слава подойдет к столу.
А подойдет она к столу,
Я крикну ей, коль рядом встанет:
— Не отвлекай!
Я делом занят!
Постой
за шкафом,
там, в углу,
А после подойдешь к столу,
Когда мой гроб украсят розы,
Свободный от стихов и прозы,
Я буду ждать твою хвалу.
Пусть слава подойдет к столу.



Моя любовь —
загадка века,
Как до сих пор
каналы марсиан,
Как найденная флейта человека,
Который жил
до древних египтян.
Как телепатия
Или язык дельфинов,
Что, может,
совершеннее,
чем наш,
Как тот,
возникший вдруг
на грани синей
Корабль с других планет или мираж...
Я так тоскую по тебе в разлуке,
И эта непонятная тоска,
Как ген,

Как область новая науки,
Которой
нет
названия
пока.
Что ж!
Может быть,
в далекий век тридцатый,
В растворе человеческой крови,
Не лирики,
а физик бородатый
Откроет
атом
вещества любви.
Его прославят
летописцы века,
О нем молва
пойдет во все края...
Природа,
Сохрани
от человека
Хотя бы
эту
тайну бытия!



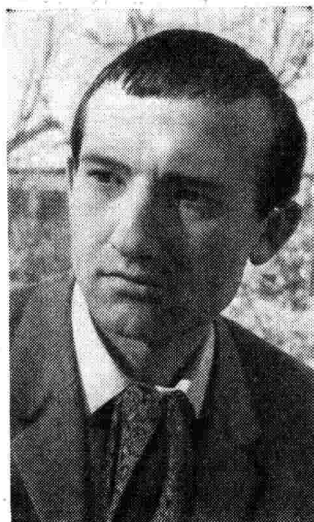
Мне бы
себя
не пережить.
Пока я жив,
Живым остаться,
Бесплатным
воздухом
питаться,
Минутой каждой дорожить!
Мне бы
себя
не пережить.

Тост

Все,
что противоположно,
Друг без друга
невозможно.
Если б
не было
печали,
Счастья
мы б не замечали.
И,
друзья мои,
поверьте,
Что бы там ни говорили,
Если б
не было бы
смерти,
Так бы жизнь мы не любили.
Потерял я
сто империй —
Сто надежд.
И тем не менее,
Может быть,
мои потери —
Главное приобретение.
За тебя я пью,
поэзия,
Как за чувство равновесия.



**Игорь
Шкляревский**



Веселая баллада

Я мало ел и много думал.
Ты много ел и мало думал,
а в результате как же так!
Ты умница, а я дурак.

Ты засмеешься — я заплачу,
ты сбережешь — а я растрочу.
Ты помнишь — я уже забыл.
Ты знаешь — я уже не знаю.
Но если ты меня прости,
то я вовеки не прощаю.

Ты стар! Глаза твои устали
следить пронзительные стаи
несущихся куда-то птиц,
осенних листьев и страниц!

Тогда я молод, молод, молод,
люблю охоту, бокс и холод,
весенний гай, грачиный гай!
Ты умираешь! Умирай!
Но поскорее выбирай.
Ты в рай! Тогда я в ад! Прощай!

☆

Слышу птиц улетающих крики.
Скоро снег. А в корзине моей
синий холод лесной ежевики
и латунные блики язей.

На причале примерзло весло.
А тяжелые скользкие лодки
ярко-желтой листвой обожгло.
Это начался день мой короткий.

Мой напарник устал и храпит,
будто пса подзывая, трубит.
Очень бурно он любит свободу.
Очень ловко ворочает воду.

Этот мальчик, веселый и жадный,
вдруг проснется один и поймет,
что и радости к нам беспощадны,
потому что ведь время идет...

☆

Вдруг я живую рыбу отпустил!
Прощай! Живи! И сразу загрустил —
расстался с трехфунтовой форелью —
а, черт возьми, ведь это я старею!

Плеснуло в горло свежестью с реки.
Дохнуло в душу юностью лесною.
Ну как тут не замаливать грехи
измученному этой чистотой!

И понял я, что мне тридцатый год.
И синева, как прежде, неоглядна.
И за рекою иволга поет.
И я один. И совесть беспощадна!

☆

Журавль, хромающий в небе, —
о чем он так хрипло трубит!
О воле, о доле, о хлебе!
О том, что товарищ убит!

А может быть, рощу срубили —
родные места не узнал!
От холода крылья занули,
устал и от стаи отстал!

А может, его журавлиха,
в предчувствии новой беды,
с другим подружилась и тихо
кружит возле талой воды!

Никто никогда не узнает,
зачем за пустынной рекой
свободное небо рыдает
и сводит с ума синевой!

☆

Внезапный дождь мой лоб остудит.
Туман дорогу украдет.
Дурак печаль мою осудит.
Веселье умный не поймет.

Я в лес войду, и по лицу
вдруг судорогой — паутина!
О, как светло в моем лесу!
Куда ни глянь — одна осина.

Не знаю, что со мною будет,
когда настанет мой черед, —
и кто печаль мою осудит,
и кто веселье не поймет.

Хочу, чтоб только у реки
весной кукушка куковала
и чтоб не черные пеньки,
а годы Родине считала!

Ведь если даже не возвышу
тем, что и я ее люблю,
то и печалью не унижу,
своей бедой не обедню.



Дрожал июнь, и ночью лунной,
травой холодною и длинной,
я шел к реке с тобою, юной,
совсем как в песне той старинной.

А берег нас пугал сиреной!
И в белой пене черных струй
скользил паром, и во вселенной
журчал веселый поцелуй.

И был мой голос необычен,
когда отважился звенеть,
что каждый человек трагичен —
ведь каждый должен умереть.

И ты, как девочка босая,
слепца ведущая домой,
тревожных слов не понимая,
была тревогою самой...



В Пропойске — май! Коза жует афишу.
Луга и поймы девственно-чисты.
Совсем не жаль того, что не увижу.
Мне жаль того, что не увидишь ты.

А бор стоит стеною у реки,
как будто сосен в нем не убывает.
Горит закат. Ревут грузовики.
Дым от костра поля перелетает.

Все тот же дым! Он горек и лилов.
И ты совсем не склонен к многословью,
но к Родине тревожная любовь
сегодня схожа с первой любовью.

И этот бор и дым, который тает,—
все о тебе поможет ей забыть,
и пусть она тебя почти не знает,
но ты ее не можешь не любить.



Совсем не страшно заблудиться.
Страшнее на чужом пути
вдруг ничему не удивиться
и ничего не обрести.

Однажды в юности звенящей,
матрос, веселый реалист,
я заглянул в почтовый ящик,
а в нем лежал осенний лист!

Такие письма пишет время,
когда напомнить нам пора,
как утверждаемся, старея,
как безвозвратны вечера!

Такие письма иногда
нам шлет судьба, а это значит,
что, если скрутит нас беда
и не обрадует удача,

есть отчий край и дом родной
над обмелевшею рекою,
где ливень пляшет под звездой
и пахнет мокрою корою...



Еще и воздух не остыл
в холодном здании вокзала,
где он о чем-то говорил
и эта женщина стояла.

Еще железо не завывало
и в ночь не свистнула труба,
когда насквозь его пронзило,
что эта спутница — судьба.

И сразу в колокол пробили.
И снова темные леса,
и звезды яркие поплыли
по отражению лица.

Мелькнули сосны и стога.
Рвануло зарево пожара,
и безымянная река
недолго щеки охлаждала.

А он глотал табачный дым,
внезапным чудом потрясенный
и отражением своим
к ночной природе приобщенный.

Она летела сквозь него,
печальным дымом обнимая,
дразня, тревожа, призывая
к забытой жизни естество.

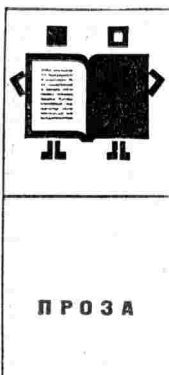
Как бы предчувствуя расплату,
она скупую не была
и все ему дарила сразу!
Все, что имела и могла...



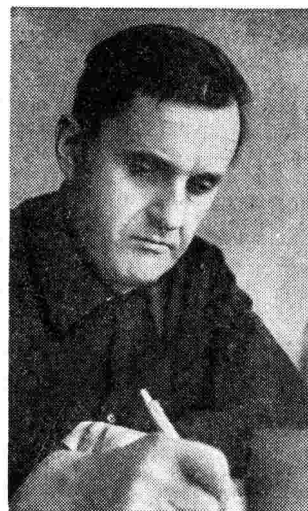
Ярко горели сухие дрова.
Весело в небе свистела флюгарка.
Долго смотрела на пламя вдова,
в юности прачка, а после кухарка.

Медленно думала что-то свое,
давнее что-то в золе ворошила.
...Честно работала, верно любила,
чисто стирала чужое белье.

Сполох стоял над спокойным лицом —
алые угли к огню подгребала.
Молча движения тень повторяла.
Думал и я в эту ночь о своем...



Л. Якименко



ДОРОГИ

Лев Якименко написал первую повесть. Она построена, как цикл сюжетно завершенных новелл. Лирический герой выступает как бы в трех временных измерениях: мальчик, выросший в степном украинском селе, студент московского вуза, который в годы войны уходит добровольцем на фронт, и сорокалетний человек, который не только вспоминает, но и размышляет о «времени и о себе». Так протягиваются живые связи между прошлым и настоящим, перед читателем предстают «мальчишки 30-х годов» с их мечтами, надеждами, размышлениями в суровые и героические будни войны. Мы публикуем три новеллы из этой повести.

Рисунки В. Богаткина.

1. «Комбриг Чугунов»

«В сыром утреннем тумане на опушке леса строились эскадроны. Недовольно пофыркивали кони, лица бойцов были суровы и задумчивы. Впереди на невысоком холме на рыжем жеребце поднялся на стременах комбриг Чугунов. Конь нетерпеливо перебирал ногами в белых чулках. Комбриг в бинокль пытался рассмотреть проволочные заграждения, линию окопов. Но вдали в туманной мгле угадывалась лишь уходящая ввысь башня костела небольшого польского городка Б.

Оттуда тянуло горьковатым дымком. Комбриг раздувал ноздри. Видимо, в городе сухими сосновыми дровами растапливали печи.

За городом открывалась дорога на Варшаву. Комбригу виделись красные флаги над заводами и фабриками, шествия рабочих, митинги. Ему казалось, дробный перестук конских копыт ринувшихся в атаку бойцов Конармии отзовется в Берлине, Вене и Будапеште новыми кострами восстаний. Революция, как пожар: новы попутном, ветре она пойдет полыхать по всем странам...

Возле комбрига застыл знаменосец на вороном коне. Трубаچی осторожно продували трубы. С мину-

ты на минуту должны были раздаться резкие, тревожные и гордые звуки: «А-та-ка-а!..»

Я писал рассказ из времен гражданской войны. О молодом комбриге-студенте. Комбригу Чугунову было двадцать два года. Студент Технологического института, он был выслан из Петербурга в 1913 году за участие в студенческих беспорядках. Уроженец станицы Ахтанизовской на Кубани (я выбирал знакомые места), он был первым в казачьем роду, дерзнувшим пойти по «ученой» части. Революция бросила его в Первую Конную, и он стал командиром бригады.

В конце рассказа комбриг погибал. После атаки он возвращался в отбитый у врага город. Медленно шагает конь, опустив голову. С удил на мостовую падает пена. Комбриг вытирает о конскую гриву окровавленную саблю, вкладывает ее в ножны, загорается солнце в цветных витражах костела, комбриг поднимает голову, улыбается солнцу, и тут гремит предательский выстрел. Стреляет из костела фанатик-ксендз. Комбриг валится из седла, но стремяна намертво схватили его ноги. Испуганно ржет конь, он несется вскачь, и русые волосы молодого комбрига метут неровный булыжник мостовой.

Рассказ я начал писать по нескольким причинам. Во-первых, появилось объявление о том, что у нас в институте начинает работу литературное объедине-

ние. Не какой-нибудь кружок, вроде тех, что были почти в каждой школе, а объединение... Само слово намекало на некую профессиональную причастность. К тому же внизу было приписано: «Руководитель К. А. Федин». Меня даже озноб прохватил. Фамилия руководителя была верным ручательством серьезности задуманного.

Но, чтобы попасть в литературное объединение, надобно было в доказательство своих творческих возможностей представить рассказ. «Можно законченный отрывок из повести или романа», — деловито объяснила мне коротко стриженная девица. «Вот как, — подумал я, — значит, есть и такие: романы строчат...»

Мысль о том, чтобы создать роман, меня даже в снах не посещала, и я засел за рассказ. «За неделю-две соображу», — самонадеянно прикинул я.

Таков был первый, чисто практический мотив. Второй был куда сложнее.

— Сапог! Ты не читал Бабеля?! — бурно возмущался Семен Костенко. Он приехал из Киева. Вокруг его чела был нимбик какой-то республиканской стипендии, которую он получал еще в школьные годы как юное дарование. Он писал стихи о Хлебникове, поэт грелся у солдатских костров, их раздувал ветер революции. Он создал целый цикл о цыганах, о Блоке. Были там и гитары, и цыганки в красных платьях, и тоска, и одиночество поэта... И его презрение. Предвидение мятежных костров на Дворцовой площади, у которых он будет греться в холодные октябрьские ночи 1917 года.

«Малец! Под Блока работаешь...» — снисходительно пророкотал Нёмка Фридман — грузный, с патлами нечесаных волос, всегда расстегнутый ворот рубахи открывал волосатую грудь — институтский мудрец и философ. В тот год на нем была узбекская тюбетейка: группа наших студентов летом вместо каникул махнула на строительство знаменитого в те годы Ферганского канала; вернулись они только в октябре, худые, черные; факультетская стенная газета «Комсомолия» запестрела стихами, очерками, фото-снимками — восточные люди в халатах улыбаются с поднятыми кетменями на бровке канала. Наших ребят будто за ударную работу наградили тюбетейками. Нёмка в своей — черное с серебристо-светлым — проголеял до снега.

Он как бы сортировал поступавших на первый курс; его короткие оценки: «дуб», «трепло», «медуза», «что-то есть», «гений» — нередко предопределяли негласное общественное мнение, по крайней мере на первых порах. Иногда на всю жизнь. О Семене он сказал: «Что-то есть...» — и поднял указательный палец вверх.

Мне стихи Семена нравились. Сквозь чужое, заемное угадывалось что-то свое, хорошее, тревожное, чистое... И, может, горечь и печаль возникали оттого, что не мог он еще сказать, как хотелось, как чувствовалось, о том, что становилось его жизнью: о судьбе поэта и времени, о назначении поэзии, о любви (школьная привязанность, порванная расстоянием, казалась судьбой: терять, терять, таить страдания, копить их, и лишь стихи выплескивали тайное, скрываемое от самых близких. Рассказал он мне как-то об этой своей школьной любви, и мне запомнились: белая шапочка и растерянное лицо ее при прощании на вокзале у поезда, который увозил его в Москву. Он недоговаривал, он словно опасался, чтобы я не заглянул туда, где клубились тучи и накапливались грозные заряды поэзии).

Большая поэзия — почти всегда и угадывание своей судьбы. И теперь мне кажется, что в тех юношеских стихах Семена было предчувствие фронтовых

ночей, скупых дымных костров во вражеском тылу. Покачивания носилок. Резкого рывка самолета, который после короткого разбега оторвался от узкой полосы расчищенной земли: он увозил его в госпиталь на «Большую землю». Поэтической известности, которая пришла к нему, двадцатилетнему солдату, в годы войны. Ранней смерти в больничном одиночестве, в таких страданиях, о которых он не захотел рассказать в последних стихах.

Он писал о мужестве, об озарениях любви в сумеречных просветах... Возвращение из больницы было для него празднично. Будто вновь он возвращался с войны. Счастливый. Живой... И все то было впереди. И снова попадал он в ночную полутьму больничной палаты, в которой и через годы бредила, стонала, разговаривала во сне война...

В то время, о котором речь, до войны было всего два года, но разве мы знали об этом?

Семен стоял передо мной, высокий, черные брови взлет, сухая смуглость лица смягчалась юношеской розоватинкой губ, беспокойным блеском глаз.

— Ты почитай, почитай, — настойчиво твердил он, обнял, толкнул в плечо, как будто я сейчас же должен был понестись в библиотеку.

— Лесик, — с нежной гнусавинкой сказал Юра Роговин, по прозвищу «канавинский мешанин». Он был родом из Горького и всячески подчеркивал это, намекая, очевидно, на некий перст судьбы. Всех он почему-то называл уменьшительными именами: Петик, Толик, Лесик.

— Лесик, — сказал он, — тебе оказывается честь этим предложением. С подонками, не читавшими «Одесских рассказов» и «Конармии», вообще не разговаривают.

Я люто глянул на него: щупленький, остро торчащие плечи, жидкие прилизанные волосы на плоском черепе, худое, испитое лицо, бесцветные глаза — все в нем было неприметным, жалконным — соплей перешибешь, а туда же... Юрка подло мстил мне. Недавно, за вечерним чаем, когда все возвращались из читалок и за большим столом посреди комнаты пили из жестяного чайника голый кипяток, без заварки, я уличил Юрку: он, оказывается, не читал «Илиаду», «Фауста», не помнил как следует «Города и годы» К. Федина... «Педагогическую поэму» Макаренко и то не знал. Подобные схватки — проверка на знания, выносливость памяти — могли вспыхнуть по любому поводу: в общении, в перерывах между лекциями. Мелькали имена Гегеля, Фихте, Шпенглера, Леопарди, Рембо, Рильке... В нашем институте любили щегольнуть образованностью, особенно первокурсники. И вот Семен с Юркой подловили меня.

Юрка все время крутился возле Семена. С какой-то иступленностью стремился он пролезть в институтскую «элиту», незримую когорту «умников», самое существование которой угадывалось смутными чувствами юных провинциалов с первых же шагов в этом институте. Семен, тот сразу же замечен после первого же вечера, на котором он прочитал свои стихи. Вот Юрка и крутился возле него, словно эта близость давала и ему право на некую значительность.

Семену я сказал: не понравился мне Бабель. Особенно «Конармия». Пестро, криливо. Как на ярмарке. Почему бойцы Конармии — донцы, кубанцы — разговаривают так же, как одесские босаки? — недоумевал я. И что же, Конармия была в действительности такой: насильники, садисты, сифилитики, мутная орда, неизвестно кем поднятая на то, чтобы совершить величайшее историческое дело? В

Конармии был Павел Корчагин. Таких что-то не видно у Бабеля...

— Ты ортодокс! — победно взвизгнул Юрка.

А Семен сказал:

— Может, о «Конармии» ты в чем-то и прав. Я тоже в ней не все принимаю. Но ведь читаешь — не оторвешься. А «Одесские рассказы»! Ты их как будто и не заметил. Нельзя принимать в искусстве только ожидаемое. Талант почти всегда вызывающе неожидан. Это надо понимать. Надо образовываться, дружок...

Я твердил о Павле Корчагине... На том и разошлись.

Но Бабель чем-то ранил меня. В непомерной гордыне я решил: напишу рассказ о Первой Конной. Я покажу вам! Вы все будете замирать у длинных полотен нашей «Комсомолии» — обычно они тянулись вдоль всего коридора. Вы будете читать и плакать...

...Комбрига хоронят на высоком холме. Над его могилой шумят сосны. И холм и сосны, словно скорбно замершие высокие женщины с распущенными волосами, видны издали. Пройдет путник, поклонится. Взмахнет девушка по крутой тропке, положит букет полевых цветов. По-матерински погорюет старушка. Пионеры в красных галстуках, со знаменем и горном опустятся на одно колено...

Рассказ был готов. Но прежде чем предложить свое создание общественному мнению, я решил вынести его на суд одного из товарищей.

Но кому довериться? Семен отпадал по вполне понятным соображениям. Друг мой Виктор Чекрыжев болел, его заперли в изоляторе — подхватил детскую «свинку». Иван был в полном загоне — за пять дней ему надобно было написать курсовую работу по истории средних веков об экономических причинах крестьянской войны в Германии.

Одного за другим я перебирал соседей по комнате. Володька Петров всерьез погрузился в недоступные для простого смертного глубины китайского языка. Он ходил с тетрадкой, в которой была записана очередная порция иероглифов, и зубрил их на переменах, в трамвае, в столовой... На кой они ему!.. В те бурные времена, когда почти каждый день самые неожиданные события потрясали Европу, заниматься китайским, казалось мне, все равно что уйти в отшельники. А он оторвется от своей тетрадки, сутулый, худой до того, что даже очки сами собой сползали на конец носа, смущенно улыбнется: извини, мол, не могу, поправит очки и вновь прилипнет к тетрадке. Нет, Володька не годился...

Пригодился нам Володька, и очень скоро!.. После войны он в тридцать лет защитил докторскую диссертацию об истории национально-освободительной войны в Китае.

Жил еще с нами Валька с философского. Он часами мог сидеть перед зеркалом, внимательно один за другим изучая угри, которые густо бугрились на его лице. Да и что можно было ожидать от него, если он на одном из вечеров прочитал свои стихи («Политическая лирика», — объявил он), в которых рифмовались совхозы — колхозы, ударник — напарник... Его так и прозвали: «Эй, ты, ударник-напарник!»

Выходило: рассказ читать некому. Помог случай.

— Вставай, вставай! — твердил Миня Климашин. Он настойчиво стаскивал с меня одеяло. Со сна я ничего не понимал. Куда? Зачем? На лекцию? Вроде рано. В окнах темно. Через верхние стекла над дверью пробивается желтоватый ночной свет из коридора. Протянулся к тумбочке за часами, глянул... Если бы в тот момент под руками у меня оказалось что-нибудь тяжелое, Миня пришлось бы обращаться за «Скорой

помощью»: было два часа ночи, недавно уснул, в семь на лекцию. Ах ты!..

Я подпрыгнул на кровати, двинул Миню в живот ногой, прошипел:

— Удались!..

Миня на ногах устоял и все так же терпеливо, ровно, настойчиво, словно добрая бабушка, уговаривающая дитя съесть манную кашку, продолжал:

— Вставай, одевайся, пойдём... Это очень надо!

Тут только я разглядел, что он в пальто, шапке, большой, громоздкий. Маленькие глазки на толстом, добродушном лице укоряют меня. Видно, стряслось что-то с человеком. Пришлось вставать, одеваться...

Мы вышли во двор. Говорят, в нашем общежитии в дореволюционные времена была богадельня: замкнутое квадратное здание с бесконечными мрачными коридорами; внутри двора — часовенка, теперь склад. Потопали вокруг часовенки. Сеялся редкий снежок. Мохнатые нахолодавшие звездочки медленно проплывали у фонарей.

Я зябко поежился, зевнул — до того хотелось спать! — повернулся к Мине:

— Что у тебя стряслось, человечек?

Миня доверительно взял меня за конец воротника и с некоей торжественной значительностью сказал:

— Я хочу рассказать, как я бы поставил «Макбета». У меня родился гениальный план!..

Я начал заикаться:

— И-и-из-за этого ты меня разбудил?

— Конечно, — сказал Миня. И продолжал возвышенно и просветленно: — Я пришел к выводу, что Макбет — одна из непрочитанных трагедий Шекспира. Я познакомился с историями многих постановок — они не удовлетворяют меня. Все надо по-другому. Все должно быть грандиозно. Прежде всего сцена...

И тут меня осенило, и примирило, и обрадовало: вот кому прочитать рассказ! Уж если этого проймет, тогда все...

Миня говорил о трагедии злодейства, которое стало таковым как бы против своей воли, он связывал замысел Шекспира с современностью, с неизбежным возмездием всякому делу, не имеющему общечеловеческого нравственного оправдания, — фашизм, например, яд разрушения внутри, он говорил о значении мистического элемента в режиссерских решениях, — видно, Миня недаром переводил средневековых немецких поэтов...

Но главное — сцена. Миня напирал на это, она должна быть по-иному устроена. Он палочкой чертил на снегу план, что-то прикидывал, изменял...

Часа через два — ни в одном окне не было света — Миня решил меня отпустить, пообещал: остальное я тебе завтра доскажу.

Я предложил Мине прочитать свой рассказ сегодня, сейчас, какой тут сон...

— Ты написал рассказ? — переспросил Миня и уважительно сказал: — Здорово! Ты молодец!..

Мы устроились в коридоре, в светлом кругу, под лампочкой. Он стоял, и я стоял...

— Событие есть, а человека нет. Бесформенный он, твой комбриг. Его бы... — Миня покрутил растопыренными пальцами, как будто поворачивал. С разных бы сторон его: что он любит, как он гневается, как говорит. А то он у тебя вроде духа на коне.

Дымок ты хорошо подпустил, печи топят на рассвете, мирный дымок, а на них сейчас ринется кавалерийская лавина, война обрушится.

Сразу он меня другим.

— Ты что-то напутал. Твоему комбригу, говоришь, 22 года. В 1913 году он уже был студентом, война с белополяками была в 1920 году, следовательно, ему должно быть не меньше 26—27 лет. А это совсем

другой поворот в характере. Финал сентиментален, смерть самая — сильно, а в конце ты хочешь растрогать. Не надо этого! В твоём случае сентиментальность — грим, положенный на мужественное лицо. К чему он?.. Значит, ты писателем хочешь стать? Здорово! Я вот не смогу — анализ заедает. Все разобрать хочется, как ребенку новую игрушку, поглядеть, что там внутри... Как ты думаешь, можно понять, в чем сила искусства, почему оно с людьми с изначальных времен?..

Миня Климашин погиб осенью 1943 года. Он был переводчиком в воздушнодесантной бригаде.

...Я долго еще переживал свою неудачу, но у меня была тайная радость, о которой я никому не мог сказать, о которой никто даже не догадывался. Пока я писал рассказ, думал о нем — и спустя много времени, — я сам был комбригом Чугуновым.

2. Дорога

Я прыгнул из вагона первым. Прямо в снег. Из полумрака, из сонной одури. За мной Виктор, Иван...

Мы выскакивали из подслеповатых — два маленьких окошка по углам, — продымленных, провонявших махоркой, потом и солдатскими портянками товарных вагонов, в которых давно не соблюдалось золотое правило: «40 человек или 8 лошадей», — в нашем было пятьдесят, лежать на двухэтажных нарах можно было только боком, а стоять и вовсе нигде: небольшое свободное пространство занимала железная печурка. Всю дорогу, чтобы не мерзнуть, мы накаляли ее докрасна.

И вслед за нами освобожденно вырывался застоявшийся, вонючий, — всю дорогу нас кормили чечевичной похлебкой, — несчастный, запертый в вагоне воздух.

Из раздвинутых широких дверей мы прыгали в немой солнечную прелесть.

Темные ели у станции, синеватые тени, веселые солнечные отсветы на снегу. Мимо водокачки к лесу уходила пожелтевшая колея дороги. По ней, тяжело урча, набирая скорость, уже пошли грузовики с интендантским и штабным имуществом. Эти всегда первые!

Капли собирались на иглах елей, блестели, играли светом, срывались, выбивая в снегу темные лунки. Под ближними елями снег в темных оспенных пятнах.

У деревянного домика с резными оконными наличниками — он стоял в стороне от станции, поближе к нашим вагонам, — мальчик в порывчатой солдатской ушанке, в больших, не по росту валенках сбивал сосульки у колодца.

Видно, не вновь были ему эти красные эшелоны на путях, выпрыгивающие из вагонов люди в шинелях с винтовками и зелеными вещмешками, этот шум, гам, выкрики и ругательства, которые неизбежно сопровождают всякую выгрузку.

И мне показались неправдоподобно-неожиданными и эта станция, затерявшаяся в близко подступившем лесу; и солнечный, по-весеннему радостный день; и этот мирный домик с цветными резными наличниками; и деловой мальчуган, который взглядывал на вагоны, на толпившихся возле них бойцов, на платформы, с которых спускали пушки, полевые кухни, зенитные и станковые пулеметы, на лошадей, которых понуканием выгоняли на шаткие сходы... И вновь занимался своими сосульками.

И прифронтовая станция и выгрузка мне представлялись совсем другими. Виделись разбитые здания, обгоревшие, покореженные перекрытия, тайная ночная выгрузка, отдаленное погромыхивание тяжелой артиллерии.

А тут было тихо и спокойно. Как будто и немцев-то никогда не было. А мы знали, что они хозяйничали и в этих местах, их выбили отсюда месяца полтора назад. И мы погоним их дальше!.. Толкаем до самой границы!.. Дойти бы туда к лету. А потом... Небо-то какое! Я задираю голову. Не по-зимнему высокое, мирное, редкой голубизны!

Правда, еще в самом начале выгрузки, словно знал он день и час, на большой высоте прошел немецкий разведчик. Торопливо захлопали зенитки. Белесые шарики разрывов поплыли в безоблачной синеве, провожая самолет.

— Живем! — Виктор хлопнул меня по спине.

Я оглянулся. Уже больно несуразно-воинствен был он в своем толстом ватном бушлате, в шапке, налезшей, наподобие шлема, по самые брови, перепоясанный широким ремнем, на котором висели и массивная противотанковая граната, и две «эфки», и брезентовые патронташи. Ближе к оттопыренному задку — на Викторе, как и на мне, были: теплые кальсоны, армейские брюки и стеганные ватные — отдувался противогаз. С другого боку — полевая сумка на брезентовом ремешке.

Над плечом гордо возвышалось вороненое дуло самозарядной винтовки Токарева. Ох, и эффектно же она выглядела, блестяще-новенькая, с полированным прикладом! У нескольких человек, в том числе и у меня, были эти винтовки. Капризная, своенравная, она годилась разве что для парадов. Мы сдали их после первого же боя, взяли нашу неизменную трехлинейную образца 1891—1930 годов.

Лицо у Виктора счастливое, чумазое, в пятнах копоти. Он сегодня утром все раздувал печку, дрова были сырые, дымили...

— Слушай, вояка! Ты хоть бы умылся, — посоветовал я Виктору и легонько подтолкнул его к снегу. Он толкнул меня. Мы хохотали. Подпрыгивали и толкались. Мы дурачились, как молодые жеребята, вырвавшиеся на волю. Виктор от моего толчка, неожиданно взмахнул руками, полетел с насыпи в снег. Не думаю, что я его уж так сильно толкнул, на нем амуниции было пудика на полтора...

— Вы! — рывкнул от вагона Борис Варавва, наш командир роты. В длинной, хорошо пригнанной шинели. Сапоги горят. Артиллерийский бинокль приторочен на груди среди ремней. Он шел прямо на нас. Глаза твердые, желтые, немигающие. — Недоноски! Дефективны! Ты не видишь, у него противотанковая граната. Рванет — костей не соберешь.

Я вытянулся по стойке «смирно». Преданно и бесмысленно вытаращил глаза. Озорвал. Не понимаю, с чего меня такое веселье разобрало.

Борис взглянул на меня. Остывая, равнодушно сказал:

— Переигрываешь! Ремень подтяни! Застегни шинель! — Другому «дефективному», выкарабкавшемуся из снега, приказал: — Противотанковую гранату сейчас же сдай старшине. И оба марш за минометами!

Мы побежали вдоль вагонов к платформе...

За год до войны Борис, демобилизованный «кадровый» старшина, оказался у нас на факультете. Чем-то вроде помощника у нашей добрейшей Серафимы Ивановны, которая была и заведующей учебной частью, и диспетчером, и просто человеком, к которому мы шли со всеми своими студенческими неприятностями и неполадками. Борис, в гимнастер-

ке со следами на петлицах от недавно снятых знаков различия, поначалу довольно растерянно поглядывал на этот проходивший перед его глазами неутраченный, не признающий субординации, скандалящий, шумящий студенческий рой! А потом приободрился, поступил и сам на заочное отделение и даже, кажется, сдал одну сессию.

Формы своей он так и не успел сносить. Привинтил заново свои треугольники. В истребительном батальоне в июле 1941 года он вновь оказался старшиной. Значительно позднее, уже под Москвой, в ноябре, его назначили командиром минометной роты. Тогда же под праздник его произвели в младшие лейтенанты.

Он покровительствовал нам, своим одногодкам, — бывшим студентам. «Вне службы» он был для нас просто Борис. Мы говорили ему «ты».

Но при этом Борис как-то очень твердо и умело охранял свои командирские права. И демонстрировал их довольно часто и не без педагогического ехидства.

Многие помнят зимнюю стужу 1941 года. В один из декабрьских дней наш взвод должен был совершенствовать оборону: рыть блиндаж. Нам занятие это казалось бессмысленным. Во-первых, немцы уже были отогнаны от Москвы, во-вторых, мы знали, что нас скоро двинут на фронт, в-третьих, нам совсем не улыбался переход в землянки: мы, минометчики, жили до сих пор в избах.

После небольшой дискуссии командиры отделений — все из студентов — решили внести в очевидную бессмыслицу приказа некое разумное начало. Мы договорились с командиром взвода — молодым лейтенантом, недавно прибывшим к нам из госпиталя (атака немецких танков, разгром его полка оставили длительные следы: в глазах его до сих пор нет и да и появлялось смущавшее нас безумно-испуганное, незащитное выражение, как будто он готов был тут же бежать, нестись куда-то без оглядки). И он безо всяких разрешил нам заняться «самоподготовкой».

Не знаю, как Борис узнал о нашей проделке. Помоему, мы были сами виноваты. Мы были несдержанны. Мы хохотали так, что дребезжали стекла в окне. Готовясь к будущим боям, мы перечитывали «Похождения бравого солдата Швейка». Швейк совершал знаменитый марш на Будейовицы. Мы постанывали от удовольствия.

Мы не услышали, как стукнула дверь и на пороге нашей каморки вырос Борис. Весь в морозном инее. Нахолодавшее лицо. Сжатые губы. Уши шапки опущены, завязки залубенели. На руках меховые варежки. Видно, побывал он уже в поле. Там, где рыли блиндаж.

Я вскочил. И хотя был совсем по-домашнему, в расстегнутой гимнастерке, без ремня, доложил, что так и так, командирская учеба. Изучаем устав внутренней службы. Раскрытый устав — не подкапашься! — действительно лежал на столе.

Борис молчал. Замкнувшийся, неприступный. И все так же, стоя у порога, не раздеваясь, не присаживаясь, начал гонять нас... Студенческие знания уставов не помогали. Борис был дотошен и вездлив. Он желчно комментировал наши ответы.

Приказал одеться и выйти на строевые занятия. Подхватил «Швейка», который выскользнул из-под неловко поднявшегося Ифана. Полистал без улыбки. Сунул себе в карман.

— Почитаю и я на досуге.

Все-таки по временам наш Борис был солдафонистоп-туп и упрям! На него находило. Так и в этот раз.

Он заставлял нас падать на дышавший смертным холодом снег, вскакивать, снова падать, перебегать...

На вымороженном светло-зеленоватом небе мертвенно сиял диск солнца. Вокруг него отслоившаяся радужная оболочка. Замершие белые деревья. Безлюдная деревенская улица. Даже собак не видно и не слышно. Все попряталось от мороза.

А мы раз-два, выше ногу, оттяни носок (это в валенках-то!), голову прямо, шире шаг, кругом!

Бессильная ярость сотрясала нас.

Ах ты, шкура! Ишь взыграл! Все! Конец нашей дружбе. Катись ты со своим демократизмом! Тоже — свой парень!..

Почти бегом повел нас к блиндажу. Наши бойцы, которым мы в душе сочувствовали, тоже не очень старались. Одни прыгали, толкались, пытались согреться. Другие вяло били ломами в землю. Попробуй-ка поковырай ее в тридцатиградусный мороз!

Борис быстро навел порядок: заставил всех работать. Ну-ка, возьмите лом; где ваша лопата? Отбрасывайте снег. О нас сказал:

— У младших командиров был день учебы. Я занялся с ними строевой, чтобы с вас покруче спрашивали.

Отвел нас в сторону.

— Оставляйтесь здесь, поработайте до обеда. Отведете домой. Строем. Чтобы равнение... Все как следует. И подумайте над тем, что вам с ними воевать. И это будет очень скоро. И что они думают о вас, своих командирах, которые засели в теплой избе, обучаются у Швейка, как отлынивать, а их выгнали на работу, на холод...

...— Папа, что это у тебя за белое пятнышко на щеке? — спросил меня Вова. Доглядел-таки. Мы бежали с ним из школы. Студеный ветер. Мороз. Вот пятнышко на щеке в январе 1963 года и напоминало сорок первый.

Пока мы маршировали тогда, пока топтались у блиндажа, я и подморозил себе кончик носа и щеку. Снегом оттирали — сухим, сыпучим, а пятнышко осталось.

Наш полк после выгрузки оказался в темном лесу, сумрачно-неприветливом. Зимнее солнце освещало лишь верхушки елей и берез.

Борис сказал, что в этом лесу мы будем до вечера. Лес укрывал нас от воздушного наблюдения. Костров не разводите. На поляны не выходить. Держаться в тени деревьев. Горячей пищи не будет. Нельзя топить кухню: будет виден дым.

Мы уныло грызли задубевшие на морозе сухари. Пытаясь согреться, вытапывали снег у деревьев.

— Это не по мне. Я без горячего не могу. Да еще на морозе. Я рабочий человек, мне горячее нужно, — бормотал мой заряжающий Павел Возницын, поглядывая по сторонам, приносившаяся: дымок ловил. Все не верил, что кухню не разожгли. Или дурак валял.

— Эх, жизнь... И зачем ты меня, мамочка, мальчиком родила!

Это было сказано юмористически-безнадежно. Только глаза Павла на длинном меланхолически-задумчивом лице (есть такие лица от рождения) глядели на мир по-обычному скучновато и равнодушно.

Мы неохотно улыбались. А сами тихо позавидовали в ту минуту девочкам. Сидят себе дома...

Лишь вечером мы двинулись в путь.

Прошло много лет, но и до сих пор мне видится эта дорога. Будто это было совсем недавно, будто это было вчера. А иногда мне не верится, что я прошел ее, эту дорогу на фронт. Она казалась бесконечной, мучительно-длинной, как сновидение...

Совсем недавно на машине я ее проехал за три часа: от станции выгрузки до Черной горы — деревни, откуда мы пошли в бой.

Я не могу вспомнить ее всю, от начала до конца, рассказать, что было в первую или вторую ночь нашего марша, где мы были и что мы делали тогда-то и тогда. Она видится мне, наша дорога, отдельными картинками, эпизодами, между которыми, казалось бы, нет никакой связи, кроме того, что между картинками и эпизодами, которые отложились в памяти, вошли навсегда в мою жизнь, мы шли, мы двигались. Сначала с короткими привалами и отдыхом, как и полагается на всяком марше, хотя на морозе и не особенно «привалишься» и отдохнешь, а потом просто шли...

Сначала было задумано, что мы будем идти только ночью, что наша дивизия скрытно подойдет в пункты сосредоточения и неожиданно нанесет удар. Мы должны были перерезать дороги к отступлению сильной вражеской группировке, позиции которой острым клином вдавались в наше расположение. От занятой врагом крайней точки — старого русского города — недалеко было и до Москвы.

И мы знали тогда, в феврале 1942 года: нельзя их оставлять так близко к Москве. Пока они тут, Москва под постоянной угрозой. Острые копыта, приставленные к груди. Мы должны отрубить его. И, поскольку это была операция, в которой принимали участие несколько армий, успех ее зависел в первую очередь от согласованности, точности, внезапности. Нам все это объяснили сразу же после выгрузки, когда мы мерзли в лесу.

Но уже тогда стало известно, что мы опоздали. То ли нам вовремя не подали вагонов, то ли по какой другой причине, но только мы выгружались в тот день, когда должны были уже наступать.

Командование армии нервничало, торопило нас, у него был приказ фронта о начале наступательных действий, а наступать было нечем, наша дивизия и другая, тоже московская, еще были, как говорится, на подходе. Нам приказали двигаться безостановочно и днем и ночью. Сто пятьдесят километров по зимним проселкам мы должны были пройти за двое суток. Так возник приказ о форсированном марше...

Подмороженное, иссиня-голубое небо. Зябкий, тусклый свет луны. Насупленный еловый перелесок. Смутные тени на снегу.

Дорога медленно взбирается на пригорок. Нерушимо стоят плетни, ограждая дворы. У плетней мирные ветлы. И дальше, на месте изб, черные бугорки с подтаявшими, желтыми краями снега. И над ними, как мачты затонувших кораблей, немые печные трубы. Угрюмая, молчаливая память о теплом доме, о жизни. Прокопченные печи. Одна, другая. Они стоят по-разному — то устьем к дороге, то боком.словно из той озорной сказки, в которой по щучьему велению, по моему хотению печи ездили, как сани. Но не видно на них неунывающего Иванушки-дурачка. Они сиротливо зябнут на ветру.

— Немец, паразит, все пожег, — сказал мальчонка, обвязанный крест-накрест материнским платком, и пренебрежительно сплюнул, оттопыривая губу. Любопытствуя, он подошел к дороге. На огородах в стылых синюющих сумерках неясными группками копались бабы, старики, дети.

— Немец — дурак, — даже с каким-то хвастливым вызовом продолжал мальчонка, — он думал, что все позабирал. Ну, это верно, коров, овец всех угнали, ни одной курицы в деревне не оставили. Но русско-го человека не обманешь. Мы ям нарыли и попрятали туда и одежду, и муку, и картошку.

Он помолчал и растерянно, со взрослой ранней усталостью добавил:

— Вот и роем все. Никак сами не найдем, где что попрятали.

И мы увидели, какое у него худенькое лицо, и старенькое пальтишко, и зябнущие слабые руки без варежек. Виктор торопливо сунул ему несколько кусков сахара, сухарей, и мы пошли дальше.

...Бесконечная дорога в глубоких рытвинах и ямах, по которой мы шли, брели, спотыкались, засыпали на ходу, словно валились в темную бездну, чтобы через мгновение, испуганно дернувшись, вновь вернуться на эту дорогу и снова шаг, другой, — ну-ка очнись, не спотыкайся... Ноги сами собой разьежжались, и перед тобой плывут, опускаются заиндевевшие шапки, тускло отсвечивающие дула винтовок, поднятые воротники шинелей, ты выпрямляешься. Вдруг выхвачена из темноты красноватым огнем щетинистая щека, круг под глазом, морщинки у рта (идущий впереди повернулся от ветра, норовит закурить). И снова шуршание, хрустение валенок, которые трамбуют, печатают следы, ныряют в снег на этой дороге. И снова показываются дула винтовок, тощие солдатские мешки — «сидоры» — на спинах, в них позвякивают патроны, выдали двойной боекомплект, не очень-то их хотели брать, куда такую тяжесть, но прикрикнул старшина... Лошади не идут, а сухарей совсем мало, а «НЗ» — святая святых, неприкосновенный запас — мы уже съели, нам разрешили на вторые сутки к вечеру, когда стало ясно, что идем только мы, люди, а обозы, то есть то, что везли машины и тащили лошади на подводах, застревали на этих занесенных снегом, разбитых февральских проселках.

У сумрачного, предрассветного кустарника завалилась набок, задрав вверх свой короткий хоботок, 76-миллиметровая гаубица с зарядными ящиками, в упряжке. Лошади, провалившись по колена в снег, загнанно, с присвистом дышали, от их влажных, исполосованных кнутом спин поднимался парок. Они стояли, широко расставив ноги, понуро опустив головы.

Тут же, ближе к дороге, гнедой конек, выбив в снегу неглубокую ямку, лежал на боку. Он нутужно всхрапывал, пытаясь встать, с усилием подтягивал жилистые мохнатые ноги, приподнимал голову. Большой продолговатый глаз его в красных прожилках с темным расширившимся зрачком словно искал кого-то. Он дышал, этот зрачок, в нем были молюба, надежда и слезы бессилия. Конек ронял голову, хрипел, оскаливая крупные желтые зубы.

— Отвоевался ты, браток, — сказал Павлов, заряжающий из моего минометного расчета. Плотник в мирное время, старый солдат, он «ломал» вторую войну. Артиллеристы, измученно привалившись к зарядным ящикам, курили. В сумеречной мгле молчаливо краснели огоньки их папирос.

Так на наших глазах завершилась одна из будничных для войны драм. Лошадь надорвалась. Она не могла больше идти по этой дороге. Тащить это оружие.

Люди были выносливее.

Мы постояли и пошли дальше.

Высветляя зеленоватый, льдистый, с редкими шляпками звезд край неба, поднималось заре-

во. Мы увидели его, едва вышли из заснеженного елового перелеска. Горело в темневшей впереди на буграх деревне. Нам показалось, что это дома. Мы никак не могли понять, кто зажег их. Бомбежки как будто не было слышно... Мы прибавили шаг.

Действительно, почти в середине деревни, в стороне от изб, пылал огромный празднично-жаркий костер. Огонь с сухим треском и хлопанием выметывался вверх метра на три.

То ли артиллеристы, то ли шоферы в расстегнутых полушубках, ватниках, а то и в одних гимнастерках, забравшись на стропила, топорами и ломом с гиканьем и свистом рушили сарай. Им помогал тягач. Он нутно ревел, цеплял тросом большое бревно, срывал его и подтягивал к костру. Водитель, здоровенный чумазый дяденька, высовываясь из кабины, орал, перекрывая грохот своего тягача: «Налетай, братва!»

Какой-то ошалелый малый в промасленном ватнике прямо из кузова машины с бочками махнул в костер ведро бензина.

Грохнуло словно от взрыва. Все шатнулось от костра, испуганно заржала лошадь, огонь, словно подстегнутый, взвился еще выше, еще яростнее, еще жарче.

— Конец света! — гоготал водитель тягача.

В бурных пляшущих отсветах огня и дыма покрывающие на стропилах сарая люди, водитель, пышущий машинным маслом и чадным перегаром тягача казались воплощением какой-то разрушительной стихийной силы.

«Вот она, война, — думал я. — Люди, еще не бывшие в бою, уже захвачены ее разрушающим вихрем. Им доставляет какое-то пьянящее удовольствие разрушить, жечь...»

Но скоро я заметил, что в наигранном удалстве «разрушителей» не было ни подлинного веселья, ни единодушия. Одни работали молча и хмуро. А в разгульных выкриках «озорничающих» было что-то напряженное, нарочитое, словно это удалство напоказ, это гиканье и свист должны были прикрыть неслыханное напряжение и отчаянную решимость распрощаться со всем, что оставалось там, позади, в той мирной жизни.

А может, мне все это только казалось, и они были просто пьяные? Потому что те, кому приходилось труднее всего, солдаты-пехотинцы, молча грелись у костра. Они, казалось, даже не замечали тех, на сарае. Одни из них, сбросив меховые варежки, вытягивали руки поближе к огню, другие дремали на корточках, уткнув голову в колени. Тут же поближе к теплу жались лошади из артиллерийских упряжек. В стороне стояли автомашины, покрытые брезентом.

В круг то входили, то выходили из него солдаты. Мне показалось, что у костра я начинаю оттаивать, в глазах завораживающе плясало пламя, от него нельзя было оторвать глаз, оно грело, манило, жаром обдавало лицо, обессиливаяще томило ноги, хотелось присесть, ну ненадолго, на одну минуту, хотя бы на корточки.

Виктор предостерегающе толкнул меня плечом и первым вышел на дорогу.

— Костер разожгли, чтобы отставшие не замерзли. Огонь увидят, отогреться. Тут и медпункт в деревне, — сообщил Иван. Он, как всегда, был «в курсе». А может, и мы уже отставшие? Может, и нам подремать у костра до утра? А, ребятки?

— Немец налетит, он тебя пригреет. Тут до передовой верст пятьдесят, — прохрипел кто-то впереди из-за поднятого воротника шинели.

Равнодушно скрипел снег под ногами, обещал сухую погоду и мороз.

А солдатские ноги все идут и идут. И какой же груз они несут на себе! Патроны, бельишко, противогаз, гранаты, винтовку... Они все могут, эти ноги. И по снегу и по болоту, в дождь и по сухой пыли, по камням и по кочкам. По дороге и бездорожью. Ты уже не можешь, а ноги несут тебя. Кому они повинуются? Чему-то, что вне тебя. Но как они могут повиноваться тому, что вне меня? Они как деревянные. Они глухие. Они как не мои. Могу я их пожалеть? Они сильнее тебя. Они исполняют твой долг. Ты должен идти, вот они и несут тебя. Идите, родные! Держите меня, у меня нет больше сил...

И они идут, медленно, трудно топают, шагают, скользят, разъезжаются, держат, несут меня. И все, что на мне, что нужно для боя... Для войны.

Ротная колонна растянулась, и никакие понукания не могли придать ей хотя бы какой-нибудь вид стройности. Взводы еще кое-как сохраняли членение, отделения перемешались, двигались группами, кто с кем хотел.

Дорога вилась вдоль лесной опушки. Подсвеченные февральским солнцем, чуть слышно дышали сосны. Раздувались ноздри, хватали этот едва приметный хвойный дух, перемешанный с пресной сыростью подтаявшего кое-где на пригреве в затишке снега. И до головокружения захотелось лета...

Мы мечтали о том, что будем делать после войны, сразу же в первые дни. После победы. Мне казалось, что это будет слепящий праздник. Всюду ликующий свет, то меркнувшее, то разгорающееся золотистое сияние счастья бьется, торжествует в каждом суставе, в каждом сосуде, в каждом капилляре. А потом пусть была бы тишина. Такая тишина, чтобы слышно было, как опадают с веток отцветшие лепестки. И земля чтобы дышала теплом...

— Будем гулять! Месяц у меня, месяц у Витьки, месяц у тебя. Рязань, Кубань, Алтай!... — сиплым, осевшим от внезапного волнения голосом говорил Иван.

— Я бы на пасеку пошел... — сказал Виктор. — На полгода... Ни книг, ни газет — ничего не надо. Чтобы клевер цвел... Или гречиха. И чтобы можно было слушать, как пчелы гудят с утра до вечера, и думать... Как дальше быть самому? Какой будет жизнь?.. После войны, по-моему, люди станут другими. Им, наверное, по-иному захочется жить, быть добрее, честнее, справедливее. После войны нельзя будет обидеть человека... Сколько ему вынести довелось за войну, человеку!.. И тот, кто посмеет обидеть женщину, дитя-сироту, старика, солдата-инвалида, — это преступник будет, ему нельзя среди людей...

— Это все верно! Это ты правильно говоришь, Виктор! — усердно поддержал Иван. — Но человек после войны должен прежде всего отдохнуть. Погулять. Чтобы столы прямо на улицах стояли и люди чтобы ходили от одного к другому, от дома к дому. И чтобы на горячих сковородках шипела колбаса и пироги чтобы... а в графинах...

Разнузданное воображение подвело Ивана. Он внезапно замолчал, судорожно глотнул, схватился руками за живот.

— Не могу! У меня колики начинаются.

И охнул, страдальчески приседая:

— Есть хочу, понимаете, элементарно хочу жрать. Я не могу по двое суток...

— Все не можем... Все есть хотим, — нарочито уныло, размеренным голосом проговорил подошедший сзади Борис. По-прежнему шагал он легко и свободно, на нем блестели ремни, отсвечивали зеленые «кубари» на петлицах шинели, он даже ухитрился побриться. Где? Когда? Ведь, кажется, все вре-

мя был с нами. Только вместо сапог надел валенки да глаза запали. Круче обозначился подбородок. В ближайшей деревне он пообещал отдых...

Мы сворачивали с большака.

Навстречу под уклон с горки по неширокой, хорошо расчищенной дороге, повизгивая, неслись легкие санки. Вороной жеребец шел крупной и размашистой рысью. Перед нашей медленно, нестройно бредущей колонной он, кося радужно отсвечивающим глазом, приседая, начал притормаживать.

На заднем сиденье некто в новеньком желтом полушубке обнимал двух взвизгивающих, распаренных, словно после бани, девиц. Одна из них, уклоняясь, похотывая, натягивала вожжи, придерживая коня. Полушубок, ухватив девиц за шеи, привстал. Пьяные, осевшие глазки с тупым, бессмысленным удивлением усталились на колонну.

— Кто такие? — бесстыдно и громко выругался он. И все с тем же бессмысленно-наглым лицом, опираясь руками на девиц, продолжал выкрикивать: — Осво-о-бодить дорогу! Я — майор! Живее, живее шевелись!

Перед ним молча, медленно расступились.

Легко приплясывая, шел конь.

— Разда-ай-айсь, матушка пехота! — разгульно-хмельным, гулким на морозе голосом покрикивал майор. — Эй, соколики!.. По-сторонись!..

Майор гикнул, свистнул, горяча коня. Конь шел на нас. По приказанию Бориса мы втроем двигались в конце колонны. Чтобы не было отстающих.

Мы шли посредине дороги. Не сворачивая, не отступая. Никакая сила не могла сдвинуть нас.

Откормленный, лоснящийся жеребец, испуганно всхрапнув, круто выгибая шею, рванул в сторону. Санки занесло. Они, охнув, налетели на снежный гребень, круто накренились. Майор со своими девицами едва не вылетел из санок.

Он одной рукой пытался перехватить вожжи, чтобы задержать коня, другой, обернувшись, грозил нам, кричал, что он сейчас всех... в бога... в душу...

Девицы, уговаривая, тянули его за руки, конь рванул, понесся.

На Виктора страшно было смотреть.

— Таких-их... так-и-их... — Он задыхнулся. Выкрикнул оскорбленным, страдающим, высоким голосом: — Уби-вать надо! Из-за них и войну...

Я молчал. Я, казалось, не испытывал ни особой ярости, ни особого волнения. Словно все подавляло тупое чувство предельной усталости и жестокого равнодушия.

Но в ту минуту я подумал: счастье майора, что он не повернул... Через некоторое время я подумал не весело: «И наше счастье».

— Дался вам этот майор! — уныло бормотал Иван.

Отдых в деревне не состоялся. Все было занято тыловыми отделами штаба армии. Мы вновь двигались по зимней, выветренной луной дороге. Короткие тени отчетливо ложились на сизоватый снег, покачиваясь, стремились вперед.

— Что вам майор? — продолжал Иван. То ли несостоявшийся отдых томил его злой тоской, то ли по какой другой причине, но молчать, видимо, он не мог. — Это был войны. Оказывается, и на войне можно жить. Я-то, дурак, думал, раз война, значит, все, как это в песне поется, под знаменем, в пороховом дыму. А тут тебе и водочка, и бабы, и жеребец, как черт. Захотел — поехал, прокатился в саночках по зимней дороге. Так можно воевать...

Мы молчали. Тогда Иван обратился к нам с прямым вызовом:

— А вы что, майора осуждаете?.. Совершенно напрасно. Не имеете права. Сопливые, не нюхавшие пороха студентки. Что вы можете сказать о человеке, который, может, хватил и горя и лиха... Ну, выпил, благо есть, что пить, хорошие девочки рядом, просят покатасть... Он что, преступление совершил?

— Не паясничай!.. Ты не скоморох, и нас забавлять не надо. — Виктор был сосредоточенно спокоен и угрюм. — Если ты хочешь знать мое мнение, я тебе скажу. Я считаю, нет отвлеченных понятий нравственности. Человек, не обладающий элементарным уважением к себе подобным, не человек, а животное и скотина. С майорскими знаками на петлицах или без них... Трезвый он или пьяный. Уточню: человек, способный даже на время низвести себя до скотского состояния, всегда потенциальный подлец. Если речь идет о войне, потенциальный предатель!..

— Не пугай ты меня словами! — взвился Иван. — Не люблю я этого прекраснотупого чистоплюйства. Будто ты на луне жил... А на земле праведников маловато, их, может, и вовсе нет, если начистоту сказать. Хотя, кажется, некоторые претенденты шагают рядом, — попытался он съязвить. — Да неизвестно, состоятся ли они еще. Горки-то крутые, а по ним ходить. Войну будут выигрывать земные, грешные...

— Вот, вот... — вмешался я. — Ты ответь: если он, майор, был бы твоим командиром, ты, не задумываясь, пошел бы за ним?

— А почему нет? Из таких как раз и выходят лихие вояки. Этот своего нигде не упустит...

— Такие вот и губят напрасно людей. Потому что им наплевать на них, — сказал Виктор. — Да и не будет он на фронте. Он будет Родину защищать поближе к водке и салу.

— Хорошо, оставим майора. — Иван, звякнув котелком и лопаткой, резко повернулся к Виктору. — Окажись ты на его месте, неужели бы ты не выпил, не закусил? Не захотел бы вкусить сладкого плода?

— Ты же знаешь, я не выношу пошлости...

— А в чем пошлость, ты, гнусавый праведник? — Иван разъярился окончательно.

— Ну, ну, ты потише! — озлился и я, вступаясь за Виктора.

— Нет, не потише! Вот хоть сейчас, налетят самолеты, луна, кругом чистое поле... Каюк нам!.. А я еще и женщину не знаю. И мне хочется завять во весь голос, когда я об этом подумую. А меня бросают на голодную дорогу, на снег, под пули, бомбы, снаряды. Не протестую. Война. Все понимаю. Долг, обязанность и прочее. Но есть ли у меня хотя бы обыкновенное человеческое право сказать о своем желании? Могу ли я при случае ухватить, что само в руки идет, без того, чтобы меня не заклевали ошалевшие праведники? Да и то сказать, брюхо — оно всегда свое берет, а на войне тем паче. Вы еще увидите, романтики недозрелые!

— Если бы мы воевали брюхом, ни один человек из нашей роты уже давно не шел бы по этой дороге, — сказал Виктор.

Он, казалось, был совершенно невозмутим и спокоен. Лишь на скулах зарозовела тонкая кожа. Да в глазах появился хорошо мне знакомый заносчивый огонек. Любил он поспорить!

— Ты можешь как угодно обзывать меня, но я не смог бы обжираться и лакать водку, зная, что вот по этой дороге идут сейчас голодные, уставшие до беспомыслия люди. Меня бы вырвало. Я не могу лечь с женщиной, если она чужая, если она не моя, если она случайная. Я верю в любовь. Думаешь, потому что фанатический праведник или романтик, как ты говоришь? Нет, потому что я реалист. Я хочу от жи-

ни настоящей, полной радости. Случайные утхи, подмены, подделки мне не нужны. Они не дадут мне даже простого удовольствия. Что же касается естества и брюха, то человек, надеюсь, ты согласишься с этим, состоит не из одной нижней половины, венчает его все-таки голова!

Виктор, по-мальчишески вздернув голову, победоносно посмотрел на Ивана.

— Ладно! Черт с тобой! Без праведников тоже было бы скучно. Должен же кто-то напоминать нам, что на земле могут существовать монахи и добровольное заточение в монастырь.— Иван засмеялся.

Уж его-то не могли убедить никакие аргументы. У него была своя «программа».

— Знаете, чего я сейчас больше всего хотел бы на свете?— Он сладко прижмурился.— Сейчас бы в теплый дом. И в нем чтобы недавно вымытыми полами пахло. И стол с белой скатертью. И на нем самовар. И варенье и пироги с такой свежей корочкой. И чтобы занавески на окнах по-лебединому отдувались. И чтобы по комнате павой похаживала сахарная, крупитчатая.. В цветастом сарафанчике... Кончится война, живой останусь, плевать я хотел на все интеллигентские радости и утхи! Мещанского счастья хочу, чтобы перина на кровати, чтобы самовар на столе...

У Ивана даже ямочки появились на щеках от блаженной, хмельной улыбки...

Идти было все тяжелее. Мы ведь, кроме всего прочего, несли на себе разобранные 82-миллиметровые минометы: отдельно плита, труба, упорные ноги, прицел и к ним боекомплект мин. Нагрузка увеличивалась на пятнадцать — двадцать килограммов.

Все чаще приходилось делать короткие привалы. И все труднее было вновь вставать, подниматься, двигаться.

На одном из привалов Павел Возницын — четвертый номер моего расчета — отказался идти дальше.

Он лег навзничь, не сняв со спины минометной плиты. Дышал хрипло, часто. Все мы несли ее по очереди. И все так же спиной запрокидывались в снег, плита уходила в него, тело выпрямлялось — мягко, и вроде не простудился. А снимать да надевать попробуй-ка такую тяжесть!

Когда скомандовали движение, мы начали вяло, неохотно, недружно подниматься.

— Эх, мамочка, зачем ты меня мальчиком родила! — бормотнул сквозь стиснутые зубы Павел. Сколько раз он говорил эти слова! Они уже не вызывали даже улыбки.

Покряхтывая, он перевернулся на бок, опираясь на руку, попытался встать и обессиленно рухнул в снег.

— Не могу, — сказал он покорно и безнадежно, каким-то не своим, отрешенным, звонким голосом. — Не могу — и все.

Он глубоко передохнул, раскинул руки: что хотите, то и делайте. А я готов на все. Но глаза, страдающие, по-собачьи жалобные, смотрели на меня.

Я кое-чему научился на этой дороге. Я уже знал, что жалость, даже малейшая капля сострадания могут отнять у человека на исходе последние силы. Она может погубить.

— Вста-ать! — сказал я с такой жестокой властью, с таким бессердечием, что они изумили меня самого. Я как бы открывал в самом себе такого, какого не знал и не предполагал. Произошло то, что бывает в минуты предельных усилий: психика как бы раздваивается: один стремительно действует, другой же в тебе как будто даже замедленно, со стороны

наблюдает, фиксирует, может, даже осуждает и ничего не может поделать с тем действующим.

— Вста-а-ть! — повторил я и размеренно, холодно добавил: — Тебе же труднее будет догонять.

Я видел, у него еще были силы. Может, даже больше, чем у меня. Но он пожалел себя. И сразу обмяк, ослаб, лег...

Я готов был на все. Я под дулом винтовки, а поднял бы его. Он должен был идти. У него были силы. Каменея, не отрываясь, не мигая, я смотрел на него с жестоким осуждением и презрением. Он мог еще идти!

И он, кажется, понял, что не будет ни пощады, ни участия. Как он вставал! Всхлиывая, скрипя зубами, приподнялся на четвереньки, уперся руками в колени, качнулся, медленно встал. Пошел, шатаясь, как пьяный.

— Люди, люди... Разве вы люди! — бормотал он и плакал. Слезы стекали по щекам, стили в щетинистой, отросшей бороде. Плакал сорокалетний человек с запавшими седыми висками. Отец двух почти взрослых детей. Шутник и весельчак. Плакал от обиды и бессилия.

Я не понимал тогда, что между нами была разница в двадцать лет!

— Таким на теплой печке брюхо тешить, а не воевать, — с нескрываемым презрением сказал Кузьма Федоров. Он стоял чуть в стороне. Жесткое, осунувшееся, настороженное лицо. Пальцы перебирают ремень винтовки. Я только теперь увидел его и очевидную готовность по первому знаку прийти мне на помощь.

Удивительный он был человек, даже не во всем понятный мне!

Неказистый на вид, сутулится, желтоватое, нездоровое лицо, глаза так глубоко припрятаны, что даже цвета их сразу не разберешь, — пройдет такой мимо в толпе, не заметишь. Да и профессия у него была неприметная, тихая: бухгалтер. И не на заводе где-нибудь или на крупной фабрике, а в пошивочном ателье.

— Среди баб, значит, все время, — пришепetyвая, подмигнул ротный балагур Петров-Машкин — немолодой, худенький, черненький человек.

Кузьма как-то тяжело посмотрел на него, чуть приметная улыбка тронула его губы, он молча отвернулся и отошел, по-строевому печатая шаг.

— Сказ-и-ите... — ничуть не обескураженный, посмеиваясь, протянул Петров-Машкин.

Так началось их знакомство, так началась их вражда.

Петров-Машкин, казалось, знал солдатские анекдоты всех времен и народов. Скабрезные рассказы, присловья сыпались, как зерно из разорванного мешка, на стрельбище, во время перекура в карауле. Я удивлялся, как его не тошнит от такого изобилия. Но он только улыбался своей затаенной приторной улыбочкой и сыпал, сыпал...

Любимой строевой песней его был знаменитый детский «Козлик», от которого остались только рожки да ножки. Первые строчки были из «Козлика», а дальше двустушиями шла сплошная уныло-однообразная матерщина.

— Гнида ты вонючая, а не человек! — бормотнул Кузьма, как-то услышавший его рассказы. И, не таясь, плюнул.

Петров-Машкин только посмеивался, да все приглядывался, да приглядывался к Кузьме с такой остренькой, жалящей улыбочкой.

Жизнь наша шла с той размеренностью, с какой могла идти она в военное время. Мы ходили на учения в Сокольнический парк, несли по ночам карауль-

ную службу, по воскресеньям нас по очереди отпускали домой. Во время воздушных налетов объявлялись боевые тревоги. Но наш район почти не бомбили. И мы двигались по кругу: казарма, столовая, учения, караулы, казарма.

В столовую, с учений ходили, как и положено, строем с песнями. Запевал Кузьма. У него был приятный, хотя и не сильный, с легкой хрипотцой тенорок. Он любил песни и охотно пел, но обычно только в строю; запоем, как бы ни устал, только попроси, но в казарме, на отдыхе петь не будет, словно нужен был ему этот взбадривающий единый, припечатывающий шаг в ногу, этот согласный подхват, когда он, Кузьма, подчинял, вел внимание прохожих...

Жило в нем какое-то беспокойное, тревожно-напряженное желание выделиться, быть отмеченным. Не то чтобы он лез вперед, «на глаза» начальству, он умел быть незаметным, достойно отступить, как бы раствориться в общей массе. Но на стрельбище, во время военных занятий, окапывались ли мы, метали ли болванки гранат или кололи соломенные чучела, Кузьма с поражающей настойчивостью стремился быть среди самых сильных, среди самых умелых, среди самых ловких. Не всегда это ему удавалось. Он с каким-то судорожным смехом метал гранату, чтобы хотя на метр бросить ее дальше, или, разбегаясь, переносил через препятствие свое нескладное тело.

Как-то ему объявляли благодарность перед строем. Я поразился его лицу, побледневшему до немоты, затаенному блеску глаз.

Неохотно вступал он и в разговоры. Мне казалось, от непомерно-болезненной гордыни, которая боится не только насмешки, но и простой шутки, даже неловко сказанного слова. Может, именно от этого, от настороженной боязни подвергнуть себя малейшему унижению, малейшей обиде, он выполнял все приказы со стремительностью, точностью, поражающей нас, склонных к вольнице студентов.

— Прямо фанатик какой-то, — не одобрял Иван.

К женатым на свидания приходили жены. Ко многим почти каждый день. Можно было мимо часового выскочить за ограду, постоять несколько минут, поговорить.

Жену Кузьмы я видел один только раз. Худенькая, остроносая, с большими, черными, удивленно-радостными глазами. Она принесла ему подписать какую-то бумажку. Кузьма был стыдливо сдержан с женой. Казалось, что он старается прикрыть ее спину, чтобы не видели любопытные со двора. На прощание он кивнул ей головой, тронул рукой за плечо и тут же отдернул, словно обожгло его. Я стоял на посту у калитки и видел, как вспыхнули его глаза, он весь как-то подобрался, натянулся и тут же быстро-быстро, словно стремясь утешить вспыхнувший порыв, ринулся через калитку во двор.

На ходу он скручивал папиросу, пальцы его непослушно вздрагивали, махорка просыпалась, Кузьма неловко, растерянно улыбался.

— Все хочю твою законную посмотреть, — подступил как-то вечером во время перекура к Кузьме Петров-Машкин со своей улыбкой, казалось, обещающей непристойное развлечение. — Для себя все безразлично, нам и на вид не казись...

Что тут поделалось с Кузьмой! Словно ударили его в самое затаенное, в самое больное... Лицо его искривилось в судорожной гримасе, он шагнул вперед, взмахнул рукой... Петров-Машкин испуганно отшатнулся и торжествующе заорал на весь двор — куда и пришепетывание его делось:

— Я его раскавычил! Видали, какой фрукт! Вот

вредный гад! Он и зарезать может из-за бабы, вот попомните меня...

Кузьма, сразу потеряв свою всегдашнюю осторожную сдержанность, осатанело рвался к Петрову-Машкину. Их развели.

Что-то неловкое и стыдное было во всем этом. И правда какая-то угадывалась.

Но человек не может захлопнуться, как улитка в раковине, и жить так с глухо сомкнутыми створками. В подходящую минуту он приоткроеется.

Кузьма болел. Ангиной, что ли... У нас не было изолятора. Он сидел на своей кровати в казарме, подтянув колени, в одном белье, с завязанным горлом, и смотрел, как я мою пол. За пререкание с помощником командира взвода мне вlepили наряд вне очереди. Уборную я уже вымыл, теперь драил полы в спальню.

— И где вы такие вырастаете! Ты что же, полы ни разу не мыл? — сказал Кузьма, и что-то скучающе-высокомерное прозвучало в его голосе. Словно и здесь он хотел сказать, что даже в таком ничтожном деле, как мытье полов, он выше меня своим опытом.

Я сдержал раздражение, ответил, что да, не приходилось, вырастал я в хатах с глиняным полом, а в студенческие годы тоже не пришлось.

С грехом пополам я домыл полы, на занятия мне идти не хотелось, таясь от дневального, мы сыграли с Кузьмой в шахматы. Тут я ему врезал! Играл он не ахти как, но с поразившим меня каким-то звериным упорством. Уж, кажется, сбит с ног, на спине, только и осталось: «лапки» кверху, — так нет же, извернется, придумает замысловатый ход. И так все время. В безнадежном положении он цеплялся за малейшую возможность, строил ловушки, хитрил, с ним каждую минуту надо было быть настороже...

— Все, больше не играю, — отрезал Кузьма на мое предложение сыграть еще одну. Он сердито смешал фигуры. Я увидел, что он расстроен и даже как будто обижен.

— Чудак ты! — засмеялся я. — Ну что такое проигрывать?..

— Сегодня проиграешь в одном, завтра и другое потеряешь. Локотки себе кусать будешь, да поздно, — проворчал Кузьма. И назидательно добавил: — Жизнь — она, брат, такая, что ухватил, держи обеими руками, не то вырвут. У меня друг-приятель жену увел. И оглянуться не успел. Ну, да черт с ней, не жалею!

Он уперся подбородком в колени, обхватил ноги руками.

— Нашел себе такую... — сказал он с неожиданной страстным придыханием. — Это такая!.. У нас же в ателье работала, неприметная с виду девишечка, а я разглядел ее, не торопился, с год присматривался да приглядывался, ну, а уж как пожелались, вот два года уже, каждый час, каждую минуту она желанна мне! Да тебе это не понять... Я ее и на работу не пустил. Не могу я прийти и чтобы ее дома не было. А первое время то собрания, то еще... Нет ее и нет. Подружек отвалил, чтобы мы с ней только вдвоем... И я уж нигде не задерживаюсь, лечу домой, открывает она дверь в халатике, радостная, свежая, моя... Подхватчу ее, на руках несущу через комнату, она смеется, мурлычет, прижимается ко мне... — Голос его дрогнул. Глаза потемнели, зрачки взяли синим дымком. — Не можешь ты понять, что это такое!

Он с шумом передохнул.

— Это кто может поверить, чтобы так изо дня в день, а мы ведь два года вместе, и с каждым годом она мне... Страшно подумать, случись что с ней, и я

все, конченный человек, нет меня. Вот сейчас сижу в казарме, только подумаю о ней, все бы бросил, пусть стреляют, хватают, а я бы к ней...

Замолчал. Продолжал с неожиданной властной угрожай силой:

— Но она меня знает, знает, почему я пошел воевать. Вот я слышал ваш разговор о фронте. Ты, что ли, говорил: самое страшное — струсить в бою? Я тебе скажу: не хочешь — не струсишь!

— Часто это не от воли, не от желания зависит. Ведь первый бой! Посмотри, почти во всех книгах о войне пишут, что в первом бою каждый боится...

— Человек с собой совладать всегда может. Все в тебе самом, все от тебя зависит. Я на что решился, я себя сам, по своей воле от жены оторвал и, видишь, живу. Если бы ты мне об этом перед войной сказал!.. И все из-за нее же, из-за жены!.. Ты не знаешь, какой любовью бывает, в книгах не все рассказано.

Он судорожно ухмыльнулся. Приподнялся на коленях, лицо пошло пятнами. С каким-то молитвенным заклинанием проговорил:

— Как я буду воевать! Я подвиг совершу. Я Героя достигну... И она знает... Вот она меня знает, она знает, что я могу!

Эти слова он повторил несколько раз.

И долго я думал о том, какая иступленная страсть-любовь хлопотала в этом неприметном, невзрачном на вид человеке, потрясала его. И о том, что жизнь каждого человека — непрочитанная книга, ненаписанный роман. Все люди интересны. И какое трудное искусство — учиться понимать, угадывать человека до самых потаенных глубин его!

Случилось так, что после создания в нашем батальоне минометной роты Кузьма оказался в моем подчинении. Я был командиром расчета, он наводчик, первое лицо после командира, его заместитель. Тяготы похода он переносил много легче, чем мы. Его жилистое, нескладное тело таило запас, казалось, неисчерпаемых сил. Но вот что я заметил. Не было случая, чтобы он пришел кому-нибудь на помощь по своей охоте.

После Возницына минометную плиту понес я, потом Павлов. Но старик быстро выдохся. Он еле шел, начал отставать.

— Возьми у него плиту, — сказал я Кузьме.

— Да он и не нес ее еще!

— Ты же видишь, он без сил. Он упадет сейчас.

— Придуряется старичок. За две войны приучился ловчить. Этот нас с тобой перетянет.

Это было сказано с таким равнодушием, с таким наглым безразличием, что я не выдержал.

Я взорвался. Я превысил свои командирские и человеческие права.

— Ты возьмешь сейчас плиту и будешь нести ее до тех пор, пока не упадешь, — сказал я, словно выстреливая по отдельности каждое слово.

Мы стояли друг против друга. Лицо в лицо. Заросшие щетиной. С измученными голодом, лихорадочно блестящими глазами.

— Вот ты какой! — Кузьма с неприкрытой ненавистью смотрел на меня. — Жалельщик! За счет других! Знаем мы вас, таких! Ну погоди...

Он бормотал что-то еще обиженное, угрожающе-злое.

А я уже упрекал себя за несдержанность, за грубость, за беззаконие, которое выразилось, я хорошо это знал, в одних только словах... Но даже неправого человека, думал я, над которым у тебя какая-нибудь, хотя бы ничтожная, маленькая власть, нельзя подавлять.

Мы все шли и шли. Тоскливо посвистывал ветер в кустарниках, в кочковатых, болотистых низинках, до рога поднималась на пригорок, ныряла в затишок леса, с наметенными на опушках сугробами. Стыли недавние пожарища на месте деревень. Сиротливо и одиноко темнела банька где-нибудь в стороне, на спуске к реке, голые кусты черемухи, вздрагивающая рябина. И в уцелевших деревнях было невесело и сиротливо: не пролает собака, не кукарекает затомившийся петух, не подает голос проголодавшаяся скотина. Выглянет старуха в темном платке, подойдет кражистый старик с окладистой бородой; вглядываются, словно надеются угадать среди нас своих родных... И детей мало было видно в ту зимнюю пору.

Чаще всего слышали мы на этой дороге от обиженных деревенских людей одно и то же: «Немец, паразит, все позабирал», или сумрачно-короткое: «Он пожег».

Увидели вскоре мы и поджигателей.

В долине неожиданно наткнулись на трех убитых. Это были первые увиденные мною убитые немцы. Снег едва припорошил их мышинные солдатские шинелишки. У одного, видимо, топором начисто был снесен затылок, у другого в спине торчали вилы с коротким державком, третий лежал ничком, в ужасе прикрывая скрещенными руками голову.

Этих убили не в бою. Этих прикончили жители. Потом я слышал немало рассказов, как приканчивали старики, женщины и даже дети фашистских солдат, которые группами перед отступлением заскакивали в деревни, выгоняли людей на мороз, в чем те были, лили бензин, жгли избы.

Невдалеке от уцелевшей деревни с церквушкой что-то жестокие и насмешливые руки поставили у развилки, в снежном поле, два окопавшихся раздетых трупов. Они стояли голые, розовато отсвечивая в неярких лучах зимнего солнца. Молодые, стройные парни с заиндевевшими волосами. У одного была под мышкой папка, обыкновенная немецкая канцелярская папка — как будто для доклада направился к начальству с нужными бумагами; другой, как регулировщик, поднял предостерегающе правую руку вверх, левой указывал направление; тут же стоял указатель; на фанерной дощечке углем торопливо было выведено: «Nach Berlin». Нельзя было понять выражение стылых лиц: то ли гримаса боли, то ли предсмертная судорога страха затаились в уголках промерзлых губ.

— Это бы и ни к чему. Ведь мертвые, зачем над ними так? — сказал Виктор. Что-то жалкое и растерянное появилось в его глазах.

— Повоюешь, тогда поймешь, что к чему, — ответил ему Кузьма Федоров. — Так, ни с того ни с сего, даже блоха не кусает.

«А в самом деле, — думал я, шагая вслед за Виктором, — есть предел жестокости на войне? Эти убитые, которых поставили так, — это жестокость или озорство? Свиристая гримаса фронтового юмора? Но ведь это сделали не солдаты, не воины. Говорят, фронт здесь и не проходил. Мы движемся проселком. Только и было, что одинокий широкий след розвальней. Значит, это сделали мирные жители, может, вон из той деревни. Как же надо было их ожесточить, какую ненависть надо было вызвать!.. Что же они делали на этой земле?.. И этот белокрылый молоденький солдат, рука которого указывает на Берлин. Он из тех, кто должен был сжечь эту деревушку с церковью? И вот теперь стоять ему неоплаканным, непохороненным в пустынном поле, под злобным ветром до весны или до того, пока кто-ни-

Будь из военного начальства, проезжая мимо, не прикажет зарыть.

В тот же день нам повстречался по дороге мальчонка лет двенадцати, такой круглолицый, ясноглазый, в лапотках, с тощей холщовой сумочкой за спиной. Он рассказывал, как сожгли их деревню. За помощь партизанам. Сожгли всех жителей в просторный сарай и забили двери досками. Зажгли. Мать у него там была с сестренкой, девочкой трех лет. Он гостил у деда в соседней деревне, потому и спасся. Когда прибежал, увидел тлеющие угли, а в стороне головку Анки. «Я узнал ее, я узнал ее... Она почти не обгорела...» — повторял мальчонка, словно нас надо было в чем-то убедить. Мать, видимо, на руках подняла задыхающуюся от дыма девочку, та высушила голову в узкое рубленое окно вверх, стена рухнула внутрь, вот головку и можно было узнать. Мальчонка все повторял про эту головку, как она была похожа и как он сразу узнал ее.

Его била дрожь. Он, словно в лихорадке, клал зубы:

— Я их... я их... живьем бы их на части!..

Я все приглядываюсь к нынешнему февралю. Каков он, этот месяц, по своему нраву? Многое позабылось. Прошло-то ведь больше двадцати лет. Дети повзростали, стали взрослыми, у них уже свои дети...

И о себе, когда подумаешь, о пролетевших годах...

А словно вчера еще пускал бумажные кораблики, лазал по деревьям за самыми сладкими яблоками; они таились поближе к солнцу, на самых верхних ветках. Слово вчера еще, задирая голову, смотрел, как голубиная стая исчезает в бездонной голубизне неба... И тревожный холодок страха, возможной утраты и захватывающее чувство бесконечности, распахнутой настезь беспредельности. И эти исчезающие в ней живые комочки. И гордость за них, крохотных домашних птиц, так смело ушедших с крыши низенького сарая в необозримое. И мысль: что видят они? Что там, в немыслимой высоте, в том небе, которое дарит нам то радость солнечной синевы, то посылает тяжелые лиловые тучи со слепящими молниями, оглушающими раскатами грома, от которых дрожат стекла в окнах, то бросает на землю снег, прохватывает землю леденящим ветром?

Все идет оттуда, с неба...

Сначала возникают маленькие точки, черточки на прозрачно-голубом. Они увеличиваются, округляются, голуби резко идут на снижение, и я уже вижу вожака — красного турмана. Земля встречает их слезинками на росистой траве, дымком летних печей, тишиной и теплом.

Казалось в те годы: время не движется. И каждый день нес радость: движения, игры, впервые прочитанной книги...

Хотя и теперь кажешься себе часто молодым, и многое будто еще можешь, и многое еще надобно успеть, но уже прикидываешь, что сможешь, а на что не станет сил, рассчитываешь, что успеешь, а на что, может, уже и времени не хватит. Нет-нет и прозвучит дальний-дальний колокольчик: внезапным перебоем сердца, неожиданной слабостью, томящей усталостью, тяжелой бессонницей напомним он о переломе, о крутых поворотах, о дальних подъемах и спусках. И жизнь человеческая все чаще кажется обидно короткой!

Так вот, четверть века прошло с тех пор, а мне все кажется, что днем, когда мы шли к передовой, днем нас все время сопровождало пригревающее

солнце, а ночами сторожил тускло-сиреневый месяц. Он медленно скатывался по зеленоватому, с подмороженными краями небу.

И вот ведь, и в этом году у нас февраль солнечный. Что же, всегда февраль начинает весну света? Наша дорога на фронт как раз и пришлась на вторую половину месяца.

К середине дня солнце заметно пригревало. И солнце нам было во вред. Оно томило предчувствием весны и тепла: скоро-скоро побегут ручьи, оголятся пригорки, проклюнется первый зеленый росток.

А может, этого уже и не дано нам увидеть?..

Тревожно и знобко было нам в этот солнечный день. Мы — в открытом поле, нас ведет узкая дорога, чуть в сторону — непролазный, глубокий снег, близко фронт, погромыхивают орудия, их уже слышно, а над нами распахнутое небо, и в нем плывет смертоносный крестик, кружит над нами в безопасной высоте, и мы для него словно на ладони.

Хотя бы уж скорее на передовую: лицом к лицу!

Иван возмущался в открытую:

— Вот, скажи, порядки на этой войне! То в лесу хоронили, курить и то не давали, а теперь средь бела дня дуем по открытому, и над нами разведчик преспокойно разгуливает, поодиночке всех пересчитывает и оставших и приставших не пропустит... И сразу видно, куда мы идем. Какая же тут внезапность!..

Голос Ивана то глохнет, то напряженно взвизгивает, он бредет неровно, часто спотыкается. Я еле тащусь рядом с ним, Виктор поотстал. Какого-то бородатого дяденьку уговаривает не останавливаться, вещевой мешок снимает с него, прилаживает на себя, а у меня нет сил остановиться, и я иду...

Длинноносый Павел Возницын, который топал сзади, забубнил нам в спину и вовсе несуразное:

— И смотри, все делается у нас через силу, через не могу. Все гонят, торопят. И в колхозы загонять как взяли — где тут мужику приглядеться, прикинуть, какая из этого механика выйдет. И церкви, как по команде, позакрывали, а вера-то в народе, какой несознательный, а все же народ, вера осталась. ...Один начальник перед другим выслуживается, вот и делается многое без всякого разума.

Любил он эти разговоры про колхозы, про церкви. Это сейчас в открытую. А то все с шуточками, прибаутками.

Павлов как-то разозлился, прижал его:

— А ты не из кулачков? В тридцатом из деревни не убер? Зачем вредными разговорами смущаешь?

С Возницына шутовство как рукой сняло. Он злобно выматерился, плюнул и отошел в сторону.

Кто его знает, может, и убежал он из деревни во время коллективизации. Но только к нам в дивизию пришел он с завода. Рабочим человеком. За его шутками слышалась какая-то обида, но понять ее мне было трудно.

В ту пору я, пожалуй, бессознательно опасался обиженных и обозленных людей. Смущали они и тревожили. Поди разберись, что в их бедах было их виной, а что несправедливостью.

Я жил в мире ясных и непреложных истин; в этом мире несправедливость могла быть только случайной. И она должна быть исправлена или исправлялась. Но если она повторялась, если она затрагивала судьбы многих? Как тут быть? Вот об этом и не хотелось думать. А по дороге на фронт и вовсе не к чему об этом было думать.



Шли мы все из последних сил. Мне казалось, я не иду, а меня что-то передвигает более сильное, чем я сам. Я знал лишь цель. Мы должны были дойти до передовой. И сегодня ночью вступить в бой. И если бы я не дошел, мне казалось, я не смог бы жить, то есть я не допускал даже такой возможности, что я не дойду.

...Отстал я от своих по пустячному случаю.

Это конь может все необходимое делать на ходу. А человеку надобно для этого остановиться. Вот и я отошел в сторону, проваливаясь по колени, забрался за кусты, вытоптал там площадку, присел. Подошел по дороге Виктор, приостановился, поглядел в мою сторону, предостерегающе крикнул: «Смотри! Не отстань!», и — разъезжаясь валенками неровно, качко, пошел дальше. Я промолчал, что ему скажешь на это, думал: догоню, подумаешь...

Но вернуть потерянное время не так-то просто. Особенно когда нет уже сил. Пока приводил в порядок свою зимнюю сбрую, прилаживал ремни, сумки, гранаты (пальцы на морозе не гнулись, не слушались), пока выбрался на дорогу, рота уже едва угадывалась на пригорке, одни отставшие брели по дороге, и я как ни бодрился, как ни силился прибавить шаг, получалось, как в сказке: несмотря на все усилия, я отставал все больше, рота впереди вскоре и вовсе скрылась из глаз, а я шел все медленнее, отставал уже и от отставших и вскоре совсем один брел по унылой, сумрачной по-вечернему дороге.

И вот тогда вспомнил я наш давнишний разговор с Виктором и с бессильной яростью подумал о воле: воля-то была, а сил не было! Тело бастовало. Плевало оно на волю. Ноющие мышцы задубели в усталом равнодушии и никаким приказам не хотели подчиняться. Едва-едва переставляя ноги, медленно, затрудненно, они делали вид, что идут. А мне надо было идти быстрее и догнать своих. Только бы не свалиться! Иди! Иди! Ну же, чуть быстрее, чуть-чуть прибавьте шаг, мои ноги, мои измученные кони!...

В первой же деревне я справился у встречного старшины о нашем батальоне. Старшина сказал, что в этой деревне разместились штаб и тылы полка. Из приоткрытых дверей сараев красновато просвечивало, тянуло дымком полевых кухонь, теплым варевом. Слышались редкие хриплые голоса.

Сердобольный усатый старшина, приглядевшись ко мне, предложил зайти «на кухню», обогреться,

поесть. Я покачал головой, прошел деревню, вышел в поле.

Была уже ночь. На блеклом небе зябко ежилась полнотелая сизоватая луна, по временам ее окутывали дымчатые тучи, и тогда темнело, суровело все вокруг.

Кусты расплывались, словно бы выростали, казалось, что впереди кряхтят и переговариваются люди. Снова показывалась дородная луна, лениво, холодно посвистывал ветер, и кругом было снежное поле, и я один шел по этой дороге. И мне казалось, всю жизнь суждено мне идти одному по этому пустынному снежному полю, идти и идти, и даже цель уже забыта, а есть только одно сознание: нельзя останавливаться, надо идти и идти. В полусне. В полумгле.

Не знаю, сколько было километров до той деревни, где остановился наш батальон. Не помню, как дошел. Помню, перед самой деревней была замерзшая речушка и крутой подъем. Дорога шла в обход. Тропа вела прямо в гору. Я начал подниматься по тропе. Упал. Видно, из проруби брали воду. Образовались наледи. Я поднялся и вновь, поскользнувшись, упал. Так и не встал. Не держали ноги — и все! Полежал и пополз на четвереньках. Рядом на лиловато-сумеречном снегу вихлялась по-собачьи жалкая и короткая тень моя. Я полз медленно, натужно. Посижу и вновь ползу.

Я, казалось, уже ничего не сознавал. Будто я был уже не я. Словно кто-то другой двигался на четвереньках. И я не осуждал его и не сочувствовал, а просто понимал: по-иному нельзя. Не можем по-иному. Хотя со стороны, наверное, если посмотреть, например, с этой горки, выйти из теплой избы, глянуть на дорожку... Или кто из товарищей увидел бы, из тех, кто прошел этой дорогой раньше. Сразу и не поймешь, человек там или собака ползет. Ветерок взбивал снежную пыльцу, хлестко бросал в лицо. Я переставлял локти, подтягивал громоздкие, непослушные колени... Так и выбрался на гору. Вставать было трудно. Уцепился руками за сруб колодца, поднялся.

Не отряхиваясь, зашел в первую большую избу на краю. Огонек поманил, просвечивая сквозь плохо занавешенное окно.

И первое, что увидел, — сумеречные, настороженные глаза Бориса. Он сидел за столом в шинели, в шапке, с раскрытой планшеткой, сбоку — фонарь «летучая мышь».

— Вот молодец,— ровным, смертельно-уставшим голосом сказал Борис.— Что значит командир. Не бросил своих людей. Привел отстающих...

Он осуждающе повел глазами в сторону. Там, в сумраке, на полу, привалившись спинами к бревенчатой стене, дремали Виктор и Иван.

— Ты сколько привел? — спрашивал меня Борис.

Что мог я ему сказать? Неужели он не понимал, не видел? Глаза его в свете фонаря казались мне красными, злыми.

Едва ворочая непослушным, разбухшим от голода и холода языком, я что-то хрипло сказал и, как завороченный, пошатываясь, пошел к Виктору и Ивану, возле них я высмотрел свободное местечко, опустился на пол, закрыл глаза, и все поплыло мимо меня с тихим освобождающим звоном.

Не знаю, через сколько времени нас растолкали. Потребовали к командиру роты. Борис сидел все за тем же столом. Злые воспаленные глаза его, казалось, не знали покоя. Он произвел общую проверку, наша рота недосчитывала что-то около десяти человек.

— Вы должны были следить, чтобы не было отстающих. Вам и отвечать.

Мы вновь оказались под зимним ветром и холодными звездами. Одни на дороге.

Иван, жалобно пощелкивая зубами, первый повернул обратно. Сказал: никуда не пойду... Все равно замерзает. Я пошел за ним. Виктор крикнул вслед: скажите, я отпустил вас, я один пойду...

Мы постояли с Иваном на крыльце и, не сговариваясь, повернули к хозяевам, на теплую половину. Там никого из наших не было. Бородатый хозяин засуетился. Мигом очистил от детей лавку за столом. Мы задубевшими пальцами с трудом расстегивали шинельные крючки. Худенькая хозяйка поставила миску с дымящейся картошкой, сложив руки под передником, жалеющими темными глазами посмотрела на нас; переглянувшись с хозяином и быстро полезла в подпол, достала капусту и кусок сала. Мы проглотили несколько картофелин и попросили: спать. Нас попробовали уложить на большую кровать со взбитой периной, мы просили: на пол. Легли на вороха яблочки, пахучей с мороза соломы и тут же уснули.

Нас снова разбудили. Старшина. Здоровенный пройдошистый рыжеватый мужик. До войны он работал товароведом в какой-то артели. Мы не верили в его честность и потому не любили его. Он, где мог, старался насолить нам. Это он, подозреваю, разыскивая для себя теплое местечко, открыл наше убежище и доложил Борису.

Борис стоял перед нами, мучительно качал головой из стороны в сторону, морщился, словно от зубной боли. Иван твердил: нас отпустил помкомвзвода, приказал идти отдыхать. «Идите, ребята, я один пойду», — повторял Иван его слова с мерной настойчивостью. Помкомвзвода был Виктор.

Борис сказал: идите на холодную половину, будьте со всеми.

Не знаю, что меня вновь разбудило. Изба была полным-полна. Спали на лавках, на полу, в шинелях, валенках. Тускло светил фонарь. Перед столом стоял Виктор. Шапка, ресницы, брови — в морозном инее. Фиолетовые губы его едва шевелились. Он, должно быть, что-то докладывал Борису, который все так же, в шапке и застегнутой шинели, сидел за столом. Звякая котелками, вошли несколько человек. Виктор показал на них. Борис кивнул головой.

Виктор, переступая через спящих, пошел ко мне, я подвинулся, он, постанывая, лег рядом, затих. Через некоторое время я услышал сквозь сон: «Двигайся-ка», — с другого боку пристраивался Борис. Подложил под голову противогаз, планшетку, освободившись вздохнул.

Ворочаюсь. Откуда-то снизу, из-под пола, дует. Плотнее завертываюсь в шинель. И тут мгновенное воспоминание потрясает меня.

...На берегу моря за нами, голыми ребятишками, увязался щенок. Мохнатый, с добрыми глупыми глазами. Мы всполошились: «Чей щенок?» Хозяина не находилось.

У рыбацкого домика, недалеко от перевернутых лодок, моталась на цепи собака, безголово раззявляющая пасть. «Это его мама», — решил я. — Она скучает за своим сыночком».

Веснушчатая девочка в красных трусиках взяла щенка на руки и понесла к собаке. Побоялась близко подойти к мечущейся большой собаке. Погладила щенка, подбросила его, жалобно заскулившего: «Ну, иди, иди же! Это твоя мама».

Едва щенок успел подняться на ноги, как большая собака, рванувшись на цепи, жесткой мохнатой лапой пригребла его к себе. Щенок испуганно ойкнул, осатанело щелкнули зубы пса. И щенок, бесильно отвалив голову, затих на песке.

Все произошло так быстро, все происшедшее было так нелепо, так чудовищно необъяснимо, что поначалу я ничего не мог понять. Рыбаки под навесом, обнаженные до пояса, с лоснящимися коричневыми спинами, громко били по столу костяшками домино. На высоких кольях сушились растянутые сети. Лениво плескалось нагретое море... С хохотом падал на спину обожженный докрасна парень в плавках, отбивая волейбольный мяч. А у лодки на желтом песке лежал кутенок с надломленной тонкой шеей, безвольно раскинув мохнатенькие свои лапы. И его погубитель лежал тут же в тени и, высунув язык, хекал от жары, как ни в чем не бывало. И толстая кухарка, вытирая фартуком разморенное лицо, неслась этой большой собаке что-то в алюминиевой миске и звала ее: «Ма-а-трос, Ма-а-трос!»

— Это ты, мальчик, сказал, что она его мама? — запинаясь, сказала девочка. Глаза ее с открытой неприязнью смотрели на меня. Словно я один был виноват во всем случившемся.

И я не выдержал. Я подбежал, я закричал:

— Мама! Мама-а! Почему она так сделала, эта собака?..

Я безутешно бился в маминых коленях, и в те минуты мир казался мне огромным и непонятным.

...И теперь, когда я лежал на холодном полу, в чужой, холодной избе, в далекой калининской деревне, и вокруг меня храпели, хрипели, ворочались во сне люди, с которыми мне завтра в бой, я подумал: тогда, в детстве, я, наверное, впервые почувствовал ужасающую силу случая, беззащитность жизни, мгновенность ее и лютую силу злобы, которая сторожит, прыгает на цепи, чтобы рвануться и схватить за горло трепетно-живое. И еще подумал я: человек не должен быть беззащитным. Жизнь должна уметь оборонять себя.

Я нащупываю свою винтовку. Придвигаю поближе. Гладкое ложе. Металлический холодок ствола. Кажется, только теперь в полной мере чувствую то, что многократно будет пережито на войне: почти нежность и доверие к оружию. И с этим я вновь засыпаю.

3. Первая любовь

После проверки сторожевых постов в сумерках я подходил к нашему жилью. Мы разместились в ложине. Кто-то до нас поставил несколько конур из плотных снежных плит, крыши — тонкие следи и на них тоже плиты, узкий вход — лаз. Не сядешь — низко. Вползай на корточках и ложись.

От пронизывающего ветра и это была защита. На пол мы набросали льняные снопики. Под потолком натянули плащ-палатку, чтобы не капало, — когда в конуре набирался «полный комплект», снег от дыхания начинал таять.

Нам еще повезло. У других и этого не было.

Резкими порывами налетал ветер, отдувал полы шинели. Поземка скручивала и раскручивала свистящие жгуты.

— Вот, товарищ командир, медперсонал к нам прибудил! — издали крикнул мне Павлов. Он, нахохлившийся, с поднятым воротником, стоял на часах у «землянок». — Девчоночка тут из третьего батальона просит обогреться, — уж совсем по-домашнему добавил он, когда я подошел поближе; в его хрипловатом, простуженном голосе прозвучало извечно отцовское, покровительно-жаляющее...

Навстречу мне медленно оборотился маленький солдатик в шинели, стеганых штанах, валенках, в шапке со спущенными, плотно завязанными под подбородком ушами. Если бы не толстая сумка с красным крестом на боку, ни за что бы не подумал, что это девчоночка.

Чем ближе я подходил, тем все тревожнее, все беспокойнее становилось мне, все знакомее мне казалось это продрогшее лицо с ресницами в инее.

Еще до того, как я успел сообразить, понять, прежде чем я смог поверить, я уже узнал ее. По глазам. Это были ее глаза со спокойным, отчужденно-усталым выражением. Вдруг в них плеснулась темная волна недоумения, испуга, изумления, радости. Она вскрикнула, шагнула.

— Это вы? Это ты!.. Ну, конечно же...

Она плакала, уткнувшись мне в грудь.

— Мне сказали, что тебя убили где-то под Борисовом. Сказали, что ты сгорел. Такая ужасная смерть... Пуля будто попала в бутылки КС, они были на тебе в сумке, будто вы танки ожидали.

Я не мог говорить. Только судорожно взглатывал, будто меня душил кто. Я не решался даже обнять ее.

На мне был подшлемник, все было закрыто, только глаза, да изо рта струйки морозного дыхания. И она узнала меня. Выходит, она все это время помнила обо мне. Значит... ничего это не значит. Она ведь замужем. Чуть ли не с прошлой зимы. Я не видел ее мужа. Говорили, он кандидат наук, обещающий ученый. По крайней мере у его отца было громкое имя в науке. Последние месяцы перед войной я редко видел ее. Старался не встречаться. Как же она попала на фронт?

Я стоял, уронив руки вдоль тела. Вдыхал теплый запах ее и не мог поверить, что так просто и неожиданно совершалось то, что было моим страданием, мукой, несбытающей надеждой в течение двух лет. Она была рядом со мной. Она прижалась ко мне. Она беззащитно плакала.

— Что же это я? — Она как будто вдруг рассердилась. Ладонью смахнула слезы. Отодвинулась. С не ушедшим еще волнением спросила: — Кто еще здесь из наших?

Я слышал ее голос. Это был ее голос, чуть протяжный, горловой, как будто ломающийся на звуковых переходах.

Я назвал Виктора, Бориса...

— Не знаю, — покачала она головой. — Фамилии слышала, в лицо, наверное, знаю. Но, как говорили в мирное время, незнакомы... — Помедлив, добавила, глядя на меня прямо и открыто: — Мы ведь и с вами...

В глазах ее еще теплились радость и волнение и уже пробивалось незнакомое мне умудренно-скорбное выражение много пережившей женщины.

Вот такой всегда она была для меня: непонятной, приближающейся, чтобы тут же уйти в отчуждающую даль.

Да и знал ли я ее?

Это была какая-то странная любовь. Любовь издали, на расстоянии. Молчаливая, сосредоточенно-преданная и безответная. Любовь, которая черпала свою радость, надежды и горечь в самой себе. Любви, которая знала свои взлеты и сокрушающие падения.

Если человека могут подчинить, околдовать непонятные нам силы, то таким заколдованным был я. Мне необходимо было ее видеть. По возможности каждый день.

В перерыв я устремлялся к аудитории, где она должна была быть на лекции, норовил поспеть ей навстречу на лестничных переходах, ждал ее на трамвайных остановках, у входа в метро, возле института. После торжественных вечеров, литературных встреч и обсуждений...

Я еще издали ловил ее взгляд, не мог оторваться от него, шел, замороженно глядя ей в глаза. Она проходила мимо меня, почти касаясь, тая непонятную усмешку. У меня, в общем здорового парня, кружилась голова и подкашивались ноги.

И так повторялось изо дня в день. И каждый день был непохож на другой. То я скрывался за колоннами, чтобы она не могла видеть меня, а я мог бы наблюдать ее. То я изображал из себя человека, занятого решением неотложных дел, говорил с кем-нибудь из ее сокурсников, но поближе к той аудитории, из которой она могла появиться. И стоило ей показаться, как мои глаза, проклятые жалкие рабы, неподвластные мне, видели только ее, следили только за ней, ждали ее взгляда, хотя бы короткого, брошенного из-за чьего-нибудь плеча.

Я ни разу не подошел к ней.

— Тебе что, Верка Скворцова нравится? — проследив за моим взглядом, спросил мой дружок Леня Копалин. Я и познакомился с ним, потому что он был в одной группе с ней. — Чудак, давай познакомлю. В момент... Только за успех не ручаюсь, за ней многие приударяют.

Вся моя настороженная гордость, ревнивая надежда восставали против такого обычного, пошлого... Зачем мне такое знакомство, когда говорят равнодушно: «Здорово! Будь здоров! Как дела?»

Все, что переживал я, было ликующей радостью, надеждой на необыкновенное. Не нужны мне посредники! Она должна была понять сама и, если бы захотела, ответить. Неужели я бы не догадался... Взаимное чувство должно было притянуть нас, бросить друг к другу...

Были дни, когда она избегала меня. Словно ей надоедало это утомительное, бесконечное и ненужное кружение. Все теряло для меня свою радость. Мир словно обесцвечивался, все виделось сквозь прозрачную траурную кисею. И ясени в парке, и людские лица, и грохочущий трамвай.

Я шел к себе в общежитие. Падал на кровать. Я не мог слушать лекции, читать, готовиться к заняти-

ям. Сосущая безнадежная боль медленно затягивала меня в кружащийся водоворот, в бездонную пучину отчаяния...

Потом я решал. «Ты меня не любишь. Хорошо. Это твое право. Но я люблю... Это моя жизнь. Люблю с сокрушающей, неодолимой верностью и нежностью. Я хочу тебя видеть, только видеть. Больше мне ничего не надо. Ты и на это не согласна. Разве это много?..».

То вдруг во мне вставала на дыбы, словно разъяренный конь, вся моя врожденная гордость, гордость людей, которые вели свой род от запорожских казаков и которые знали цену свободы и независимости. Пропади ты пропадом! Зачем ты мне нужна такая!..

Я устремлялся туда, где она была, где она могла быть, находил ее, шел прямо на нее и смотрел так, что меня самого ломило от ненависти и холода. Я расправлялся с ней. Я казнил ее презрением, ненавистью.

И тогда, удивительное дело, в ее глазах я читал что-то похожее на изумление, ласку, молчаливый призыв. Мы «мирились», и все начиналось сызнова.

Я писал студенческую курсовую работу о сонетах Данте. О его книге «Vita nuova». Века словно смещались. Я чувствовал приобщение к чужой тайне, которая была и моей тайной. Я вчитывался, вслушивался в этот голос, который звучал с юношеской чистотой и свежестью из тьмы столетий, и повторял:

Столь благородна, столь скромна бывает
Мадонна, отвечая на поклон,
Что близ нее язык молчит смущен
И око к ней подняться не дерзает.

Я находил оправдание себе, своему чувству.

Мне казалось, что я начинаю понимать не «в исторической обусловленности», а сердцем эту любовь, которая не требовала награды, потому что наградой она была самой себе. Я, казалось, начинал понимать рыцарей, которые шли ради своей дамы на край света, чтобы прославить ее бессмертием подвигов. Ради одной улыбки, ради протянутой руки, ради благодарного кивка.

Мне казалось, я начинаю понимать человека, стремительно рванувшегося из катакомб раннего средневековья, из сурового послуха к культу прекрасного, очищающего и возвышающего себя бескорыстной силой чувства. Во мне бродили стихи, я бредил песнями трубадуров...

Но так бесконечно продолжаться не могло.

Режиссер Плучек и драматург Арбузов организовали театральную студию. Поставили спектакль о Комсомольске-на-Амуре. Мы готовились к обсуждению этого спектакля у нас в институте.

После просмотра, в тесном, неудобном гардеробе, я оказался недалеко от Веры. Она была одна. Я пошел за ней. В мутном свете фонарей медленно кружились и падали снежинки. Я догнал ее.

— Можно с вами? — спросил я с неожиданным, поразившим меня самого спокойствием. Как ни в чем не бывало. Слово речь шла о самом обыкновенном!

Она приостановилась, чуть нахмурившись, кивнула головой. Я пошел рядом.

Удивительно, как хороша она была в белом пушистом платке, припорошенном лохматыми снежными звездочками, с блестящими глазами, которые, казалось, берегли еще в себе тайную радость пережитого на спектакле; она была такая легкая; фетровые валенки ее как бы сами собой шагали, скользили, посмеиваясь, развезаясь на скользком, притопывая, и вновь шли легко и свободно.

Когда она смахивала налипший снег с бровей, со



лба, с выбившихся волос, я заметил на цветных ва-режках ее вышитую уточку, и эта полненькая широконосная уточка почему-то больше всего запомнилась мне, обрадовала доверчивой детскостью.

Я спросил о спектакле. Она, чему-то улыбнувшись, спросила, а что думаю я. Я сказал, что мне не особенно понравилось: слишком много там бревен, и они уж очень долго по ним лезят. Если это эксперимент, то я его не очень понимаю.

Она не согласилась. Заспорили. Я что-то возражал ей. И все время удивлялся тому, что я вот иду рядом с ней, разговариваю, не соглашаюсь. И ничего необыкновенного не происходит. Как будто я разговариваю с какой-то другой, самой обыкновенной девушкой. Она словно утратила что-то из далекого очарования. И взамен ничего не было. Я испытал даже мгновенную горечь разочарования.

Как-то неожиданно — мне казалось, прошло всего несколько минут — она остановилась, я плечом налетел на нее, она отодвинулась, сказала:

— Вот я и дома.

Взглянула на меня очень спокойными, предостерегающими и серьезными глазами. И ушла, растаяла в сумрачном подъезде.

Вскоре после этого я узнал, что она выходит или уже вышла замуж. Точнее, никто сказать не мог, так как, говорили, свадьбы не было и будто не будет. Или же была тихая, «семейная».

И вот она снова была рядом со мной. Она лежала возле меня. Я все отжимался к снежной стенке, чтобы освободить побольше места для нее. В нашу ко-нуру поместилось пять человек. Тяжело всхрапывал

во сне Виктор. Как всегда, неслышно дышал Борис. Не поймешь, спит или не спит. Вера была так близко, я слышал ее дыхание, валенки ее касались моих, колени ее даже сквозь ватную броню несли тепло.

— Понимаешь, он трус, мой муж, мой бывший муж,— рассказывала она. И нельзя было понять, мучается она или посмеивается над тем, что было, что прошло.— Я ночевала в городе, после объявления войны поехала в институт, потом решила: поеду на дачу к его родителям. Приехала. Он играет в теннис, тренируется возле стенки. Спросила: «Ты слышал, знаешь?» Он ответил: «Да»,— подошел, обнял меня, поцеловал и снова взялся за ракетку.

В белых брюках, рубашка с короткими рукавами, в руках ракетка, резким взмахом посылает мяч в деревянную стенку, с силой отбивает... Лицо нахмуренное, собранное. Я тогда позавидовала ему: вот умеет владеть собой! И покачалась: видно, плохо знаю я еще своего мужа.

Ты помнишь первые дни: все куда-то спешат, толпятся, записываются добровольцами, в военкоматах очереди, начали собирать людей на призывных пунктах. Создали ополчение. Маршируют пожилые люди, ученые, рабочие. Многие белобилетники,— я работала на призывном пункте агитатором, узнала и это слово. В очках сколько было! Моего как будто ничто не касается. Все идет словно мимо него.

Я не выдержала, спросила: «Как же ты?» Разговор был утром, передали особенно тяжелую сводку. Он отодвинул чашку с выпитым кофе, медленно вытер рот салфеткой, сложил ее (в аккуратности ему никогда нельзя было отказать).

— Этот разговор должен был состояться. Я понимаю тебя,— заговорил он так мягко, убеждающе, словно я маленькая-маленькая девочка, которая многого еще не знает... — После войны, как ты знаешь, наступает мир. И, видишь ли, будущее страны, государства, народа, как об этом свидетельствует опыт прошлого, зависит в значительной степени от того, какими интеллектуальными кадрами в самых разных сферах будет располагать это государство к концу военных потрясений...

Я не выдержала, перебила его:

— И что же, ты решил себя сохранить до этого времени?

— Не я решил, за меня решили.

— Тебе дали бронь?

— Не только дали, но и запретили поднимать вопрос о фронте.

— Кому нужна твоя история колониальных и зависимых стран!

— Сейчас не нужна, будет нужна.

Сидит в глубоком кресле, такой уютный, благополучный, домашний человек, в пижаме с обшитым воротником, очки в золотой оправе, ох, не любила я эти очки, разве за ними что поймешь...

И я вдруг подумала, что в этот момент, может, в эту минуту, когда мы пьем кофе и разговариваем, на фронте умирают люди, бегут по взрытому полю с винтовками наперевес, взблескивает пламя, грохочет разрыв, и они падают на вздыбленную землю.

Я спросила его:

— Скажи, разве у тебя нет такого чувства, что без тебя, без твоего участия война может быть проиграна и тогда уже не понадобится твоя интеллектуальная одаренность?

— Я большой оптимист, чем ты,— сказал он все так же спокойно, со снисходительной улыбочкой.

— Что же,— сказала я ему,— в семье должен быть хоть один мужчина. На фронт пойду я.



Он привскочил, пятна на лице.

— Т-т-ты пытаешься меня терроризировать,— даже взвизгнул он. Первый раз я слышала у него такой голос.— Это неблагородно в высшей степени! Особенно в такое тяжелое время. Я, кажется, мог рассчитывать на твою благодарность и поддержку.

— Ты просто трус,— сказала я.

С тем мы и расстались. Через несколько дней я уехала со студенческой бригадой рыть окопы под Ельню и к нему больше не вернулась. Он в октябре эвакуировался со своим институтом. А я попала в добровольцы, попала в этот полк, и меня определили в третий батальон.

Вера говорила тихо, почти шепотом, и этот напряженный доверительный голос особенно волновал меня. Слово вверяла она мне одному свою жизнь, надежды и разочарования.

Но чем я мог помочь ей, облегчить ее участь, ее судьбу? С ожесточающей, ранящей тревогой я думал о том, что будет с нею тут, на фронте. Я хорошо знал, через что она уже прошла в этих боях. Что еще предстояло всем нам и ей? С каждым днем, с каждым часом нас становилось все меньше и меньше... Как оборонить ее, как защитить?.. С мрачной решимостью я начал прикидывать, с кем поговорить, кого попросить, может, ее взяли бы в полковую медчасть — там безопаснее, но так, чтобы она не знала, чтобы это был приказ.

И вдруг приходила радость, чистая и нежданная, как солнечная улыбка в пасмурный день; она стирала неясную, томящую тревогу, заботы, тяжелые опасения. Рядом со мной была она, любовь моя, сестра моя! Мне хотелось коснуться ее лица, тронуть рукой волосы, они выбились из-под ее шапки, отлетали от дыхания, касались моей щеки...

В неясном полусне, полубодрствовании, ломила

меня усталость и нечеловеческое напряжение последних дней, я вспоминал ее в цветастом летнем платье, в белых босоножках, сбегающую по ступенькам институтского крыльца... Сама мысль о том, что я, теперешний, мог бы коснуться ее своей рукой, провонявшей пороховой гарью и дымом, вызывала неясную улыбку. Я вдруг как будто со стороны увидел себя в громоздких зимних одеждах, с давно не мытым лицом — снегом кое-как протрешь, и довольно, — в порывавшей шапке — она побывала и в котелке с гороховым супом (слетела во время бомбежки) и подгорала в костре — я уснул и ткнулся головой в огонь... Я забывал о том, что на ней тоже теперь была неуклюжая шинель и заскорузлые валенки. Виделась она мне прежней.

Тосковала поэмка, забрасывая вихрящиеся снежинки в нашу конуру, наматывая холмик у входа. Вдруг начинал захлебываться крупнокалиберный пулемет, взвивалась перемежающаяся взрывами пальба и снова стыла, таилась сторожкая, недремлющая тишина, в которой бродил, кружил, тосковал неприкаянный ветер. А рядом звучал ее голос, удивительно юный и чистый:

— Вот что страшно: оказывается, можно жить с человеком и не знать его до конца. Что я знала бы о своем муже, если бы не война? Как он ухаживал за мной! Сколько раз становился на колени и говорил: «Только позволь вот так смотреть на тебя, на твое лицо, следить за движением твоих глаз». Он каждый день присылал мне цветы. Великолепные, удивительно красивые букеты. Он и маму окладовал. Узнал о дне рождения, пришел поздравлять, с подарком, обходительный, ненавязчивый, тактичный. Разговорил ее, а она у меня молчунья, одна, без отца меня выхаживала. Смотрю, улыбается моя мама, смеется, даже помолодела как-то. Он и замуж меня уговорил не по-обычному. Давай только зарегистрируемся, в загс сходим, и все. А ты живи, где хочешь: у себя или к нам переедешь, будешь вместе со мной, привыкнешь, я к тебе не притронуся, пока ты не позволишь. Если ты не хочешь, свадьбы не будет. Все будет тихо, по-семейному.

Вера тихонько засмеялась.

— И действительно, после регистрации мы больше месяца жили вместе и не были мужем и женою. Мне казалось, в таком поведении было что-то рыцарское, высокое, романтическое... А он, после того как я уехала на окопы, ни разу даже маме не позвонил, хотя знал, что часть из наших попала в окружение. В октябрьские дни, когда немцы к Москве прорывались, я разыскала его по телефону, попросила маму мою взять в эвакуацию, отец у него академик, что им стоило; он сказал: «Конечно же, я сам помнил об этом, пусть собирается, обязательно заеду на машине». И после этого как в воду канул, не знаю даже, куда он сбежал...

Под успокаивающий шорох поэмки, под этот голос я и уснул. Ничего не мог поделать с собой.

Тревожные сны томили меня.

Мне казалось, будто я в церкви. Сумеречный, уходящий ввысь потолок. Круг желтоватого света, и в нем я. И вижу себя будто со стороны. В рыжих помятых штанах. В светлом кургузом пиджачке. Но под пиджачком белая рубаша с накрахмаленной грудью. Стоячий воротник. Черная бабочка. Терпеть не могу этих бабочек, а вот на же!.. Я высоко подстрижен. Поворачиваю голову на голенастенькой шее. Слово ищу кого-то, с недоумением приглядываюсь к происходящему. Виноватая, просящая улыбка человека, который, помимо воли, желая, подчиняется обстоятельствам. Какие-то люди кругом. Я их не вижу. Вопрошающий тревожный шумок слышу я.

Они о чем-то переговариваются. И рядом со мною кто-то в белом платье. Подвенечная фата закрывает полуопущенное лицо. Бледные восковые цветы приколоты к груди. Длинная тонкая ладошка, опущенная вдоль платья. Венчаюсь я, что ли? Но почему? С кем? Не могу понять. И как я вообще оказался в церкви? С малых лет не ходил в церковь. Поворачиваю по сторонам высоко подстриженной головой на длинной шее, улыбаюсь смущенно и жалконько...

И тут все во мне восстает против приниженной умиленности, против этой просящей улыбки, которая словно бы выпрашивает, вымаливает: пожалейте меня, будьте добры ко мне, ведь и я никому не хочу зла. Я добрый и люблю всех...

— Он не я! Я не такой! — едва не кричу я. — Я постою за себя. Я сумею защитить и себя и других. С детства я научился презирать расхлябанность и слабость. Мужество, силу, ясность решений ценю я. Это кто-то другой стоит там в желтоватом кругу, покорный судьбе!..

Кажется, что вот-вот я проснусь, отброшу это наваждение и, стараясь проснуться, с яростью думаю: я презираю безволие! Не потому, что оно доставляет страдания тебе самому. Оно ранит других. Оно предает. Оно убивает самых близких, дорогих людей...

И вдруг все рассеивается, будто стертое чьей-то ладонью. Я увидел море. В далекой голубоватой дымке, в бело-желтом накале береговой песчаной полосы. Ветер дул с моря, а пахло ошеломляюще-неожиданно: степью, полыном и чабрецом, запахи шли оттуда, с горы; смешавшись с соленым дыханием моря, они кружным путем возвращались на берег, в сухую, пыльную степь. Этот запах, такой необычный, кружил голову, возбуждал щемящее чувство радости и печали. С этим неясным, томящим, тревожным чувством я брел по влажному песку, набегающая волна холодила ноги.

Тревожное напряжение не оставляло меня. Я кого-то искал и никак не мог понять, кого. Вдруг, как внезапная вспышка, как парус, мигнувший на горизонте: «Вера!.. Где же Вера?»

Только что она была рядом, я слышал ее завораживающе-ломкий голос, и вдруг она исчезла, словно подхватил и унес ее внезапный смерч.

Я пошел быстрее. Я увидел ее далеко-далеко на молу. Босые пятки ее мелькали на каменных плитах. Мол был старый. Море выщербило его, в проемах между израненными камнями люто пеннелись вода. Вера, едва касаясь скользких зеленоватых уступов, прыгала. Вилось, мелькало светлое платье.

Я уже был на молу. Я побегал. И тут я увидел, что рядом с Верой идут, прыгают длинные, худые, обросшие черным волосом ноги. И когда я увидел, что этот козлоногий очкарик настиг ее, положил ей руку на плечо, наклонился, просительно заглядывая ей в лицо, на меня, словно всепоглощающая волна, обрушилась такая боль, обида, ревность, что я страшно, бессмысленно закричал. Я не просто закричал. Я взвыл... Непреодолимое горе и безнадёжное отчаяние томили меня.

Кажется, на мгновение я приоткрыл глаза, ослепленные болью, и мне показалось, наяву, во сне ли, надо мной наклонилась Вера, мои натяжелые веки сомкнулись, и, снова уходя, проваливаясь в сон, я почувствовал словно слабое дуновение теплого ветра, — губы Веры коснулись моего лба.

И снова я увидел ее у моря. Неожиданно близко от себя. Она была одна на краю мола, внизу бушевало море. Прозрачное платье ее развевалось, твердо округляло грудь, западало между ног... Все тело ее призывно просвечивало сквозь это платье.

Я шел все быстрее, я спешил к ней. Я желал ее с иступленной нежностью, стыдился этого желания и не мог совладать с ним.

Она повернулась ко мне. Низко опущенные темные зрачки ее словно подтолкнули меня. Я выбросил руки, чтобы схватить, обнять ее... И вдруг она исчезла, растаяла, как будто и не было ее...

Как будто и не было ее...

Дул холодный, пронизывающий ветер, глухо, погребально подвывало море.

Меня и разбудили на рассвете холод и это чувство мгновенной утраты, зияющей пустоты. Под это погребальное вьюжное завывание я и проснулся.

Веры не было. «Часа два, как ушла», — сказал Виктор. «Проспал невесту», — пошутил Павлов.

...На склоне бугорка, в снежной траншее, метрах в ста от нашей «землянки», мы поставили ручной пулемет. Отсюда хорошо просматривался спуск к реке, хуторок из двух домиков в ложбине, которые занимали немцы. Пулемет был поставлен как бы в засаду на случай внезапного нападения. В обычное время стрелять из него запрещалось.

И вот Генка Ушаков, дурашливый белесый парнишка лет восемнадцати, нарушил запрет. В разрывах предрассветного морозного тумана он заметил подводу возле одного из домиков и суетившихся вокруг нее солдат. Он и полоснул по ним. Потом еще, еще. Увлеченно, взахлеб. Тотчас со стороны немцев ворчливо, басовито отозвался крупнокалиберный. Пригибаясь пониже, я бросился к неглубокому ходу сообщения, мы прокопали его в снегу, побежал к Генке с тем, чтобы он немедленно прекратил бессмысленную пальбу. Немцы ударили из миномета. Близкий разрыв бросил меня на дно. Второй разрыв, третий. Я услышал слабый вскрик. Пулемет умолк.

— Санитара, санитар, — вдруг отчаянно завопил Генка. Он орал так, что его, наверное, слышно было и врагам. По крику я понял, что ранен он легко.

Вскоре я был возле окопчика. Я увидел уже скорчившегося Генку, левую руку он испуганно прижимал к груди. Со стремительно ширящимся воем, казалось, прямо на нас обрушилась мина. Она шарахнула в самый край окопа. Полетел снег; мерзлые комья земли. Они забарабанили по униженно согнутой спине. Тошненько завоняло взрывчаткой.

— Слышь, ты живой?.. почему-то шепотом спросил меня Генка. Он оказался в странном положении: зад вверх, голова между ног, голос его шел будто из подземелья.

И тут я дал себе волю. Приподнимаясь, отряхиваясь, я длинно, безобразно матерился, свободно припоминая все когда-либо слышанные мною сочетания. Генка хохотнул. Такой обрадованный всхлип вышел.

Я полез за санитарным пакетом, начал бинтовать ему руку.

Сеялся редкий снежок. Разрывы начали уходить от окопчика, снова приближаться, словно искали, нащупывали что-то: Генка приподнялся, толкнул меня плечом. Прямо по полю к нашему окопчику бежала маленькая фигурка с санитарной сумкой на боку.

— Назад! Назад! — в полный голос закричал я.

Метнулась вверх земля, перемешанная со снегом, дымом. Осколки с визгливым хрюканьем ввалились в снег. Когда я снова приподнялся, Вера была уже близко, шагах в десяти. Она бежала наклонившись, петляя, придерживая рукой сумку. Я увидел настоженные глаза ее, полуоткрытый рот, даже капельки пота, словно веснушки, на переносице.

Негромко, одиноко прозвучал выстрел. Вера дернулась, остановилась, и, как-то удивленно разводя руками, начала медленно оседать на землю.

Я выскочил из окопчика, метнулся к ней. И в это

же время Генка судорожно ударил из пулемета. То ли он знал, где скрывался немецкий снайпер, то ли бил он, превозмогая боль, орудя одной рукой, так для острастки, но только снайпер молчал.

Я упал на колени. Вера дышала со всхлипами, веки ее были мучительно сведены. Она то подтягивала, то выпрямляла ноги в больших порывевших валенках. И когда я увидел эти ноги, как бы сами собой мучительно сгибающиеся и разгибающиеся, я заledenел от ужаса. Несколько мгновений я смотрел на нее, потом подхватил на руки, голову ее со всхлипывающим ртом, из которого уже пузырилась кровь, прижал к плечу. С Веры свалилась шапка, волосы ее, словно живые, рассыпались, обвили рукав моей шинели. Я остановился. С какой-то механической размеренностью, придерживая Веру, опустился на одно колено, нашел шапку, тщательно отряхнул ее, долго и трудно надевал. У меня деревенели руки.

Пошел по полю. Я не слышал разрывов. Я видел их медленное кружение: они, торопясь, то опережали меня, то подходили, приближались с боков. Мне они уже были не страшны. Помимо воли я подумал: коснись меня, я бы корректировал огонь поточнее.

Проваливаясь, с усилием выдергивая ноги, я шел, держа Веру на руках, по снежному, дымно воняющему полю, присыпанному тусклой холодной металлической пылью.

...Ко мне бросилась рыжая здоровенная деваха, военфельдшер третьего батальона. Она пришла к нам вместе с Верой.

— Куда ее?.. Куда ее?.. — быстро спрашивала она.

За первым же укрытием возле сарайчика мы уложили Веру на кем-то разостланную плащ-палатку.

Едва глянув на Веру, военфельдшер заторопилась, достала шприц, сделала укол в руку.

— Да что же ты... — негодующим, стонущим голосом крикнула военфельдшер. — Шинель расстегивай! Руки не слушались. Она со злостью оттолкнула меня, рвала петли, расстегивала шинель, ватник, гимнастерку. Грубо обнажила неправдоподобно-белую грудь с упругим коричневым соском и охнула, беспомощно уронив руки. Возле левой груди, чуть выше соска кровоточила крохотная ранка.

Вера вдруг задвигалась, застонала. Огромным усилием раздвинула веки. Жар сжигал ее зрачки, они незряче уставились в сеющее мелкий снег небо.

Вера прикрыла их, веки словно свело судорогой, тихим, слабым голосом внятно сказала:

— А это... оказывается... не страшно...

Мы хоронили ее у дороги. Выдолбили неглубокую могилу. Завернули в плащ-палатку.

Когда первый мерзлый ком, глухо охнув, ударил в плащ-палатку, меня шатнуло, как будто ударили меня в сердце. До сих пор все происходило как в полусне, как в тяжком бреду. И только теперь я понял, с обжигающей непереносимой болью осознал, что все это происходит с Верой, что это ее убил сегодня немецкий снайпер поутру, что это ее зарывают в эту землю.

Я рванулся, я хотел спрыгнуть в могилу, чтобы поднять ее, чтобы взглянуть на нее еще раз. Можно же посмотреть в последний раз!..

Виктор с силой схватил меня и молча потащил от могилы. Я вырывался, он останавливался, держал меня. Глухо стучала, стонала земля.

Хоронили мою жизнь, мою любовь. Мою первую любовь. Тогда я не знал этого. Мне казалось, зарывают в могилу, бьют мерзлыми острыми комьями, хоронят заживо меня самого.

Нет, я не плакал тогда на том поле. Я как будто перестал жить...





Назым
Хикмет



Стихи, которые вы прочтете, были написаны Назымом Хикметом в турецкой тюрьме в сороковых годах. К тому времени он провел в заключении уже много лет и знал, что его ожидает еще много лет заключения.

Однако — из стихов это совершенно ясно — Назым не терял ни веселости, ни доброты, сопровождавших его всю жизнь.

Он надеялся, и его надежда поносила на прочных основаниях. Главное из них — победа Советского Союза в Отечественной войне. Другое — рост освободительного движения на родине Назыма.

Часть этих стихотворений — письма в стихах, посланные любимой Назыма из тюрьмы Пирайе. Они написаны с учетом внимательных глаз тюремного цензора. Другие стихотворения — своеобразный тюремный дневник в стихах. Здесь Назым мог писать откровеннее.

Друзья Назыма сберегли и стихотворения-письма и стихотворения-дневники и издали их в Турции, где слава поэта, еще недавно глухая, потаенная, запретная, сейчас звучит все громче и громче.

Борис СЛУЦКИЙ.

Воскресенье

Сегодня воскресенье,
впервые меня на солнце весеннее
вывели, и я впервые
удивился, что небо надо мной высокое,
что оно голубое
и такое широкое!

Постоял, не шевелясь,
потом на землю сел, прислонясь
почтительно

спиной к стене.

Ничего не надо было мне
в этот миг — ни жены, ни воли,
чтобы быть счастливым.
Земля, я и солнце — чего же боле!

1948

Как житье-бытьё?

В хорошие дни к моей руке тянется
множество рук,
На самое почетное место вешают мой
портрет,
Однако едва слышится тюремной двери
стук,

Едва я оказываюсь за каменной стеной,
Никто не придет, не спросит, не поговорит
со мной.

Ну что ж... Тем лучше, если так,
Я буду лишь перед тобой в долгу,
обязан тебе одной,
Большая рука человеческая
(в хорошие дни не до нее).
Так как у тебя житье-бытьё!

Сон Ибрагима

Милую встретил среди сна.
Груди ее белизна
выше талии, вот здесь,
плывет, как луна среди облаков.
Она плывет, и я плыву,
остановится — и я вместе с ней,
смотрю на нее, она на меня.
Капли слез
падают на телеграфные провода.
К новостям эти провода.
К радостным каплям слез.
Ибрагим сидел бы хоть десять лет,
лишь бы к счастью был его сон.

1946

Завистник

Завидующие твои глаза;
птицы летят,
разве можно завидовать им!

Ветром — куда ни шло,
но желать обернуться водой!
Куда тебя занесло!

Удержу зависти нет,
все просишься стать зерном,
тебе мало, что ты поэт!

Улудаг

Семь лет, как мы с Улудагом
глядим друг другу в глаза.
Я, как и прежде, от него удален.
И он.
Но все же мы друг друга узнали хорошо.
Смеяться и сердиться умеет он,
как живой,
особенно по ночам, особенно зимой.
Особенно, если ветер с юга.
Все озера, кипарисовые рощи,
заснеженные луга
вдруг встрепаются во сне,
и монахи,
засевший там на самом верху горы,
с длинной растрепанной ветром бородой,
маша каждой полой,
гонимый ветром, спускается вниз.
Иногда,
особенно в мае на заре,
синее, синее счастье светится на горе.
Она возвышается, как новый мир,
свободный, огромный мир.
Иногда
на этикетку шипучки похожа гора,
ту, на которой она же изображена.

Бывает и так, что чернобрового жителя горы в желтой рванине шаровар из-за священной собственности зарежет его сосед и спустится к нам потом в 71-ю камеру на 15 лет.

Пел лудильщик Шабан-уста,
ты не забыла, что он пел!
«Бейпазары теперь наш дом.
Кто может знать, где мы пометим!...»
Сколько раз я тебя писал,
но все портреты ты взяла
и мне взамен
только одно твое фото дала:
садик, совсем другой,
ты, очень спокойная,
очень счастливая,
смеешься
и кормишь кур.
В тюремном дворе не было кур,
но все же смеялись мы от души,
и счастье нас не обошло.
Какие вести до нас дошли
о самой прекрасной из свобод,

1940

Отчего у меня эта грусть-тоска?
Оттого, что я не могу пока
быть, где мне бы хотелось быть
этим солнечным зимним днем:
например, на мосту в Стамбуле моем,
например, в Адане,
 среди батраков,
например, в Юннани,
 в Греции, например,
например, в изголовье разлюбившей меня.
Печень, что ли, шепнула мне этот пример,
или от одиночества я загрустил,
или сон меня ввергнул в печаль-тоску,
или пятый десяток я доломал,
 потому и грущу?

Грусть на цыпочках ко мне пришла
и на цыпочках от меня уйдет,
если я этот стих допишу,
или сон надо мною получит власть,
или если б по радио весть донеслась
и хоть кто-нибудь письма пришлет...

20 сентября 1945

В этот поздний час,
в осеннюю ночь
твоими словами полон я;
как материя, как время, вечны они,
голые, как глаз,
тяжелые, как рука,
и сияющие, как звезда, слова.

В словах слились с моей судьбой
твоя кровь, твоя плоть, твоё сердце,
твоя голова.

Они привели тебя с собой,
они: мать,
они: женщина
и товарищ — они...

Веселы, грустные, полны чувств и идей
слова, похожие на людей.

Читаю книгу:
она про тебя.
Слушаю песню:
опять про тебя.
Сажусь и ем пайку свою:
ты сидишь против меня.
Работаю:
снова рядом ты.
Являешься, я захочу едва,
не можем с тобой поговорить,
не слышим друг у друга слова.
Ты восемь лет моя вдова...

23 сентября 1945

Сейчас — что же делает она
в этот миг, в этот час, сейчас!
Дома ли, на улицу ушла!
Занята ли, как ее дела!
Может быть, взмахнула рукой,
о роза моя,
до чего сейчас обнажена пухлой кисти
белизна!..

Сейчас — как ее дела,
в этот миг, в этот час, сейчас!
Может быть, котенка взяла
на колени и гладит сейчас.
А может быть, делает шаг —
тот, что делает в мой каждый черный день:
бесшумно и легко войдут
любимые ножки ко мне!..
Обо мне ли
этих мыслей соль!

Или,
скажем, почему
так долго варится фасоль!
Или почему у большинства людей
счастья в жизни нет!
О чем она думает сейчас,
в этот самый час, в этот миг!

24 сентября 1945

Самое лучшее море —
то, где еще не плавал.
Самый лучший ребенок —
тот, кто еще не вырос.
Самые лучшие дни нашей жизни —
те, что еще не прожиты.
И самое прекрасное из сказанных тебе
слов —
то, что я еще скажу...

6 октября 1945

Проходят тучи, грузом вестей себя
отяжеля.
Мну в руке то письмо, что еще не дошло.
Сердце все во взгляд ушло.
Счастливого пути тебе,
удаляющаяся земля!
Хочется заорать: «Пирайе!»
«Пирайе!» — в этом житье-бытье...

8 октября 1945

Я снова стал невыносим:
противен сам себе, упрям.
Глядишь,
сегодня все кипит в руках, я напряжен,
как будто матом вскачь гоню упрямого
скота.
А завтра, глянь,
окурок песенки в зубах держу,
день целый напролет лежу,
от бешенства дрожу,
себе противен сам,
себе же жалок сам...
Я снова стал невыносим:
противен сам себе, упрям.
Я, как всегда, неправ.
Причины нет,
ее не может быть.

То, что я делаю, — позор
и суетня.
Но мне не совладать с собой:
ревную я,
прости меня.

10 октября 1945

Когда я гляжу в твои глаза,
в голову мне ударяет дух нагретой
солнцем земли,
как будто я заблудился в пшеничных
полях...
Бездонная бездна в зеленых огнях,
твои глаза,
как материя, вечная в переменах
своих,
каждый день отдающая часть своих тайн;
однако никогда сполна
тайн своих не выдаст она.

27 октября 1945

Половина яблока — это мы,
половина — весь мир большой.
Половина яблока — это мы,
половина — род людской.
Половина яблока — это ты,
половина — я.
Мы — вдвоем с тобой...

28 октября 1945

Сильнее запах герани в горшке,
грохот моря могуч,
и осень пришла с мудростью почв
и перегрузкою туч...
Милая,
не молоды мы.
Жизнь — в тысячу лет длины.
Но мы еще дети.
Наши глаза по-детски удивлены.
Друг дружку, за руки взяв, бежим,
друг в дружку влюблены.

30 октября 1945

Слушать лучшего в мире певца,
поющего лучшую в мире песню,
так же хорошо, как думать о тебе хорошо,
удивительно хорошо.
Но мне уже не хватает надежд,
устал терпеть и слушать песню,
хочу пропеть эту песню сам.

5 ноября 1945

Забудь о том, как высылся и рос
миндаль в цвету.
Не стоит вспоминать
того, что не вернуть.
Суши на солнце влажность кос:
пусть томной спелостью плодов
сияет тяжесть золотых волос...
Забудь же, милая,
забудь.
К нам осень проложила путь.

Перевел с турецкого
Борис СЛУЦКИЙ



Владимир
Абызов

БЕРЛИН, ВЕСНА, ГОД 1945-й

Бои, бои... Гудит, грохочет артиллерия, с остервенением отплевываются минометы, и справа, и слева, и откуда-то сверху звонко строчат автоматчики.

Город в огне. Тяжкий, смрадный дым витает над крышами, стелется по исковерканной земле, проникает в дома, в подвалы — в каждую щель. Дышать нечем. И все-таки мы дышим, чтобы бежать, падать среди завалов, подниматься и снова бежать — через дворы, вдоль и поперек улиц, швырять лимонки в зияющие глазницы окон и врываться во все то, что зовется Берлином.

Шестые сутки наш полк — двести тридцать шестой гвардейский — ведет уличные бои. Все далеко не так, чему нас учили в военной школе: нет ни строгой линии фронта, ни тыла, ни рассчитанных до мелочей заданий. Ты на втором этаже — вот он, твой фронт, внизу твой тыл. Но так было пять — десять минут назад. Сейчас же все смешалось: под тобой почему-то

оказались немцы, а на третьем — клокочет пламя. Где фронт, где тыл, с точки зрения БУПа — Боевого устава пехоты?..

В первые дни уличных боев мы еще как-то старались маскироваться, припадать к земле — рыли лопатками окопчики. Теперь не до лопаток, не до окопчиков. Вперед! Быстрее вперед!.. Однажды, правда, о лопатках вспомнили. Позавчера. Когда брали Темпельгофский аэродром. Мы — на одной стороне взлетной площадки, немецкие танки, врытые в землю, — на другой. Танки стреляли болванками. Снаряды плюхались впереди и позади нашей цепи гулко, не взрываясь, — словно и не снаряды это, а жирные, осенние куропатки, падающие на стерню. Мы разрывали землю ножами, ладонями, ногтями — зачем побросали лопатки?

Врываемся в пятиэтажный дом. Все идет как по маслу: швыряем — для профилактики — гранаты, прочесываем комнаты, занимаем один этаж, второй, третий. Половина до-

ма наша, другая половина немецкая. А дом разделен толстенной стеной, брандмауэром. Пытаемся выбраться на крышу, но верхний этаж обрушился, одни стены торчат. Не стены, а скалы — попробуй одолей! Бежим вниз. На втором этаже встречаем Медведева, у него фаустпатрон. Комвзвода младший лейтенант Сорокин, Герой — получил за уличные бои в Познани, — кричит Медведеву:

— Бей по стене!

Медведев становится в дверном проеме, поднимает фаустпатрон. Пламя. Грохот. И пыль. Ничего не видно. Пробираемся туда, где, по нашим расчетам, брешь. Но брешки нет — небольшая выемка. Видно, фаустпатрон годится для метаталла, для танковой брони, кирпич ему не по зубам.

Выскакиваем на улицу. Кричим Сорокину:

— Что будем делать?

— Берем другой дом, вон тот, подальше.

— А этот?

— Потом разберемся. За мной!

И опять мы бежим, швыряем гранаты, перемахиваем через высокие подоконники. Вперед, вперед!

Поздно ночью заняли какой-то цех — линии станков, ящики с готовыми деталями, на окнах щиты светомаскировки.

Командир роты старший лейтенант Ионов, туго затянутый ремнем, скомандовал:

— Отдыхать!

За цехом — широкий двор, на противоположной стороне его — низкое и продолговатое каменное здание. В том здании отстреливается третий батальон, а нам передышка.

При свете карманных фонарей сдираем с окон щиты, стелем их вдоль станков и первым делом раздуваемся, вытряхиваем пыль из ботинок и сапог.

Кто-то зовет меня — громко, на весь цех. Иду, спотыкаясь о тела, о вываленные из ящиков детали. В углу собрались наши, московские, — Вася Медведев, Сева Симонов, Бальберг.

— Жив? — спрашивает Симонов, поблескивая стеклами очков.

— Как видишь.

Ломаем колбасу, передаем друг другу галеты, сгущенку — все это, конечно, трофейное, взятое со складов, до которых еще не добрались наши тыловики. Кто-то сует флягу. Делаю глоток. Что-то очень крепкое. Кажется, ром. Я давясь от кашля. А ребята смеются. Нет, что ни говори, а все-таки здорово, когда рядом свои. Свои! До Зееловских высот никто и не знал друг

друга. Все мы попали в роту кто из запасного полка, а кто прямо с марша. Перезнакомились позже, когда дали передышку на кольцевой автострате, перед самым Берлином. И держимся по возможности вместе — не нами заведено в армии землячество.

Медведев, Симонов и я — почти ровесники, бывшие студенты московских вузов, Бальберг лет на десять старше каждого из нас, работал в Большом театре, балетмейстер. Выше среднего роста, с лицом античного грека, он был дьявольски красив и представительен даже в затасканной солдатской форме. Когда пришел к нам Ионов, то сразу же сделал Бальберга своим ординарцем, связным. Медведев, Симонов и я звали друг друга по имени: Вася, Сева, Вовка; Бальберга мы звали Бальбергом, хоть и знали его имя-отчество.

В ту ночь нам отчего-то было весело — то ли это была разрядка после напряженных боев, то ли ром сделал свое светлое дело. Мы смеялись, хлопали друг друга по плечам, не предполагая, что завтра днем одного из нас уже не будет на свете.

Я проснулся от страшного грохота, инстинктивно вобрал голову в плечи, открыл глаза. Рассвело. По цеху бежал Ионов и, размахивая пистолетом, кричал:

— Подъем! Подъем, мать вашу так! Занимай оборону! Живо!..

Следом за командиром роты лениво трусил старшина Катков — долговязый, худой и, как всегда, небритый.

— Ложись! Отстреливайся! — кричал из-за бетонных колонн Ионов.

В цехе нас стало вдвое больше. Как потом выяснилось, немцы выбили наш третий батальон из продолговатого здания, что напротив, и мы теперь объединились. Залегли у окон. Но двор был пуст и, как мне показалось, даже хорошо выметен дворником. Страшно хотелось пить. Но воды не было — в Берлине вообще было плохо с водой.

— Хочешь?

Поворачиваю голову — Медведев. В руках у него фляжка. Вспомнив запоздалый ужин, бросаю:

— Нет!

А он смеется:

— Бери, дура. Думаешь, ром?

Я сделал глоток — это была вода. Не успел передать фляжку, как чей-то голос над самым ухом:

— Вперед, товарищи, вперед!..

Зазвенело стекло, выбитое рукояткой пистолета, и на асфальтированный двор выскочил наш комбат Копаев в немецкой плащ-па-

латке, с перебинтованной головой. Выскакиваем за комбатом, бежим по асфальту, строчим из автоматов. Всё как во сне.

Мы выбили противника из продолговатого каменного здания, оказавшегося механическими мастерскими. В пылу атаки, было, вырвались за широкие, настежь распахнутые ворота, но немцы так зверски поливали трассирующими, что мы вынуждены были откатиться в мастерские.

Когда выносили раненых и убитых — их было человек семь-восемь, — откуда-то сверху, со стороны, раздались несколько выстрелов. Двое наших добровольных санитаров распластались на асфальте. Снайперская работа. И тут же из цеха вышли во двор Бальберг и Катков, волоча к нам большой термос.

— Бальберг! — кричим мы ему. — В темпе!

Он слышит наши голоса, машет рукой. Бальберг и Катков были от нас шагах в двадцати, когда сверху и со стороны раздался одиночный выстрел. Бальберг выпустил термос, схватился за щеку — приступ зубной боли, да и только. Но тут же упал. Старшина схватил его, поволок к нам. Мы со страхом ждали еще одного выстрела, но, видно, Катков уже был в мертвой для снайпера зоне, под навесом.

Бальберг был мертв. Его лица не узнать; видимо, разрывная пуля, влетев в рот или щеку, разорвалась в носоглотке. Мы подняли товарища на руки и отнесли в полуподвал мастерских, где остро пахло мазутом.

Ни Сева, ни Вася, ни я, ни Катков, у которого все еще дрожали руки, не произнесли ни одного слова. Выкурили по сигарете — слабенькой немецкой сигарете из эрзацтабака — и поднялись наверх. А там уже шумел Ионов: почему не прикрыли огнем Бальберга и Каткова?

— Прикроешь! — огрызнулся Сорокин, по-деревенски простоватый и прямой.

Командир второго взвода лейтенант Киселев, немолодой, медлительный, лишь удивленно пожмал плечами.

Мы невзлюбили нашего ротного с первого же дня. Это было еще на автострате. Выстроил нас — каблуки вместе, носки врозь — смотр, да и только! — вышел на середину, представился. Невысокий, какой-то прилизанный, он браво сказал нам:

— С такими орлами, как вы, я обязательно стану Героем!

В строю кто-то пробормотал:

— Посмотрим.

А после перебежки по обломкам моста через Тельтов-канал, когда Ионов так и не рискнул перебраться на другую сторону вместе со всеми, хотя постреливали мало и беспорядочно, мы ему вынесли наш солдатский невысказанный приговор: пижон и трус.

Вот и сейчас, отчитывая Сорокина и Киселева, он больше всего дрожал за себя, помня, как святцы, давнюю фронтовую примету: погиб ординарец, погибнет и командир.

Появился комбат. Он был бледен, марлевая повязка стала землисто-серой. Отозвав Ионов и взводных, ушел с ними в глубину мастерских, на совет.

А денек выдался знатный — солнечный, теплый, первый весенний денек. Мы сидели под навесом, неподалеку от входа в полуподвал, жевали колбасу, набивали диски патронами, писали письма. Все думали о конце войны, о родном доме, о близких, но никто об этом даже и не заикался. До финала — рукой подать. Доживем ли?

— На кой черт нам эти передышки! — проворчал вдруг Медведев, потирая длинный хрящеватый нос. — Шли бы да шли.

Прав Вася. Тяжелей всего было в эти короткие минуты передышек, когда можно было думать о чем-то ином, вспоминать.

Мы — Сева, я и покойный Бальберг — знали, что у Медведева большие неприятности в Москве: ушла к какому-то тыловику жена. Медведев учился на втором курсе режиссерского факультета киноинститута, женился, дуралей, перед самым уходом в армию. Ему особенно тяжело было во время передышек. Когда мы писали письма, он уходил прочь. Не из деликатности, конечно.

Меня, Медведева и Курбатова вызвали в мастерские, к Копаеву. Батальонный окинул нас коротким взглядом, попросил подойти к узенькому окну, за которым была неширокая улочка, а за улочкой — опоры какого-то огромного, недавно разбомбленного здания, меж которых груды, горы битого кирпича.

— Такое дело, хлопцы, — сказал нам с хрипотцой Копаев. — То, что вы видите, — это Ангальтский вокзал. Надо захватить там плацдармишко и продержаться до вечера. А вечером мы штурманем. Ясно?

— Ясно, — сказали мы дружно, но тихо.

Нашей тройке придали телефониста-корректировщика, и мы, набив свои вещмешки боеприпасами, сделали бросок через улочку. Вле-

тев с ходу в какую-то комнату, без потолка, с пробитыми, полуобрушенными стенами, залегли. Немцы били из автоматов, упало несколько гранат. Мы не отстреливались — это делали за нас те, кто остался в мастерских. Мы торопливо разгребали кирпичи, чтобы хоть как-то обезопасить себя. Кирпичи были легкие, пустотелые, и мы за просто расправлялись с ними. Зато и для вражеских пуль они не были серьезным препятствием.

Окопались. Потихоньку осмотрелись. Перед нами самый настоящий лес опорных колонн бывшего вокзала; кое-где уцелели междуэтажные перекрытия, торчала искореженная арматура. Ни крыши, ни стен. Правее от нас — широкая яма-пасть. Это вход в метро. А за метро — широкая привокзальная площадь. Повсюду — горы, горы кирпича... Почему-то вдруг вспомнилась подмосковная станция Ожерелье, где прошло мое детство-отрочество, промелькнуло перед глазами губастое лицо дружка моего Аркашки Черепова, отец которого работал техноруком кирпичного завода. Мы любили играть среди штабелей сохнувшего под навесами кирпича-сырца. Прятались друг от друга в этих катакомбах, делали внезапные налеты. Однажды нам не повезло: кто-то из пацанов завалил штабель. Аркашкин отец по очереди ловил нас на улице и давал ремня при всем честном народе...

Убедившись, что автоматными очередями нас не пронять, немцы швырнули в нашу сторону десятка два мин. Пыл. Грохот. И голос Курбатова:

— Ребята, немцы!

Они выбегали из метро, пытались вклиниться между нами и зданием мастерских. Не сговариваясь, ударили по ним из автоматов. Немцы откатились, оставив на улице стонущего раненого.

Телефонист наш кричал:

— Двадцать седьмой! Двадцать седьмой! Дайте из минометов по метро! Дайте!..

Но дали сначала нам: вой, визг осколков, пыль, грохот.

Бросаю взгляд на Курбатова. Что с ним? Почему так холодно смотрят на меня его глаза? В чем я провинился перед этим пожилым рябоватым человеком? Не сразу я догадался, что он мертв.

Немцы еще раз попытались вырваться из метро. Не удалось. И снова — мины, грохот, барабанный дробь осколков. Но вот и наши ударили. Хорошо ударили! Прямо в квадрат подземки.

Наступило затишье. Стонал раненый немец.

Телефонист крикнул Медведеву, которому удобнее всех было взять на прицел раненого:

— Добей его!

Медведев поднял было автомат, но стрелять не стал.

Стоны раненого выматывали душу. Видимо, он был в забытье. Но когда приходил в себя, что-то просил, умолял, ругался. И снова стонал.

— Добей его! — крикнул еще раз телефонист, парень здоровый, горластый. — Видишь, как мучается!

Но стрелять не пришлось — рядом с немцем взорвалась мина, и он умолк.

Мы пролежали в комнате-ловушке часов пять-шесть. Нас обстреливали из-за колонн, били по нашему насквозь продуваемому пятчку из минометов. Порвало связь, у меня выбило из рук автомат — благо был в запасе курбатовский, но мы сидели и сидели в своем каменном мешке. А к вечеру наши пошли в атаку. Интересное дело, немцы почти не сопротивлялись. Мы взяли вокзал, проскочили еще одну неширокую улочку и ворвались в жилые дома — все ближе и ближе к центру города.

Комбат дал команду закрепить в домах за вокзалом, пополнить боезапас. Было ясно, что ночью пойдем дальше — через привокзальную площадь и по широкой улице, стрелой уходящей в самое сердце Берлина. Скоро, скоро всему этому конец!

Мы таскали ящики с патронами из здания мастерских через груды кирпича, называемые Ангальтским вокзалом. Улочка за вокзалом простреливалась трассирующими пулями. Они летели, как шмели, — зеленые, красные, белые. В ящике добрых полтора пуда. Не побежишь с таким грузом. Мы хитрили — это называлось солдатской смекалкой: нашли в мастерских веревку, один конец ее привязывали к ящику, а другой швыряли ребятами, что были на той стороне улочки.

Появились Ионов и комвзводатри, по виду старик, худой, костлявый. Возле командира роты вертелся Юрка-музыкант. Мы звали этого молодого солдата музыкантом потому, что он очень хорошо играл на губной гармошке.

— Давай, давай быстрее! — подгонял нас Ионов.

Вместе с Катковым мы приволокли еще пару ящиков, присели передохнуть. Вдоль улочки все летели и летели пули-шмели.

— Катков, — подошел к нам Ионов, поигрывая вороненым «вальтером», — передай Киселеву, что я задержусь. Из дома — ни шагу.

— Передам, — пробурчал старшина, когда Ионов, взводный-три и Юрка-музыкант направились в сторону мастерских, добавил. — Ждет темноты... Пошли.

В сгущающихся сумерках мы переправили свои ящики на ту сторону, благополучно перебежали сами.

Дом был целиком наш. Под ногами — хруст стекла, стреляные гильзы. Отыскал Медведева и Симонова. Они с комфортом разместились в спальне какой-то квартиры — прямо в сапогах и грязных плащ-палатках легли на светлые покрывала широких кроватей. Интеллигенция!

— Живы? — весело спрашиваю я; слово «живы» было для нас словно пароль.

— Живы! — отвечает Симонов. Медведев спит, тихо посапывая. Присаживаюсь на постель к Симонову, говорю:

— Севка, как думаешь, отпустят нас из армии после войны?

Симонов смеется, снимает очки. Глаза у него карие-карие, добрые, какие-то телачьи.

— Вернемся домой, — говорю, — отдохнем, а там — в свои институты.

Симонов учился в архитектурно-строительном, а жил у сестры на Таганке.

— Не знаю, — говорит он, надевая очки. — Житуха в тылу неважная. Был я у матери, в Загорске. Пятьсот граммов хлеба и фунт прованского масла... А в общем, не знаю... Доживем — увидим.

Было уже темно, когда нас собрали в просторном подвале-бомбоубежище.

Комбат стоял у выхода, курил, зажав сигарету в кулаке. Копаеву лет двадцать восемь — тридцать. Из железнодорожников, техник. Может быть, потому что я вырос на железнодорожной станции, железнодорожники мне по душе. Подхожу к комбату, прошу закурить. Он вынимает небольшой серебряный портсигар, сует его мне.

— Бери. И портсигар бери.

— А портсигар-то зачем? — удивляюсь я.

— Заслужил.

Я смеюсь, очень обрадованный похвалой, — невелик подарок, а все-таки приятно. Зажигаю карманный фонарь, рассматриваю чернь, раздвинутой щелкаю гладкой холодной крышкой.

— Спасибо, товарищ капитан.

Со стороны вокзала перебежало несколько солдат. Комбат спросил у них:

— Ионов все еще там?

— Там, товарищ комбат. Грозит нас горячим ужином накормить.
— Ясно.

Я ушел в подвал. Народу — битком. Забравшись в какой-то угол, снял вещмешок, сунул в него портсигар — вывалится ведь из кармана, притулился к стене. Незаметно заснул. Вскочил я от шума голов, от выстрелов за стеной.

Кто-то с надрывом кричал:

— Да рви ее гранатой! Гранатой!

Но вот все утихло, замерло — и выстрелы и голоса.

Проталкиваюсь к выходу, натыкаюсь на Каткова.

— Что случилось, старшина?

Тот молча достал кисет, скручивая папироску, ответил:

— Ионов-то наш кинулся через улицу. И угодил в подвал к немцам... Герой.

— И Юрка и взводный-три? — Меня охватывает нервная дрожь.

— И онé — тоже.

Я повернулся и пошел прочь. Я забился в свой угол и заплакал. Такое со мной было впервые.

Поздно ночью мы выскочили на предвокзальную площадь. Бежали и бежали по асфальту, которому, кажется, не было конца. Сбоку, слева строчит пулемет, взлетают в небо, озаренное пожарами, ракеты. Но вот и высокое здание из стекла — эссовский клуб. Бьем по стенам-стеклам, врываемся в здание. Сорокин кричит: «За мной!» Задыхаясь от бега, от волнения, поднимаемся на второй этаж, на третий. Сверху стреляют немцы. Но нас много. Тот, кто бежит впереди, не видит падающих внизу. Влетаем в бильярдную. Горят свечи, на зеленом сукне — желтые шары и труп генерала с пистолетом в руке. Застрелился.

Бой затихал.

У меня кончились патроны. Пытаюсь нащупать на плече лямку. Ни лямки, ни вещмешка. Идиот, оставил вещмешок в подвале! И патроны, и новенькие портянки, и портсигар — комбатовский подарок!

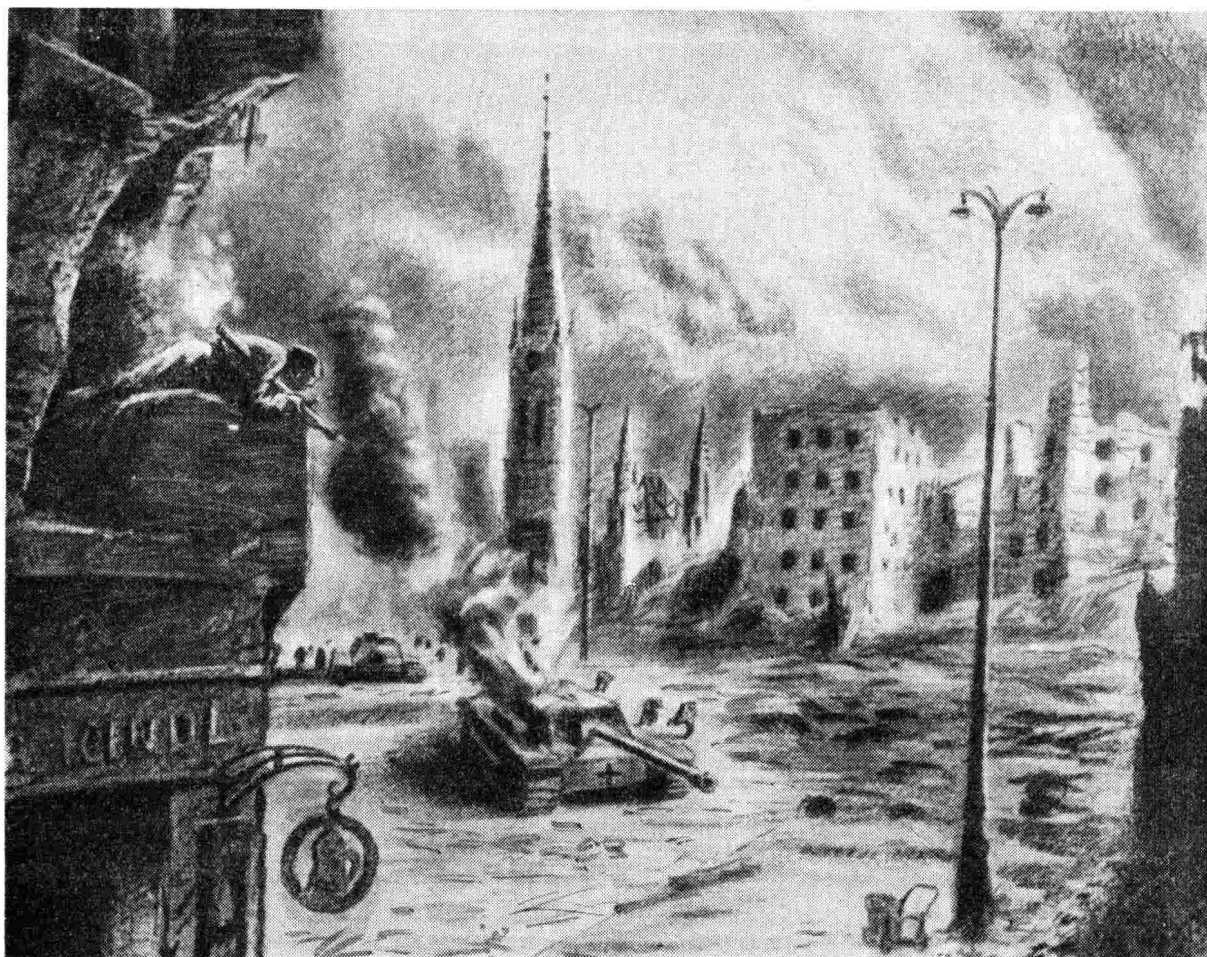
Скатываюсь по лестнице, вылетаю на площадь, где уже суетятся артиллеристы.

Кто-то спрашивает:

— Куда?

Отвечать некогда — спотыкаюсь, падаю. И снова бегу. Вот и вход в подвал. Ноги сами несут меня вперед. Стоп! А не тот ли это подвал, куда по ошибке ворвался Ионов? Оглядываюсь. Нет, вроде наш. Включаю фонарь, спускаюсь в бомбоубежище и нахожу свой вещмешок. Быстрее, быстрее назад!.. Перебегаю площадь и ви-

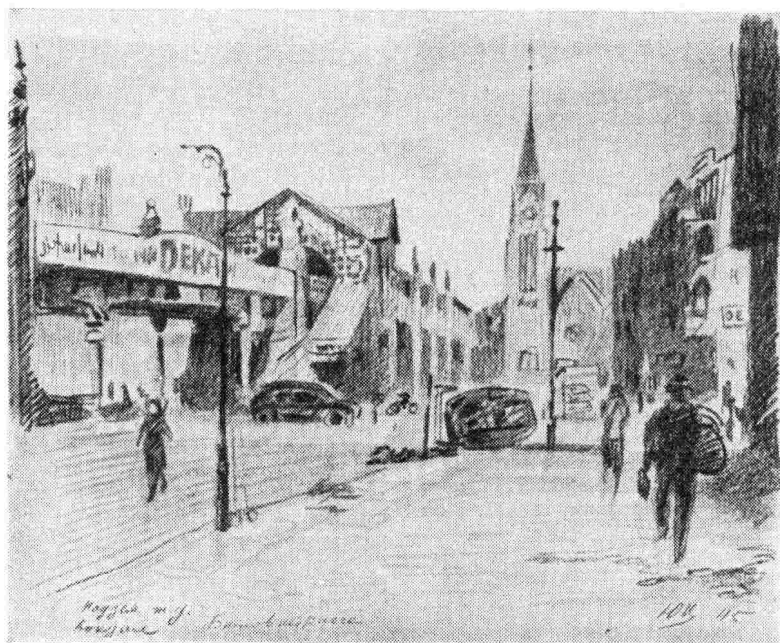




На рисунках:

(слева сверху) артиллеристы ведут бой на одной из улиц Берлина; (слева внизу) у входа в метро на Франкфуртераллее; (справа сверху) советские воины отражают контратаку фашистских самоходок на Александрплац; (справа внизу) вокзал надземной железной дороги в центре Берлина.

Из фронтового альбома
Ю. ЦИШЕВСКОГО.



Берлин, апрель 1945 год.

жу, как наши уже рассредоточиваются вдоль стен улицы, которая уходит к центру города.

— Вперед, товарищи, вперед!..

Улица длинная, уходит куда-то в темноту. Нас поддерживают танки и артиллерия. Нажимаю на спусковой крючок. Автомат в моих руках оживает, но выстрелов не слышно: грохот артиллерии и лязг танков перекрывают все звуки.

Впереди — темный силуэт танка. Откуда он тут взялся? Не успеваю опомниться, как прямо в лоб — пламя и грохот. Так это же немецкий танк! Стоит и бьет по улице, по нашим танкам.

Еще один орудийный выстрел. И огненная трасса летящего фаустпатрона. Горит немецкий танк, вспыхивает, как свеча, и наша тридцатьчетверка.

Мы занимаем первый этаж углового дома. Нестерпимо бьет в нос лавандой. Под ногами лужи, битое стекло. Парикмахерская!

Комбат передает по цепи:

— Закрепляйся!

Мы приседаем на корточки перед окнами и стреляем, стреляем. Рядом со мной Киселев, он теперь вместо Ионова. Спрашивает:

— Какое сегодня число?

Я смеюсь:

— Не все ли равно? Тридцатое, по-моему.

На полу разрывается фаустпатрон. В ушах — звон. Я ничего не слышу. Прикладываю ладонь к правому уху, прыгаю на одной ноге, как после купания. Не помогает. Стреляю — просто так, чтобы услышать какие-то звуки. Плохо, но слышу!

Загорелся еще один танк — наш. Но не на той улице, по которой мы бежали к центру, а слева, в переулке. Мы видим, как танкисты открывают люк и скатываются на мостовую. Один из них обжат пламенем; упав на землю, пытается сбить огонь. Кто-то из наших лезет через окно, бежит к танкисту.

С чердака строчит автомат, и наш боец падает, так и не добыв до танкиста. Да и танкисту помощь теперь не нужна — он мертво пригвожден к земле той же автоматной очередью.

Утром, когда уже совсем рассвело, к нам в роту пробрался лейтенант Корсаков, комсорг полка. Высокий, стройный, розовощекий, в белом подворотничке и с надраенной пряжкой пояса; он крикнул прямо с порога:

— Товарищи, наши взяли рейхстаг! Ура!

В ушах моих все еще звенело, но эти слова были первыми, которые

я услышал после того растреклятого фаустпатрона.

Бойцы тоже крикнули «ура», кто-то пальнул в небо.

Корсакову предложили кресло перед разбитым зеркалом:

— Побрить-постричь?

Мы смеялись. Скоро всему конец — дыму, копоти, кирпичной пыли, которая незримо витала в воздухе и сушила горло. И пострижемся и побреемся не в шутку, а на самом деле. Нет, сначала отоспимся. Никогда в жизни я не хотел спать так, как тогда в Берлине.

Однако праздничное настроение у нас как рукой сняло, когда мы снова двинулись вперед. На этот раз продирались сквозь немецкие автоматные очереди не по улице, а по дворам. Лезли через какие-то завалы, отстреливались из-за углов, из-за обшарпанных, полуразрушенных стен. Весь квартал в руинах — видно, здорово поработала здесь наша авиация. Немцы сопротивляются с яростью обреченных.

В одном дворе окликает меня солдат из второго взвода — я помню его по автостраде, где он, дурачась, катал нас на трофейном «оптеле». Сальников его фамилия или Сотников, забыл.

— Помоги, студент.

Согнувшись, подбегаю к нему.

— Ранен?

— Вроде бы.

Лицо бледное, в глазах — лихорадочный блеск. Еле-еле шевелит правой ногой. Под коленкой — кровавое пятно. Я лезу в вещмешок, разрываю индивидуальный медпакет, говорю ему:

— Нож есть?

— Есть, — отвечает он, показывая на бок, где змеится цепочка.

Дергаю за цепочку, к которой привязан нож. Собираюсь им полоснуть по голенищу сапога. А солдат кричит:

— Не трожь!

— Ты что, очумел?

— Не трожь! Кто мне даст такие сапоги?

Я смотрю на его кожаные, без единой складки немецкие сапоги, и меня берет злость:

— Вот оттяпают ногу...

— Тащи!

Я стаскиваю с него сапог. Он морщится, поскрипывает зубами. Но терпит, терпит, разнесчастный собственник! Сапог падает, из него струйкой стекает кровь. Я быстро разрываю раненому штанину, накладываю из бинта жгут, а другим бинтом перевязываю рану.

— Сиди тут, жди санитаров.

— Ладно. Топай.

Делаю несколько шагов в сторону, однако Сальников — или Сотников — зовет меня. С досадой оборачиваюсь:

— Что?

— Спасибо, студент. Ни пуха тебе, ни пера!

— К черту! — отвечаю я, и мне отчего-то становится весело, легко на душе.

Догоняю Киселева — рота ведет бой в доме, что выходит на улицу, по которой наступали ночью. Падаю на кирпичи рядом с Медведевым. Немцев не видно, хотя пальба кругом страшная. Сквозь полуразрушенную стену виднеется изгородь из массивных остроконечных пик, а за изгородью — серая глыба огромного здания.

— Что за дом? — спрашиваю у Медведева.

— Имперская канцелярия. Говорят, там сам Гитлер окопался. И Геббельс и Ева Браун.

— Брось врать...

— За что купил, за то и продаю.

В нашей кирпичной коробке мы застряли до самого вечера. Стал накрапывать дождь, посвежело. А мы — в одних гимнастерках. Худо будет, если застрянем здесь, под дождем.

Однако ночь нам суждено было провести в подвале этого же дома. Мы забрались туда все, кроме троих, что остались наверху, в боевом охранении. Киселев пересчитал нас, загибая пальцы. Ровно двадцать, не считая Сорокина, прибежавшего к нам попрощаться, — его перевели командиром роты в другой батальон. Во время передышки, на автостраде, нас было сто четыре. Далеко не занимательная арифметика.

В подвале сыро, но тепло. Вальяются какие-то ящики, стружка. Откуда-то появились свечи — натыкали их по всем углам. Прямо против каменных ступеней обособился телефонист — тот самый, с которым глотали пыль в Ангальтском вокзале. Узнал меня, крепко стиснул мою руку. Улыбается. А тогда злой был, как дьявол.

Появился Катков. Приволок два эмалированных ведра, прикрытых крышками, и вещмешок сухарей. В одном ведре — разбавленный спирт по случаю Первомая, в другом — мясной борщ и рисовая каша с изюмом, первое и второе, навалом. Мы клянем старшину на чем свет стоит, а ему хоть бы что:

— Дак ведь две руки.

— Оставил бы спирт!

— Нельзя без спирту. Праздник.

Смеемся, что с него возьмешь! Конечно, к ведру с борщом и кашей никто не притронулся, как, впрочем, и к ведру со спиртом.

В первом часу ночи, когда мы с Медведевым и еще одним бойцом — продрогшие, вымокшие, спустились из боевого охранения в подвал, зазвонил телефон. Киселев взял трубку, отозвался. Отвечал он однообразно, скупое. Все мы смотрели на него — невысокого, в мешковатой гимнастерке из английского сукна, седого, усталого. Какую дадут нам команду? Неужели вылезать из этого подвала в дождь, в темь?

Киселев передал трубку телефонисту, сел на ящик, проговорил: — Ровно в два — артподготовка. Продлится до пяти. А в пять — штурм имперской канцелярии. Отдыхайте.

Катков, собираясь вернуться на КП батальона, сказал:

— Может, письмо у кого есть?

Я вспомнил, что не писал домой целую неделю.

— Погоди, старшина.

Но не только я захотел написать письмо — все зашумели:

— Погоди! До артподготовки еще целый час!

Симонов дал мне листок бумаги и толстый коричневый карандаш. Я пристроился возле телефониста, написал, что жив-здоров, что все пока хорошо, что Берлину — капут, что еще одна атака, и мы уже не будем считаться фронтовиками. Сложил листок в треугольник, написал адрес. Не знал я тогда, сколько тревожений доставит это бесхитростное солдатское письмо моей матери и безнадежно больному отцу. Они получают его в день Победы. И адресовано оно будет не Ивану Прокофьевичу, а мне. Мне самому! Кругом будут смеяться, ликовать люди — победа, победа! А в письме — еще одна атака. Чем-то она закончится для меня, единственного сыночка?..

Первые разрывы снарядов раздалась ровно в два. Все загудело, задрожало вокруг. Артиллеристы били по имперской канцелярии, по Тиргартену — он от нас метрах в трехстах, левей; нет-нет да и залетал снаряд-недоносок и в наш двор. С потолка сыпалась земля, дрожало пламя свечей, позвякивали крышки ведер, которые приволок сюда недотепа-старшина. У меня и без того гудело в ушах, но тут стало просто невмоготу. Мы сидели, лежали на стружках молча, не глядя друг на друга. Один Киселев был на ногах — прохаживался по подвалу. Туда-сюда,

словно маятник. О чем он думал, этот добродушный, далеко не военный человек? О предстоящей атаке, из которой нам вряд ли удастся выкарабкаться живыми? О семье? О школе, где он преподавал русский язык и литературу? О трагикомедии, которая зовется войной?..

Там, наверху, продолжала гудеть канонада. Скорей бы она кончилась! В пять часов будет уже светать, и мы еще поспорим с немцами: жить нам или умирать. Скорее бы, скорей!

В четыре с минутами артподготовка стала утихать. Смокла.

Киселев озадаченно уставился на телефонный аппарат, еще раз посмотрел на часы и послал Медведева и еще кого-то наверх. Мы все поднялись, зашумели.

— Спокойно, товарищи, — поднял руку Киселев. — До атаки целых пятьдесят минут.

На ступеньках лестницы торопливые шаги:

— Товарищ лейтенант, с немецкой стороны требуют офицера!

Киселев вскинул голову, замер на мгновение, затем спросил:

— Что им нужно?

— Не могу знать. Требуют.

— Хорошо, я сейчас. — Киселев кивнул мне, еще кому-то, одернул гимнастерку. — Идемте.

Мы вышли из подвала. Дождя не было, и едкая кирпичная пыль по-прежнему витала над землей. Добравшись до боевого охранения, Киселев крикнул в темноту:

— Кто просит советского офицера?

С той стороны улицы ответили на чистейшем русском языке:

— Парламентеры. У нас текст заявления командующего берлинской группой войск, адресованный господину маршалу Жукову.

— Переходите с поднятыми руками.

Кто-то из бойцов включил фонарь, и в его неярком луче мы увидели немцев с белым шелковым флагом. Пока они перебирались на нашу сторону, Киселев приказал Медведеву спуститься в подвал и доложить обо всем комбату.

Немцев встретили, окружили плотным кольцом.

— Обыскать! — негромко распорядился Киселев.

Оружия у парламентеров не оказалось, и мы тотчас же повели их в наш подвал. Их было четверо — трое пожилых, худощавых, в штатском, правда, у одного из них сквозь пальто четко проступали погоны, а четвертый — мальчишка-фольксштурмовец в каске.

Телефонист доложил Киселеву:

— Комбат сейчас будет здесь. — Хорошо.

В руках одного из парламентеров была большая коричневая папка. Киселев кивнул на нее:

— Это?

— Яволь, господин офицер.

— Дайте.

Немец поморщился, но папку отдал. Киселев положил ее на ящик рядом с телефонным аппаратом, дернул тесемку. В папке лежали аккуратно сколотые скрепками бумаги: один экземпляр написан на машинке по-немецки, другой, от руки, по-русски. Киселев пытался прочесть то, что было написано от руки, но зрение, видимо, было у него не очень хорошее. Он повернулся, передал листки мне.

— Читайте.

И я прочитал. Это был текст капитуляции Берлина, подписанный генералом Вейдлингом. Мы не знали, что немцы уже заявили о сдаче города по радио (поэтому и прекратился артобстрел) и что этот текст как бы документально фиксировал то, что произошло час назад. Одно мы знали: войне конец. Я читал и не узнавал свой голос — то ли оттого, что волновался, то ли от нестерпимого звона в ушах. Пока я читал, никто не проронил ни слова. Но вот и подпись: Вейдлинг. Киселев отобрал у меня листки, вложил их в папку, а папку передал человеку, у которого сквозь пальто проступали погоны.

В подвал вбежал Копаев, следом за ним — комсорт полка Корсаков, еще кто-то. Комбат подошел к немцам, коротко козырнув, сказал:

— Идемте.

И они гуськом стали подниматься наверх. Перед тем, как оставить подвал, Копаев крикнул:

— Киселев! Бойцов с переднего края не снимать!..

Мы стояли и молчали, ошеломленные происшедшим больше, чем нас ошеломляли все бон, вместе взятые, чем все артподготовки и бомбежки.

И тут вдруг кто-то сказал:

— А не выпить ли нам того спирту, что принес старшина?..

Кто-то толкнул меня в бок. Оглядываюсь: Симонов.

— Жив?

— Жив, Сева, жив.

Мы вышли с ним на улицу. Светало. По небу плыли тяжелые облака. По-прежнему пахло кирпичом и гарью. Но вот потянул ветерок — оттуда, со стороны Тиргартена, и в привычные запахи войны влился еще один — тонкий, едва уловимый. То был запах цветущей сирени.

Борис
Яковлев

К 150-летию
со дня рождения
Карла Маркса

МАРКС И МОЛОДЕЖЬ

Публицистические
заметки

Выбор профессии... Нет человека труда, перед которым не возникла бы рано или поздно эта важнейшая жизненная задача. Сколько горя может привести ошибочный выбор специальности, неправильная самооценка способностей, запросов, дарований — словом, неумение найти свое призвание. Здесь-то и пересекаются интересы личности и социалистического общества, которому далеко не безразлично, трудится его гражданин по природному призванию или безотчетному влечению, по способностям или своекорыстному расчету...

— Возможность такого выбора является огромным преимуществом человека перед другими существами мира, но вместе с тем выбор этот является таким действием, которое может уничтожить всю жизнь человека, расстроить все его планы и сделать его несчастным. Seriously взвесить этот выбор — такова, следовательно, первая обязанность юноши, начинающего свой жизненный путь и не желающего предоставить случаю самые важные свои дела.

Опираясь на исторический опыт человечества и первые самостоятельные наблюдения, автор цитируемого здесь «Размышления юноши при выборе профессии» далее замечает:

— Великое окружено блеском, блеск возбуждает тщеславие, а тщеславие легко может вызвать воодушевление или то, что показалось нам воодушевлением; но того, кого увлек демон честолюбия, разум уже не в силах сдержать, и он бросается туда, куда его влечет непреодолимая сила: он уже больше не выбирает сам своего места в обществе, а это решают случай и иллюзия... Если же мы избрали профессию, для которой у нас нет необходимых способностей, то мы никогда не исполним ее достойным образом и вскоре с чувством стыда должны будем убедиться в своей собственной неспособности и сказать себе, что мы — бесполезные существа на свете, что мы являемся такими членами общества, которые не могут осуществить свое призвание.

Строки эти принадлежат юноше всего лишь семнадцати лет — «юноше, обдумывающему житье». Правда, этого юношу, размышлявшего «при выборе профессии», звали КАРЛ МАРКС. После его кончины

Энгельс сказал, что человечество «стало ниже на одну голову и притом на самую значительную из всех», какими оно тогда обладало. Уже юношеские работы Маркса показали, что человечество с его рождением стало еще на одну голову выше.

Молниеносное духовное созревание — типичная особенность гения. В семнадцать лет Маркс — студент юридического факультета Боннского, а год спустя — Берлинского университета. В восемнадцать он переводит на немецкий труды философов Древней Греции и Древнего Рима, изучает английский и итальянский.

Марксу двадцать один, когда он пишет докторскую диссертацию на труднейшую тему: «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». В 23 года Маркс дебютирует как публицист. В его «Заметках о новейшей прусской цензурной инструкции» революционная страстность сочетается с глубиной и свежестью философской мысли, а энциклопедическая широта — с непревзойденным и поныне полемическим мастерством, беспощадным к реакции и мракобесию, казенному самодовольству и чиновничьей тупости.

В двадцать четыре года Маркс — главный редактор «Рейнской газеты», первого революционно-демократического органа печати в Германии. Вскоре вместе с Фридрихом Энгельсом он заканчивает философские памфлеты «Святое семейство...» и «Немецкая идеология», развивает основополагающие принципы разработанного им диалектического и исторического материализма, далеко опережая науку своего времени.

Марксу нет и тридцати, когда он пишет, опять-таки в сотрудничестве с Энгельсом, «Манифест Коммунистической партии». В нем, как скажет шесть десятилетий спустя Ленин, «с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое мирозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовой борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества».

«ВЗОР ОРЛИНЫЙ...»

Марксу и марксизму посвящена необозримая научная и публицистическая литература. Не повторяя ее общеизвестных выводов и материалов, я коснусь в этих заметках лишь одной темы, быть может, небезынтересной читателям «Юности».

Тема эта сформулирована в заглавии: Маркс и молодежь. Его заветы и советы, пожелания и предостережения юным соратникам по революционной борьбе.

Как это ни заманчиво, мы здесь не будем сколько-нибудь подробно рассказывать о молодом Марксе — том, тогда еще совсем черноволосом, а не патриархально седом сыне Трира «с неистовой душой», который, по шутовой поэтической характеристике еще более юного Энгельса,

— ...не идет, — бежит, нет, катится лавиной,
Отвагой дерзостной сверкает взор орлиный,
А руки он простер взволнованно вперед,
Как бы желая вниз обрушить неба свод...

Автору этой сатирической «христианской героической поэмы в четырех песнях», пространно озаглавленной «Библии чудесное избавление от дерзкого покушения, или торжество веры, сиречь ужасная, но правдивая и поучительная история о блаженной памяти лиценциате Бруно Бауэре, иже, диаволом соблазненный, от чистой веры отпавший, князем тьмы ставший, наконец, был уволен в отставку», в 1842 году не исполнилось и двадцати двух. Он, однако, уже тогда проник в поистине орлиный полет мысли своего старшего друга, по заслугам оценил его неутомимые духовные силы, и впрямь готовые «штурмовать небо» попов и реакционеров.

Наследие Маркса — это огромный мир со своими горными вершинами и бездонными океанами, лесами и нивами, городами и заводами, вырабатывающими, по слову поэта, счастье человечества. Недаром сам Маркс шуточно говорил о себе дочери Лауре, которую — в разгар ее свадебного путешествия! — просил прислать в Лондон новые парижские издания:

— Ты, наверное, подумаешь, мое дорогое дитя, что я очень люблю книги, если беспокою тебя из-за них в такой неподходящий момент. Но ты глубоко ошибаешься. Я только машина, обреченная пожирать их, а затем выбрасывать в виде измененной формы в мусорный ящик истории.

Письмо это впервые опубликовано по-русски только в 1964 году. Мы, однако, и раньше знали, как неутомимо трудился Маркс, раскрывая «в видоизмененной» его научным гением форме историю, экономику, культуру своего времени. Отмечу кстати, что в законченное в 1966 году новое — второе — издание Сочинений Маркса и Энгельса впервые включено более шести сотен их ранее не публиковавшихся писем, каждое из которых содержит увлекательные страницы исторической летописи революции. Лишь к немногим из них обратимся мы в этих кратких заметках.

Маркс жил, боролся и трудился, любил и ненавидел во имя пролетарской революции. В ней, во всех ее многообразных формах — от баррикад Парижской коммуны до мирного завоевания политической власти рабочим классом — видел он исторический путь для человечества, мечтающего освободиться от язв капитализма с его эксплуатацией человека человеком и войнами народов против народов, с его безработицей и кризисами, коррупцией и конкурен-

цией, чудовищным обогащением немногих и обнищанием, а то и разорением классов или даже наций, попадающих в колониальную зависимость.

Юный духом, ничего не потеряв из юношеской неукротимости и отваги, Маркс, естественно, старел физически, истерзанный сверхчеловеческим по напряжению трудом, лишениями, и, как сказали бы сейчас, почти непрерывными эмоциональными перегрузками, порождаемыми то бессовестной клеветой, то яростной травлей.

Мужественно преодолевая страдания и недуги, Маркс работал. Все свои лучшие надежды он связывал с революционной молодежью. Преемников и наследников старой гвардии коммунизма он воспитывал в духе не только политических, но и неразрывно связанных с ними нравственных идеалов революции.

Ни Маркс, ни Энгельс, ни Ленин, которого друзья называли «Стариком», когда ему не было и двадцати четырех, так и не стали стариками в общепринятом смысле этого малоприятного слова. Основоположникам нашего учения были чужды старческое брюзжание и неверие, старческая неприязнь к молодежи и самомнение.

Напомним, что именно Марксу принадлежит убийственно меткая характеристика политической старости, созданная на историческом примере прусской буржуазии середины прошлого века:

— ...Без веры в себя, без веры в народ, брюзжа против верхов, страшаясь низов, эгоистичная по отношению к тем и другим и сознающая свой эгоизм... с фразами вместо идей, боящаяся мирового урагана и эксплуатирующая его в свою пользу; лишенная всякой энергии, представляющая собой сплошной плагиат, она пошла, потому что в ней нет ничего оригинального, она оригинальна в своей пошлости, она торгуется сама с собой, без инициативы... без всемирно-исторического призвания — точно старик, над которым тяготеет проклятие, осужденный на то, чтобы извращать первые молодые порывы полного жизни народа и подчинять их своим старческим интересам, — старик без глаз, без ушей, без зубов, полная развалина...

В противоположность жалким «героям» этой характеристики, деятелям буржуазной реакции, Маркс, как вслед за ним и Ленин, никогда не извращал «первые молодые порывы». Он бережно и заботливо их поддерживал. А заодно и критиковал, когда они заслуживали критики суровой, но справедливой, когда молодые революционеры сбивались с правильного пути или уже в юности обнаруживали типично старческие доктринерство, сектантство, догматизм.

«РЕШЕНИЕ ЗАГАДКИ ИСТОРИИ...»

Аа, Маркс горячо любил молодежь с ее юношеской страстью, энергией, инициативой — всем, что составляет завидное достоинство молодости. И любовь эта была, как всё в Марксе, действенной, лишенной даже тени сентиментальности. Через три десятилетия после кончины Маркса самый последовательный продолжатель его революционного дела высмеял платоническое понимание любви — «сопро-вождающееся... только вздохами».

Отнюдь не платонически любил Маркс молодежь. Поль Лафарг — зять и ученик автора «Капитала» — вспоминает о зиме 1865 года в Лондоне, куда он приехал по поручению парижской организации Международного Товарищества Рабочих (I Интернационала):



Карл МАРКС — студент.

Художник И. Гринштейн.

«Мне было тогда 24 года; всю свою жизнь я не забуду того впечатления, которое произвела на меня эта первая встреча. Маркс тогда прихварывал и работал над первым томом «Капитала», который вышел только два года спустя... Он опасался, что ему не придется довести до конца свою работу, и с удовольствием принимал молодых людей. Он говорил: «Я должен готовить людей, которые после меня будут продолжать коммунистическую пропаганду».

Нашим современникам суждено историей воплотить идеалы научного коммунизма, в котором двадцатилетний Маркс, работая над экономическо-философскими рукописями 1844 года, находил «подлинное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью... между свободой и необходимостью...»

Коммунизм, заявлял тогда Маркс, — «решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение».

Уже в то время Маркс со всей его идейной непримиримостью выступал против так называемого казарменного коммунизма, не имеющего ничего общего с политическими принципами и нравственными критериями коммунистического общества, основанного на изобилии материальных и духовных средств жизни.

Словно предвидя нынешнюю зловещую карикатуру на коммунизм в исполнении маоистов с их «пролетарской культурной революцией», которую следовало бы несколько точнее именовать «мелкобуржуазной антикультурной контрреволюцией», Маркс высмеивает лжекоммунистических «уравнителей» и ог-

раничителей, которые хотят «пассивно абстрагироваться от таланта» во всех сферах его проявления — от науки до искусства, от живописи до спорта.

И Маркс, будто имея в виду современное хунвейбиновское надругательство над культурой, ее деятели и памятниками, ее сокровищами и традициями, подчеркивает, что подобный, как сказали бы сейчас, антикоммунизм выдает себя за его «революционное» и «пролетарское» воплощение, а исходит «из абстрактного отрицания всего мира культуры и цивилизации, из возврата к неестественной простоте бедного и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее».

Это, как известно, и происходит в маоистском Китае, где «ревизионизмом» объявляются попытки поднять уровень материальной жизни народа, а голодная нужда рассматривается как лучшая и ничем другим не заменимая школа «коммунистического перевоспитания».

«ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...»

Все в Марксе противостоит китаизированной аракечевщине, которая в ее оригинале полутора вековой давности по крайней мере не выдавала крепостнические поселения за социалистические фаланстеры, то бишь «народные коммуны». Ведь это в них личное достоинство, отнятое у людей труда, возмещается уже не библейской чечевичной похлебкой — традиционным меню отступничества, — а горстью риса. Или ее куда менее питательными духовными эрзацами — печально знаменитыми цитатниками в обложках из алого дерматина.

Двадцатилетний Маркс в написанной совместно с Энгельсом книге «Святое семейство, или Критика критической критики», полвека спустя законспектированной в Берлине Лениным, устремляет духовный взор в коммунистическое будущее человечества:

— Если человек черпает все свои знания, ощущения и прочее из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек в нем познавал и усваивал истинно человеческое, чтобы он познавал себя как человека.

И Маркс в 1844 году — за четыре года до «Манифеста Коммунистической партии» — требует «предоставить каждому необходимый общественный простор для его насущных жизненных проявлений».

— Если характер человека создается обстоятельствами, — пишет он, — то надо, стало быть, сделать обстоятельства человеческими.

Сделать обстоятельства человеческими означает, другими словами, подчинить их задачам расцвета всех сторон человеческой личности. Или, говоря языком молодого Маркса, объявить и признать «высшей сущностью человека самого человека».

Но для этого наша молодежь должна, конечно, подавить в самой себе, в своем собственном сознании, общественном и личном поведении все бесчеловечное, античеловечное, а заодно и... сверхчеловечное. Барство и хамство, зависть и мстительность, стяжательство и тщеславие, своекорыстие и карьеризм — все эти и другие порождения старого мира молодежь призвана ненавидеть и презирать, как ненавидел и презирал их Маркс.

«ЧЕЛОВЕК В ПОЛНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА»

Молодость — лучшая пора первой любви. Пусть не всегда самой прочной и выдерживающей испытания временем, но особенно светлой и радостной, всепоглощающей. Маркс пронес через всю жизнь огромное чувство к своей избраннице — «самой красивой [и к тому же самой одаренной!] девушке» его родины — города Трира.

Женни фон Вестфален родилась и выросла в иной, чем ее Карл, социальной среде — в среде потомственной прусской аристократии. Ее сводный брат Фердинанд много лет был одним из самых реакционных прусских министров, злобным и неглупым врагом дела жизни ее мужа.

Весной 1843 года Маркс рассказывает о своей невесте Арнольду Руге:

— Могу Вас уверить без тени романтики, что я по уши влюблен, и притом — серьезнейшим образом. Я обручен уже более семи лет, и моя невеста выдержала из-за меня самую ожесточенную, почти подточившую ее здоровье борьбу, отчасти с ее пиетистски-аристократическими родственниками, для которых «владыка на небе» и «владыка в Берлине» в одинаковой степени являются предметами культа, отчасти с моей собственной семьей, где засело несколько попов и других моих врагов. Поэтому я и моя невеста выдержали в течение ряда лет больше ненужных и тяжелых столкновений, чем многие лица, которые вдвое старше и постоянно говорят о своем «житейском опыте»...

Но, быть может, перед нами лишь традиционное увлечение юности, когда предмет любви и ненасытная жажда обладания им заслоняют влюбленным весь остальной мир? По воспоминаниям друзей и близких Маркса мы давно уже знаем, что всю силу и непосредственность первого чувства он сохранил до последних дней жизни. Младшая дочь Маркса пишет о своих родителях:

«19 июня 1843 года они повенчались. Они вместе играли еще будучи детьми, в юношеские годы обручились, а теперь они мужественно, рука об руку, пошли навстречу жизненной борьбе... Годы горькой гнетущей нужды и, что еще хуже, годы жестоких подозрений, гнусной клеветы, ледяного равнодушия. Но посреди всего этого, и в несчастье и в счастье, на протяжении всей жизни их связывала любовь и дружба, они не знали ни колебаний, ни сомнений и были верны друг другу до гроба. И даже смерть не разлучила их.

Всю свою жизнь Маркс не только любил, но был влюблен в свою жену. Передо мной лежит любовное письмо, оно пылает такой огненной страстью, точно писал его 18-летний юноша; а ведь Маркс писал его в 1856 году, после того, как Женни родила ему шестерых детей».

То письмо, которое в конце прошлого столетия с волнением прочитала Элеонора Маркс, впервые опубликовано на русском языке лишь в 1962 году. Теперь каждый внимательный читатель может увидеть, как любил свою жену уже не восемнадцатилетний, а тридцативосьмилетний Маркс. И не в пресловутый ослепляющий «медовый месяц», а на тринадцатом году брака со всеми испытаниями, которые выпали на долю семьи Маркса: с обысками, арестами, высылками, дикой травлей и поистине пролетарской нуждой, унесшей из жизни двух сыновей и дочь Карла и Женни.

...21 июня 1856 года. Маркс в Манчестере, у Эн-



Женни Маркс в юности.

гельса. Женни с дочерьми — на родине, в Трире, где при смерти ее тяжелобольная мать.

«Моя любимая!» — восклицает Маркс и обращается к жене, вспоминая то стихи их общего друга Генриха Гейне из лирического цикла «Опять на родине», то бессмертную трагедию Шекспира «Отелло»:

— Как ни плох твой портрет, он прекрасно служит мне, и теперь я понимаю, почему даже «мрачные мадонны», самые уродливые изображения богоматери, могли находить себе ревностных почитателей... Во всяком случае ни одно из этих мрачных изображений мадонн так много не целовали, ни на одно не смотрели с таким благоговейным умилением, ни одному так не поклонялись, как этой твоей фотографии, которая хотя и не мрачная, но хмурая и вовсе не отображает твоего милого, очаровательного, «dolce» [«сладостного»], словно созданного для поцелуев лица. Но я совершенствую то, что плохо запечатлели солнечные лучи, и нахожу, что глаза мои, как ни испорчены они светом ночной лампы и табачным дымом, все же способны рисовать образы не только во сне, но и наяву. Ты вся передо мной как живая, я ношу тебя на руках, покрываю тебя поцелуями с головы до ног, падаю перед тобою на колени и вздыхаю: «Я Вас люблю, madame!» И действительно, я люблю тебя сильнее, чем любил когда-то венецианский мавр.

И Маркс, имея в виду своих злобных и беспринципных противников, пишет:

— Лживый и пустой мир составляет себе ложное и поверхностное представление о людях. Кто из моих многочисленных клеветников и злоязычных врагов попенкнул меня когда-нибудь тем, что я гожусь на роль первого любовника в каком-нибудь второразрядном театре? А ведь это так. Найдись у этих негодяев хоть капля юмора, они намалевали бы «отношения производства и обмена» на одной стороне и меня у твоих ног — на другой. Взгляните-ка на эту и на ту картину, гласила бы их подпись. Но негодяи эти глупы и останутся глупцами...



Дочь Маркса Лаура.

Но и влюбленный Маркс остается философом-мыслителем, а не только поэтом. Он пишет жене:

— Временная разлука полезна, ибо постоянное общение порождает видимость однообразия, при котором стираются различия между вещами. Даже башни кажутся вблизи не такими уж высокими, между тем как мелочи повседневной жизни, когда с ними близко сталкиваешься, непомерно вырастают. Так и со страстями. Обыденные привычки, которые в результате близости целиком захватывают человека и принимают форму страсти, перестают существовать, лишь только исчезает из поля зрения их непосредственный объект. Глубокие страсти, которые в результате близости своего объекта принимают форму обыденных привычек, вырастают и вновь обретают присущую им силу под волшебным воздействием разлуки. Так и моя любовь. Стоит только пространству разделить нас, и я тут же убеждаюсь, что время послужило моей любви лишь для того, для чего солнце и дождь служат растению — для роста. Моя любовь к тебе, стоит тебе оказаться вдали от меня, предстает такой, какова она на самом деле — в виде великана; в ней сосредоточиваются вся моя духовная энергия и вся сила моих чувств. Я вновь ощущаю себя человеком в полном смысле слова, ибо испытываю огромную страсть...

И как «человек в полном смысле слова» Маркс от строгого языка мысли снова возвращается к поэтическому языку страсти:

— Ты улыбнешься, моя милая, и спросишь, почему это я вдруг впал в риторику? Но если бы я мог прижать твое нежное, чистое сердце к своему, я молчал

бы и не проронил бы ни слова. Лишенный возможности целовать тебя устами, я вынужден прибегать к словам, чтобы с их помощью передать тебе свои поцелуи.

В заключительной части письма Маркс касается самой большой трагедии своей личной жизни — гибели сына Эдгара. Он говорит подруге:

— Бесспорно, на свете много женщин, и некоторые из них прекрасны. Но где мне найти еще лицо, каждая черта, даже каждая морщинка которого пробуждали бы во мне самые сильные и прекрасные воспоминания моей жизни? Даже мои бесконечные страдания, мою невозместимую утрату читаю я на твоём милом лице, и я преодолеваю это страдание, когда осыпаю поцелуями твоё дорогое лицо.

Пройдут еще семь лет, и на двадцать первом году своего брака Маркс, уже из Трира, напишет жене в Лондон:

— Если пишу тебе с таким запозданием, то это, поверь, не от забывчивости. Напротив. Каждый день совершаю паломничество к старому дому Вестфаленов (на Нейштрассе), который интересует меня больше, чем все римские древности, — ведь он напоминает мне о счастливейшей поре юности, в нем же таилось мое самое драгоценное сокровище. Кроме того, со всех сторон меня то и дело спрашивают о... «самой красивой девушке Трира» и «царице балов». Чертовски приятно мужу сознавать, что жена его в воображении целого города продолжает жить как «зачарованная принцесса».

«ЕСЛИ ТЫ ЛЮБИШЬ...»

Человек, который так любил жену и детей, имел нравственное право говорить о любви с молодежью. И его советы бесконечно далеки от нудных проповедей или, если обратиться к более распространенным ныне формам этической пропаганды, вялых, чтобы не сказать большего, лекций «о любви и дружбе» — материях не самых уместных для публичного обсуждения.

Отважусь признаться в неизменном недоверии к тем, кто превращает в публичное разбирательство то, что не всегда может стать предметом собеседования даже самых близких друзей. Чем больше, глубже, а значит, и чище чувство, тем оно интимнее, сокровеннее, ранимее, тем меньше поддается какому бы то ни было стороннему вмешательству или даже «регуливанию».

Никто, кроме самих любящих и любимых людей, не может быть судьей их чувств. Если, конечно, это и впрямь чувство, а не прихоть, каприз, блажь, поиски «прелести новизны» или слепой пароксизм страсти. Но и любовь — при всей ее незащищенности от ханжества, пошлости, грубости, цинизма, сплетни, насмешки, даже — в лучшем случае! — бестактности и нечуткости — нуждается порой в мудром и добром совете. Как это на первый взгляд ни парадоксально, существует не только поэзия, но и философия любви и, разумеется, ее этика. И одним из самых проникновенных ее философов был чуждый риторике и сентиментальности беспощадный критик капитализма и теоретик пролетарской революции.

Это он весной 1842 года, словно обращаясь к невесте, между обручением и свадьбой с которой прошло, мы уже знаем, семь долгих лет, сказал, как говорят только выстрадавшее, пережитое и перечувствованное:

— Существование того, что я действительно люблю, я ощущаю как необходимое, я чувствую в нем потребность, без него мое существование не может быть полным, удовлетворенным, совершенным.

Маркс был счастлив в любви, взаимной и разделенной. Не потому ли он так ясно сознавал трагедию любви неразделенной, неизбежной — увы! — даже и при полном расцвете коммунизма в самом что ни на есть мировом масштабе.

Но трагедию эту, пусть даже драму, не следует превращать в пошлый фарс с бессмысленными преследованиями, унижениями бесплодной ревности, которой ведь тоже, как и любви, к несчастью, «все возрасты покорны», вопреки сугубой «неблагодарности» ее «порывов» или чаще — разрывов, когда слабое, гаснущее чувство отступает перед чувством сильным и потому неодолимым.

Два года спустя после статей «Жителя Рейнской провинции», как подписал Маркс свои «Дебаты о свободе печати...», он дважды подчеркнет, что для «человека как человека... его отношение к миру как человеческое отношение» предполагает «любовь обменивать только на любовь, доверие только на доверие...». По мнению Маркса, отношение человека к другим людям должно быть «проявлением... действительной индивидуальной жизни», а не ложных, иллюзорных, призрачных представлений.

— Если ты любишь, не вызывая взаимности, — говорит Маркс всем, кто считает, что и не разделенная, односторонняя любовь наделяет влюбленного некими правами и преимуществами, — ...если твоя любовь как любовь не порождает ответной любви, если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего человека не делаешь себя человеком любимым, то твоя любовь бессильна, и она — несчастье.

Сколько таких несчастий не завершалось бы катастрофами в судьбе тех, чью любовь отвергали, если бы они яснее представляли безысходность своих настоящих, унижительность того, что Горький назвал «милостыней ласки»! Теоретик революционного насилия в борьбе классов, Маркс отвергал какое бы то ни было насилие над чувствами и мыслями человека.

Но еще непримиримее относился он к пошлости, оскорбляющей самое природу любви. Весной 1842 года он пишет Арнольду Руге:

— Гвардейский лейтенант считает всякого влюбленного, имеющего честное намерение, фанатиком. Что же, из-за этого больше не вступать в брак? Удивительно, что низведение людей до уровня животных стало правительственной верой и правительственным принципом.

Пролетарский гуманизм марксизма поднимает человека до уровня человека. Он прежде всего человек во всех своих основах и принципах, в критериях и традициях, выводах и лозунгах.

Это немаловажно напомнить в наши дни, когда марксизм так компрометируют маоисты по-своему последовательным антигуманизмом, объявляющим, к примеру, любовь реакционным «пережитком» или очередным хитроумным маневром «грязных ревизионистов», который «одурманивает молодежь» и «уводит ее от революции»...

Противостоит марксизм и другой крайности — лжекоммунистическим вульгаризациям в духе немецкого «поэта-социалиста» Германа Криге, для которого весь коммунизм представлял собой не боевое революционное учение, а лишь «нечто преисполненное любви». Как отметили Маркс и Энгельс весной 1846 года, это «превращение коммунизма в бред о любви» производит «расслабляющее действие... на оба пола» и вызывает у «молодых девиц» преимущественно «массовую истерию и малокровие».

Марксизм учит любить «человека во имя человека». Он зовет к созидательной революционной де-



Дочь Маркса Элеонора,

ятельности. Зовет не только ОБЪЯСНИТЬ мир, но и ИЗМЕНИТЬ его.

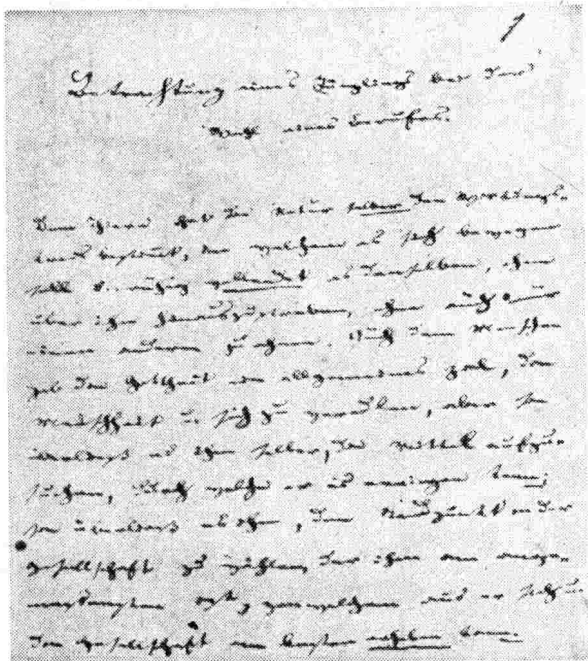
В этом афоризме Маркса — ключ к пониманию действенной силы той высшей школы социального воспитания, которую представляет собой все его наследие — от первой до последней строки.

«ВИРТУОЗ ЧЕЛОВЕКОВОДСТВА»

Весной 1861 года Маркс пишет своему дяде со стороны матери Леону Филипсу — энергичному голландскому купцу:

— Помнишь, милый дядя, как мы часто с тобой шутили насчет того, что человеководство в наше время столь сильно отстает от животноводства. Теперь я повидал всю твою семью и должен объявить тебя в этой связи виртуозом человеководства. Никогда в своей жизни я не знал лучшей семьи. Все твои дети — самобытные характеры, каждый своеобразен, каждый обладает особыми духовными достоинствами и все в равной мере отличаются широким образованием.

«Виртуозом человеководства» с еще большим основанием можно назвать и самого Маркса. Все его дочери стали революционерками. Все свои силы и незаурядные дарования они отдали освободительной борьбе.



Рукопись первой страницы сочинения К. Маркса «Размышления юноши при выборе профессии».

Маркс с необыкновенным тактом воспитывал дочерей, уважал и поддерживал их самобытность и своеобразие. Делал все, чтобы их яркие индивидуальности оказались свободными даже от малейших проявлений такого чуждого ему интеллигентского индивидуализма.

«Маркс был нежным, кротким, снисходительным отцом,— вспоминает Поль Лафарг.— «Дети должны воспитываться своих родителей»,— бывало, говорил он. Не было и тени отцовской власти в его отношении к дочерям, которые были необыкновенно к нему привязаны. Он никогда ничего им не приказывал; если же хотел чего-нибудь от них, он их просил как об одолжении или уговаривал отказаться от того, что ему было нежелательно. И, тем не менее, редкому отцу удавалось добиться большего послушания. В глазах дочерей он был другом, и они обходились с ним, как с товарищем...»

О том же свидетельствует и Элеонора Маркс. Она рассказывает, «с каким бесконечным терпением и кротостью» отец отвечал на все ее бесчисленные вопросы:

«Никогда Мавр не жаловался на то, что я его отвлекаю от работы, хотя ему, должно быть, очень мешало присутствие вечно болтающей малютки, когда он работал над своим великим произведением. Но он никогда не допускал, чтобы у ребенка зародилась мысль, будто он является помехой отцу...»

Вот зимой 1882 года Маркс пишет Энгельсу о нелегком состоянии духа этой младшей и, пожалуй, наиболее одаренной из своих дочерей:

— Дитя находится в подавленном состоянии духа, которое совершенно подтачивает ее здоровье. Ни путешествие, ни перемена климата, ни врачи ничем в данном случае не помогут. Единственное, что можно сделать для нее, это уступить ее желанию и позволить ей закончить свои уроки театрального искусства... Она сгорает от желания начать тем самым, как она надеется, самостоятельную активную артистиче-

скую карьеру, и если на это согласиться, то она, во всяком случае, права, что в ее возрасте нельзя больше терять времени. Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы дитя вообразило, будто ее приносят в жертву на семейный алтарь, превратив в «сиделку» при старине... Она скрытная: то, что я говорю, основано на наблюдении, а не на ее собственных признаниях... нет пока другого средства, кроме деятельности, которая нравится ей и захватывает ее. У меня имеются некоторые соображения насчет ее «сердечных» дел, но это слишком деликатная тема, чтобы касаться ее в письме.

Не одна из современных сверстниц Элеоноры Маркс позавидует тому безграничному такту, с которым говорит о ней, о ее состоянии и увлечениях тяжелобольной отец.

С такой же деликатностью относился Маркс и к своим юным друзьям. Зимой 1866 года он пишет Лафаргу, видимо, вскоре после резкого объяснения между ними:

— На случай, если Вы обиделись на резкость моего монолога, обращенного к Вам, прошу извинить меня за это. Нельзя выходить из себя, даже когда бываешь прав.

Не слишком часто люди старшего поколения руководствуют в своих спорах с молодежью этим примером сорокавосемилетнего Маркса.

«УЧИТЬСЯ! УЧИТЬСЯ!»

Юным филистерам от рождения, самонадеянным в своей посредственности или посредственным в безбрежной самонадеянности, Маркс противопоставляет молодежь, увлеченную профессиональным трудом, как бы он ни был скромен. Так оценивает Маркс, например, молодого врача Джемса Уильямсона. Он, отмечается осенью 1882 года в письме Энгельсу, «оказался милым молодым человеком, в котором нет ничего жреческого».

Жреческая важность, мистифицирующая непостоянных, особенно легко усваивается переимчивой молодостью. То, однако, что импонирует доверчивым простакам в убежденном сединой жреце от медицины или педагогики, техники или искусства, становится особенно смешным в дилетантском исполнении молодого специалиста.

Жречеству Маркс противопоставляет непосредственность молодости, ее естественность и жизнерадостность. Вот как отзывался он о двадцатилетнем русском эмигранте-народовольце Германе Лопатине, ставшем вскоре одним из первых переводчиков произведений основоположника марксизма:

— Он еще очень молод, два года провел в заключении, а потом восемь месяцев в крепости на Кавказе, откуда бежал. Он сын бедного дворянина и в Санкт-Петербургском университете зарабатывал себе на жизнь уроками. Живет теперь, очень нуждаясь, переводами на русский язык... Очень ясная, критическая голова, веселый характер, терпелив и вынослив, как русский крестьянин, который довольствуется тем, что имеет...

Подружился Маркс и с молодым английским геологом Дейкинсом. Летом 1869 года он рассказывает старшей дочери, как «познакомился с чрезвычайно странным малым»:

— Дейкинс очень напоминает немецкого крестьянина — низкорослый, с лицом, вечно расплывающимся в широкую улыбку... Одежда его, как у неряшливого и «плохо одетого» батрака с фермы, чрезвычайно небрежна. Галстук и тому подобные принадлежности цивилизации ему также неизвестны. Первое впечатление, которое он на вас производит, — это впечатление грубого, неотесанного парня; добродушие светится в его глазах и расплывающейся улыбке, но не скажешь, что он обладает большим умом. И все

же — это очень ученый человек, даже энтузиаст своей науки, и имя его начинает уже выделяться среди массы имен его соперников. Он наивен, как ребенок, без всяких претензий, всегда готов поделиться своими научными открытиями с первым встречным, который пожелает вывести их у него.

Отметим здесь, что, презирая франтовство, Маркс отнюдь не одобрял безалаберную и чуть ли не демонстративную неряшливость в духе современных «битников». Вскоре он пишет Женни о воскресном визите того же Дейкинса:

— Этот бравый гном все время гомерически хохотал. Его костюм был небрежнее, чем когда-либо, — бумажный стоячий воротничок без галстука, грязная белая шляпа вместо шотландского кепи и какие-то белые башмаки, вроде тех, что носят на пляже. Во время нашей воскресной прогулки... его успех у всей публики был определенно выше среднего. Он вызвал настоящую сенсацию.

Маркс, таким образом, не жаловал самостоятельное превращение способных молодых людей в некие зрелищные предприятия для уличных зевак. Он, однако, всегда прощал молодости ее житейскую неискренность.

Летом 1853 года Энгельс довольно сердито пожаловался Марксу:

— В 4 часа ночи меня будит моя старая экономка и объявляет, что приехал джентльмен, который желает меня видеть. Поспешно вылезая и нахожу у дверей рядом с излом маленького человечка с огромным сундуком и саквояжем, который заявляет мне, что его зовут Якоби... Наконец, человечек вытаскивает из кармана твое письмо, по-видимому крайне озадаченный тем, что я его, незнакомаго мне, не принял тотчас же с распростертыми объятиями. И тогда меня осенило, как это и подтвердило твое письмо, что это тот подсудимый на процессе коммунистов, Якоби, которого я никак не ожидал увидеть, ибо был уверен, что он давно надежно упрятан в прусской тюремной камере. Что было делать! Я втащил его к себе вместе со всем его скарбом, поболтал с ним полусонный еще с полчаса и уложил его спать на мой диван, ибо дом наш битком набит людьми... Единственно-вестфальское поведение сего мужа, его бестолковость — пробыв целую неделю в Лондоне, выбрать для приезда ко мне как раз такой поезд, который прибывает среди ночи, и под предлогом незнакомства с обстоятельствами вторгаться в дом и поставить всех на ноги, — все это... мало расположило меня в пользу этого человека...

Возмутил Энгельса своей неконспиративностью и юношеской, если в данном случае не мальчишеской бесцеремонностью член Союза коммунистов молодой врач Абраам Якоби. Отвечая своему другу, Маркс поясняет:

— Что касается Якоби, то пусть тебя не пугает беспомощность и незнание света со стороны 23-летнего юноши из Минденского округа, просидевшего

два года за решеткой. Он знающий парень. Я читал его докторскую диссертацию и был ею «весьма удовлетворен».

Якоби эмигрировал в Америку, и вскоре Маркс сообщил Энгельсу, что дела «маленького человечка» «идут хорошо; его «серьезный» и «сдержанный» характер нравится янки».

Несмотря на то, что Маркс считал, хоть и простибельным, но весьма существенным недостатком «леговерие» (по отношению к людям), оно на этот раз его не подвело. Якоби и впрямь быстро выдвинулся за океаном, он участвовал в гражданской войне на стороне северян, а закончил свой век в 1919 году профессором медицины и даже президентом ряда американских научно-медицинских учреждений.

На примере Дейкинса и Якоби видно, как ценил Маркс в молодежи знания. Вильгельм Либкнехт вспоминает о своем учителе:

«Он был очень требователен. Когда он замечал какой-нибудь пробел в знаниях, он бурно настаивал на его восполнении, для чего давал все нужные советы.

Оставаясь с нами наедине, он устраивал настоящие экзамены, и эти экзамены были не шуткой. Марксу нельзя было втереть очки. Если же он замечал, что все его усилия бесплодны, то и дружбе приходил конец. Мы почитали за честь быть под его «муштрой». Никогда мои свидания с ним не проходили без того, чтобы я не выучился чему-нибудь... Учиться! Учиться! Таков был категорический наказ, который он часто внушал нам, но который заключался уже в его личном примере и даже в одном лишь зрелище этой постоянной, могучей работы великого ума».



Я далеко не исчерпал избранную тему. Но, быть может, и приведенные примеры покажут, как Маркс относился к молодежи, что особенно ценил, а что отвергал. Вернемся же в заключение к тому, с чего были начаты эти заметки.

«История признает тех людей великими, — пишет семнадцатилетний Маркс, — которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее...»

Историческое величие Маркса, его дела и его мысли гармонически сочетаются с нравственным благородством, столь привлекательным для молодежи, всегда ищущей, «сделать бы жизнь с кого»...

Маркс учит не только мыслить и бороться, но и трудиться, любить, дружить. Всегда и во всем быть человеком, которому, по его любимому изречению, не чуждо ничто человеческое...





Анастас Микоян

В тюрьмах Закаспия при английской оккупации

(Из воспоминаний)

Итак, в ночь на 20 сентября 1918 года, как об этом я уже рассказывал раньше¹, бакинских комиссаров вывезли из арестного дома и Красноводской тюрьмы, и на рассвете над ними была учинена зверская расправа.

В нашей тюремной камере остались только четыре человека: два сына Шаумяна — Сурен и Лева, Самсон Канделаки и я. В женской камере арестного дома продолжали оставаться Варвара Джапаридзе, Мария Амирова, Ольга Банникова (жена Фиолетова) и Сатеник Мартикян.

До этого мы лежали на полу камеры, потому что мест для всех на нарах не хватало. Теперь нары опустели, и мы вчетвером довольно свободно на них разместились. Можно было сидеть, свесив вниз ноги, или хотя бы прислониться к стене.

Вскоре в нашу камеру поместили еще двух арестованных братьев Амировых — Александра и Арменака. Но от этого теснее на нарах не стало.

Несколько дней мы тщетно ожидали обещанного освобождения из тюрьмы. При посещении нашей камеры тюремным надзирателем или начальником местной полиции Алания мы настойчиво спрашивали их, когда же наконец нас освободят? Но они неизменно отвечали, что «ждут распоряжения», или что у них «нет еще распоряжения», или что они вообще не знают, когда такое распоряжение последует. Вскоре мы убедились, что обещанное освобождение было очередным обманом, и перестали задавать такие вопросы.

После того, как увели комиссаров, кое-кто из бакинских большевиков оставался не только в арестном доме, но и в тюрьме — о чем мы тогда, сидя в своей камере, не знали. Их не вывезли вместе с

комиссарами только потому, что они не фигурировали в списке «двадцати пяти», который был найден у старосты (Корганова). Среди них был видный военный деятель, член Военно-Революционного Комитета Кавказской Красной Армии Гигоян, а также еще два-три товарища, фамилии которых я сейчас не помню. Впоследствии все они были из тюрьмы освобождены.

Надо сказать, что отношение красноводских властей к аресту бакинских большевиков было весьма своеобразным. Я уже писал, что когда их арестовали в Баку, Диктатура Центрокаспия, пытаясь допросить Шаумяна, направила к нему с этой целью некоего Жукова, в прошлом следователя царского режима. Шаумян демонстративно отказался давать ему показания, заявив, что он не намерен отчитываться в своих поступках перед царским чиновником.

2 сентября 1918 года Степан Шаумян писал из Баиловской тюрьмы в Астрахань жене: «Вчера приходил к нам для допроса один следователь, из старых николаевских следователей; выгнали его и заявили, что мы не признаем никаких следователей и судов». Большевики пытались что-то говорить о том, что этот Жуков, дескать, служил в органах юстиции и при Советской власти, но они умалчивали, что в то время он не играл сколько-нибудь серьезной роли, а «расцвел» только теперь, при Диктатуре Центрокаспия, стал ее главным следователем и должен допрашивать Чрезвычайного комиссара Советской России на Кавказе. Так или иначе, но меньшевикам не удалось тогда учинить допрос Шаумяну и другим нашим комиссарам.

В Красноводске же местные власти даже и не пытались допрашивать арестованных бакинских комиссаров. Они лишь записали их фамилии и имена, заранее решив всех их расстрелять по тому списку, что был найден у Корганова, присоединив к ним еще и арестованного начальника отряда Амирова.

¹ См. воспоминания А. И. Микояна «О днях Бакинской коммуны» (журнал «Юность», 1967, №№ 11, 12, 1968, №№ 1, 2).

Не допрашивали и нас. Пока шли разговоры о нашем «скором освобождении», мы думали, что, возможно, нас еще будут допрашивать. Но время шло, а власти не делали к этому никаких попыток. Когда же мы поняли, что все разговоры о нашем освобождении — пустая болтовня, обман, мы сами решили не требовать следствия и допросов, потому что было ясно: это ничего не даст. Царил полный произвол, и никакие требования «законности» ни к чему привести не могли.

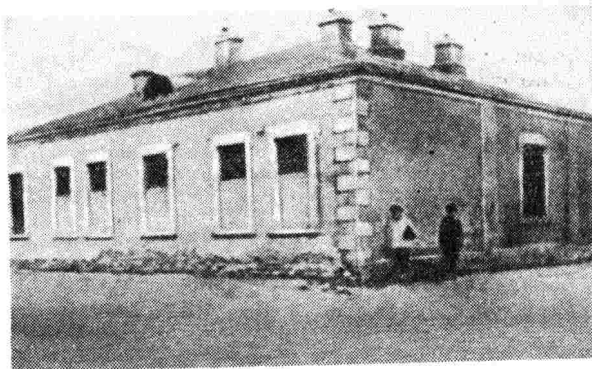
Поэтому мы предпочли оставаться «недопрошенными» и примирились со своим положением.

Однако мне все еще очень хотелось, чтобы из тюрьмы освободили по крайней мере хотя бы Леву Шаумяна, которому тогда было всего лишь 14 с половиной лет. Но на все мои просьбы и обращения по этому поводу тюремный надзиратель отвечал, что он ничего сделать не может, хотя и обещал передать мою просьбу начальнику полиции Аляния.

При всех этих моих «переговорах» Лева молчал, но было заметно, что он крайне недоволен моими требованиями: то ли он не хотел оставлять своих товарищей, то ли им владело естественное — по возрасту — желание совершить героический поступок, разделив с нами все тяготы тюремного заключения, а оно было чревато опасностями даже для него и могло окончиться трагически. Мальчик он был смелый. Все время ему упорно хотелось выглядеть более взрослым. У него была с собой в тюрьме дагестанская черкеска с башлыком. Иногда он «облачался» в этот наряд и тогда действительно казался более взрослым, внешне походя на зрелого юношу. Я запрещал ему надевать эту черкеску и башлык, особенно в ожидании посещения нас начальством. Лева прекрасно понимал, почему я запрещаю ему это делать. Иногда он меня слушался, но все же изредка продолжал облачаться в черкеску. Как-то раз, как будто назло, когда он был в этой одежде и сидел на нарах, в камеру неожиданно вошел начальник полиции Аляния. Я обратился к нему с просьбой: «Господин Аляния, вы не освобождаете нас, взрослых. Ну и черт с вами! Но освободите этого мальчика. Содержание его в тюрьме нарушает все законы». Аляния обернулся в сторону Левы, посмотрел на него и сказал: «Вы что, с ума сошли? Какой же это мальчик? По всему видно, что это настоящий бандит с кавказских гор». Мои возражения не подействовали. Поняв всю безнадежность освобождения Левы, я был очень этим огорчен. Лева же, стараясь меня успокоить, всячески скрывал свои истинные чувства и мысли по этому поводу: видимо, он был очень доволен таким исходом дела. И я, и Сурен, и Самсон всячески ругали его за такое мальчишеское поведение. Но с Левы все это скатывалось, как с гуся вода. С гордым видом он продолжал носить свою черкеску и пробыл в ней почти все время пребывания в тюрьме: мы уже не мешали ему носить этот наряд.

Вспоминаю еще об одном эпизоде из жизни Левы, о котором он рассказал мне во время одной из наших многочисленных тюремных бесед.

Однажды он решил через отца послать Ленину значок с изображением Карла Маркса. Дело было так. Вскоре после Февральской революции какой-то бакинский предприимчивый делец изготовил и пустил в продажу революционные значки. На одном из них — небольшом металлическом квадратике с припаянной булавкой — в ярко-красную рамочку был вмонтирован миниатюрный портрет Маркса. Когда отец Левы Степан Шаумян направлялся в Петроград на первый съезд Советов, Лева дал ему этот значок со строгим наказом вручить его лично Ленину.



Арестный дом в г. Каспийске.

Лева с гордостью говорил мне о том, что Ленин, по словам отца, носил на груди этот его значок.

Много лет спустя я припомнил этот рассказ Левы, читая воспоминания Н. К. Крупской о Ленине. В том месте, где описываются события июня 1917 года, есть такие строки:

«Когда Владимир Ильич возвращался домой усталый, у меня язык не поворачивался спрашивать его о делах. Но и ему и мне хотелось поговорить так, как привыкли, — во время прогулки. И мы иногда, редко, впрочем, ходили гулять по более глухим улицам Петроградской стороны. Раз, помню, ходили на такую прогулку вместе с тт. Шаумяном и Енукидзе. Шаумян тогда передал Ильичу красные значки, которые его сыновья заказали ему передать Ленину. Ильич улыбался».

В бумагах Екатерины Сергеевны Шаумян сохранилось письмо Левы отцу, отправленное им в Петроград вскоре после отъезда туда Шаумяна. Вот полный текст этого письма:

«Дорогой папа! Как ты себя чувствуешь? Какого числа ты приехал в Питер? Передал ли т. Ленину Карла Маркса и поклон от меня? Если нет, — то передай. Привези мне оттуда всякие брошюры и сборники песен, если где-нибудь увидишь».

Вчера на митинге выступал Сухарцев против Керенского и после речи ушел куда-то по делу. Когда он ушел, то выступили против него Майоров, прапорщик Авакян и др. и довели до того, что народ кричал: «Долой Сухарцева! Не пускать его больше на митинги» и т. д.

Сегодня моя голубка вывела 2-х птенцов. Целую. Лева».

Не думал тогда Лева, что ровно через год, в июне 1918 года, он поедет в Москву с письмами Шаумяна Ленину. С мандатом, подписанным Шаумяном, Джапаридзе, Коргановым и Шеболдаевым, он с большими трудностями пробирался через Астрахань и Камышин в Москву. В Москве его тепло встретил и обласкал управляющий делами Совнаркома Бонч-Бруевич. А когда он хотел повести Леву к Владимиру Ильичу, Лева уперся и не пошел, засуетился, главным образом потому, что у него были рваные сапоги, подошва совсем отвалилась и была подвязана веревочкой. И только на следующий день, кое-как починив сапоги, Лева побывал у Ленина.

✱

Размеренная, монотонная жизнь наша в тюремной камере продолжалась. Мы были совершенно подавлены дошедшим до нас известием о трагической участи бакинских комиссаров. Собственная судьба уже перестала нас волновать: о ней мы почти не думали. В конце концов нам было все равно, что теперь с нами произойдет.

Мы старались не говорить между собой о гибели друзей не только потому, что не хотели лишней раз бередить живую рану сыновей Шаумяна, но и потому, что самим нам обсуждать эту тему было очень тяжело. Каждый из нас переживал все случившееся про себя. Помню, что даже ночью мы просыпались от кошмарных сновидений. Чувства, которые я тогда переживал, нашли известное отражение в статье, написанной мною спустя четыре года в Ростове, где я тогда работал. Опубликована она в газете «Бакинский рабочий» 20 сентября 1922 года под названием «К кровавой годовщине». Привожу из нее выдержку:

«Это было ровно четыре года назад, в маленькой грязной камере Красноводского арестного дома. Прошло три дня, как мы попали в этот застенок. В нашей камере — Шаумян, Джапаридзе, Фиолетов и другие — всего 16 человек.

Ночь на 20 сентября. Лежали кто на нарах, кто на полу. Одни спят, другие дремлют. В окно смотрит коварная луна, яркая, светлая.

Два часа ночи. Слышится шум, стук железа. Открывается дверь.

Врывается банда «социалистических палачей». Начинают переключку.

Разбивают всех обитателей на три группы. Выводят первые две группы из камеры...

На вопрос — «Куда ведут?» — отвечают: «Здесь мест мало. Перевозим вас в Ашхабад, в областную тюрьму».

Настает гнетущий час разлуки с лучшими друзьями и товарищами, беззаветными борцами рабочего дела, революционными вождями бакинского пролетариата.

Потом проходят мучительные дни и недели безвестия...

Где они, куда их повезли — установить не можем. Одни говорят, что они в Ашхабаде, другие — в Персии. Мы не знаем, где наши близкие друзья, бакинский пролетариат — где его вожди, Советская власть — где ее лучшие борцы.

Сомнения вкрадываются в душу, терзают ее. Тяжело думать, что нет больше в живых Степана, Алеша, Мешеди, Ванечки...

Вдруг неожиданно некто с воли сообщает нам в тюрьму страшную правду, открывает перед нами кошмарную картину неслыханного злодеяния эсеровских палачей. Этот неизвестный нам, не знавший нас — железнодорожный рабочий из Красноводска, кажется, проводник.

В ту ночь он был на вокзале. Видел людей подозрительных, вооруженных, переодетых, в белых чалмах. В вагонах — лопаты.

Почувств, что готовится что-то недоброе, страшное, он решил стать свидетелем готовящейся кровавой расправы. Незаметно, тайком пролез меж вагонов и устроился на буферах.

Он видел своими глазами, как в далекой степи остановили поезд, вывели из вагонов по группам пленных и недалеко от полотна зверски растерзали их.

В пулеметной трескотне он слышал последние слова жертв белого террора: «Мы умираем за коммунизм. Да здравствует коммунизм!»

...Рассветало. Убийцы торопились и не успели зарыть все трупы.

Вожди бакинского пролетариата своею кровью обогрили пески пустынных степей далекого Закаспия. Всю свою жизнь они принесли в жертву делу коммунизма.

Своей героической смертью они раскрыли глаза обманутой части бакинских рабочих и направили их на правильный путь — борьбы за коммунизм.

Их смертью закрылась самая мрачная страница рабочего движения Баку, страница предательства и авантюризма наемников капитала — партии эсеров и меньшевиков.

Пусть бакинские рабочие вспоминают последнее заседание Бакинского Совета (25 июля 1918 года), когда большинство Совета под руководством социал-предателей стало на сторону англичан, против российского пролетариата. Торжествовавшие эсеры и меньшевики с наглостью лакеев предлагали и большевикам идти за ними на услужение империализму; иначе угрожала смерть и гибелью. Тов. Шаумян, бледный от ненависти и презрения, пророчески заявил: «Победившие изменники пытаются и нас свернуть на путь предательства. Но мы предпочитаем умереть на сла-

вом посту революционера, чем спасти свою жизнь ценою измены и предательства».

И они пали славной смертью так, как подобает подлинным пролетарским борцам...

Часто, в особенности по ночам, дверь в нашу камеру открывалась, и тюремный надзиратель бросал на пол камеры очередного арестованного.

Постепенно мы уже привыкли к этому. Поэтому обычно продолжали спать и не интересовались, кого к нам посадили. Только утром мы узнавали, что представлял собой наш новый ночной «гость».

Обычно это были или лихие молодцы, задержанные при пьяном дебоширстве на улице или в ресторане, или другие люди, по каким-либо причинам попавшие в лапы ночной полиции. Как правило, проспав ночь в камере, они оказывались обыкновенными обывателями, довольно охотно рассказывавшими, что с ними произошло ночью. Некоторые из них, узнав, что они попали в камеру к большевикам, боялись, не učinим ли мы с ними еще «чего-нибудь»: так много лжи и провокаций было распушено в отношении большевиков, которых напуганные обыватели боялись как черт лапана.

Когда по ночам у нас в камере появлялись такие непрошенные «гости», нам было очень досадно: они прерывали наш сон. Днем же, когда мы с ними беседовали, они вносили даже некоторое оживление в нашу однообразную, оторванную от внешнего мира жизнь. Они рассказывали, за что попали в арестный дом, чем занимались; мы расспрашивали их о том, что волнует народ, что пишут и говорят о гражданской войне, что нового и интересного сообщают в газетах («к нам они попадали редко»). Так, побывав у нас день-два, некоторые из таких «гостей» привязывались к нам, а уходя на волю, обещали присылать книги, газеты и еду. Надо сказать, что большинство из них свои обещания выполняли.

Мне запомнилось в связи с этим появление в нашей камере одного такого ночного «гостя», который наутро представился нам присяжным поверенным графом Тарновским. Был ли этот Тарновский действительно тем, за кого выдавал себя, или нет, нас тогда мало интересовало. Но он оказался на редкость занимательным собеседником, и мы с удовольствием слушали его рассказы. Высокий, средних лет, красивый, с темными усиками, упитанный, хорошо одетый — таким мне запомнился этот граф. Он нам сказал, что приехал из Персии через порт Энзели (Пехлеви). На пристани в Красноводске при проверке документов его арестовали. Однако он успел передать кому-то на пристани, чтобы его знакомые, живущие в Красноводске, помогли ему освободиться из тюрьмы. Тарновский очень уверенно говорил, что его скоро освободят, что у него большие связи и что арестован он к тому же совершенно необоснованно. Он рассказал нам много интересного о Персии, об английской оккупации, о жизни русских, оставшихся в Персии, о положении на фронтах и о некоторых событиях международной жизни. Видимо, компания ему наша нравилась: он охотно делился с нами всею любопытными историями из своей жизни, а кроме того, умел очень выразительно и смачно рассказывать остроумные анекдоты, вызывавшие у нас неизменно дружный хохот. Все это как-то разряжало мрачную обстановку нашей тюремной жизни.

В тюрьму графа посадили почти без вещей, без пальто. Был у него больших размеров хурджин — переметная сума. Ночи были прохладными, и Тарновский придумал: раскладывал на нарах свой хурджин, ноги засовывал в одну суму, голову и плечи — в другую, а посередине, где оставалось открытое ме-

сто, он накрывался синим пиджачком. Было смешно, но зато тепло.

Убедившись, как не хватает нам книг и газет, Тарновский дал нам слово, что как только выйдет на свободу, сразу же пришлет нам книги. Когда его освободили (это было через два-три дня), мы получили от него пять или шесть томов сочинений Мопассана, томик Амфитеатрова, а также корзину отличного винограда.

Книги были для нас настоящим счастьем. Да и виноград тоже пришелся по вкусу.

Однажды в нашу камеру привели армянина из торговцев. Узнав, что он попал в камеру, где сидят большевики, он страшно перепугался, боясь, как бы ему не «пришили» какого-нибудь нового серьезного обвинения и не засадили в тюрьму надолго. Однако вскоре он убедился, что «у страха глаза велики».

Очень он был удивлен тем, как мало и плохо нас кормят. Все охал и ахал по этому поводу, искренне удивляясь, как мы так спокойно это переносим. Клялся и божился, что, как только его освободят, первое, что он сделает, это пришлет нам хороший обед. Действительно, на следующий день после его освобождения мы получили в большой посудине отлично приготовленную армянскую долму (голубцы, завернутые в виноградные листья), а также вкусный фруктовый плов. Добрым словом помянули мы в тот день нашего «благодетеля»: так вкусно и обильно мы уже очень давно не ели...

Через какое-то время к нам из другой камеры перевели левого эсера Казанцева. Он был из железнодорожных рабочих. При Советской власти работал в местных органах ЧК. После падения власти скрывался, но был пойман и арестован. Он производил в общем-то хорошее впечатление развитого рабочего, но состояние у него было крайне подавленное.

Попал как-то в нашу камеру некий Дадашбек. Лева Шаумян сразу узнал в нем полицейского, который арестовал его на Красноводской пристани. Лева рассказал, что этот тип минут сорок водил его по пристани, постукивая кольтom со взведенным курком по затылку, и требовал: «Покажи, где твой старший брат». И хотя в толпе им неоднократно встречался Сурен, арестовать его удалось только часа через полтора, на сваях под пристанью. Как мы потом выяснили, Дадашбека посадили в тюрьму (правда, ненадолго) за то, что он присвоил, то есть просто украл, драгоценности какой-то арестованной женщины.

Позднее Лева рассказал мне, что 28 апреля 1921 года в Баку, на параде, посвященном первой годовщине установления Советской власти в Азербайджане, он увидел в толпе этого Дадашбека — с портфелем, в кожаном буденновском шлеме. Лева сразу указал на него тогдашнему председателю ЧК Багирову. Дадашбек был арестован, но по непонятным причинам через неделю был освобожден «за недоканзанностью преступлений».

Посадили к нам в камеру как-то еще одного армянина — на этот раз интеллигента лет 35. Это был артист, выступавший на сценах армянских театров Баку и Шуши, по фамилии Зарафян. Он был в полной панике оттого, что его приняли за большевика и посадили вместе с нами. Политикой он не интересовался, жил только интересами сцены и, видимо, большевиков вообще никогда раньше не знал. Все время он нас спрашивал: действительно ли мы большевики? Мы отвечали: «Конечно, настоящие большевики». «И вы не боитесь так прямо об этом говорить? Даже администрации?» — попытался он. «Да, — отвечали мы, — теперь мы ничего не боимся. После того, как наши старшие товарищи погибли, —

нам все равно, будут ли нас держать в тюрьме или расстреляют!» От этих разговоров он впадал в еще большее уныние. Правда, иногда, видя вокруг наши спокойные лица, он как-то успокаивался, забывался и даже начинал распевать армянские и азербайджанские песни. Голос у него был приятный, пел он неплохо, и мы с удовольствием его слушали. Иной раз он начинал декламировать отрывки из своих театральных ролей. Все это нас развлекало. Но минута вдохновения проходила, и наш артист вновь начинал роптать, жаловаться, впадая в свою обычную хандру и меланхолию. В конце концов его нытье нам надоело. Как-то из озорства я сказал ему: «Ну что ты все ноешь? Дело твое безнадежное. Если тебя арестовали как большевика и ты как большевик попал в нашу камеру, тебе некуда деться, и поэтому нечего зря расстраиваться. Надо успокоиться. Тебя расстреляют вместе с нами».

Приняв мои слова за чистую монету, он вконец перепугался. То и дело повторял, что ничего общего с политикой и большевиками не имеет и что только ищет способа, как ему все это доказать. Тогда мы ему сказали, что дело это безнадежное: «Нас судьба связала одной веревочкой». Все это мы говорили ему без всякой злости, добродушно, внутренне развлекаясь своей шуткой, даже и не думая, как всерьез и глубоко он все это воспринимает. Один раз, слушая нас, Зарафян сидел на нарах, положив ногу на ногу и прислонившись плечом к стене. Вдруг мы увидели, что он страшно побледнел, его лицо исказилось, он стал корчить какие-то страшные гримасы, глаза его округлились, изо рта появилась пена. Мы не знали, что делать. Пока мы раздумывали, Зарафян, подергиваясь и корежась, упал на асфальтовый пол и начал биться в судорогах, издавая какие-то непонятные звуки.

Мы стали стучать в дверь и требовать начальника арестного дома Алтунина, чтобы немедленно отправить Зарафяна в больницу. Алтунин быстро явился и сказал, что не возражает против этого, но у него нет людей, которые могли бы это сделать. Тогда мы заявили, что готовы отнести Зарафяна сами, если только нам дадут носилки. Алтунин согласился. Мы положили Зарафяна на носилки и на плечах вынесли его из камеры.

Открылись тюремные ворота, и в сопровождении вооруженного часового мы отправились по улицам Красноводска в больницу. На наш вопрос врачу: «Что это за болезнь и насколько она опасна для жизни?» — тот без колебаний ответил: «Это приступ эпилепсии». Помню, что мы испытали в то время чувство невероятного стыда за свою неосмотрительную и глупую шутку, приведшую к таким плачевным последствиям. Единственно, что нас успокоило, — это заявление врача, что жизни артиста не угрожает опасность.

В арестный дом мы возвращались уже в более бедном настроении. Дело было под вечер. Идя по улицам города, мы, по существу, впервые увидели, что представляет собой Красноводск. Узкие улицы, кирпичные одно- и двухэтажные дома. Мало зелени. Как мы узнали, Красноводск не имел никаких источников пресной воды. Ее добывали путем опреснения морской воды на специальной установке, а какую-то часть привозили маленькими танкерами из Баку.

Красноводск в ту пору был маленьким городом с населением что-то менее 10 тысяч человек. Предприятий, кроме кустарных мастерских, в нем не было. Была только железнодорожная станция и морской порт со своими служащими и грузчиками. В городе было относительно много лавок, которые обслуживали не только население Красноводска, но и

туркменское население, проживавшее в прилегающих районах и занимавшееся скотоводством, а также рыбной ловлей. Орошаемого земледелия здесь не было, тоже из-за отсутствия пресной воды. В основном население города состояло из русских, персов, азербайджанцев, армян. Туркмены появлялись в городе наездами — на базар или по другим делам.

Мы шли, обрадованные тем, что наконец-то получили возможность подышать свежим воздухом, увидеть город и людей... Наше шествие по улицам города под охраной вооруженного солдата вызывало любопытство немногочисленных прохожих. Приходили мысли о победе, но у нас не было ни времени, ни плана побега. Конечно, мы могли разбежаться, но вырваться из города нам бы все равно не удалось, так как вокруг Красноводска с одной стороны была безводная пустыня, а с другой — море. Единственный путь побега — это выход на железнодорожные пути в глубь Закаспия, но станция и железнодорожные пути находились под сильной охраной, и, конечно, в случае нашего побега нас сразу бы поймали.

Морской порт также усиленно охранялся. Судов в нем было мало, и нас там ждала тоже неминуемая неудача. Никаких связей и явок в городе мы тогда не имели. Рассчитывать же на помощь наших случайных «гостей» по тюремной камере мы тоже не могли, так как все они были в общем-то обывателями, дрожавшими за свою шкуру. К тому же мы и не знали их адресов.

Не помню точно, в конце октября или начале ноября 1918 года, в нашу камеру привели еще одного арестованного. Это был человек лет сорока, выше среднего роста, худощавый, стройный, с вьющимися черными волосами, хорошо оттенявшими его симпатичное, интеллигентное лицо. Оказалось, что это бакинец, азербайджанец по национальности, социал-демократ, хотя и не большевик — Ибрагим Абилов. В Баку я слышал о нем, хотя никогда не встречал. Оказывается, Абилов приехал в эти края по поручению советских властей из Астрахани для выяснения судьбы бакинских комиссаров. Астраханский совдеп послал для этой цели в Красноводск, помимо него, еще двух молодых коммунистов: Марусю Крамаренко и Артака Стамболцяна. Снабдив необходимыми средствами, астраханские товарищи посадили их на небольшой пароходик «Аветик», который был отправлен в целях маскировки якобы для вывоза из Астрахани бакинских беженцев, стремящихся попасть в Красноводск из-за голода, который был тогда в Астрахани. Абилов, Артак и Маруся находились на этом пароходе тоже под видом беженцев, ищущих приюта в Закаспии. Хотя в Астрахани они были между собой хорошо знакомы, в пути делали вид, что друг друга не знают.

Все шло у них нормально. Однако по прибытии в Красноводск Абилов был после обыска неожиданно арестован и попал в нашу камеру. Своих товарищей он потерял из виду. Через два-три дня после того, как у нас появился Абилов, нам стало известно, что в одну из камер нашего коридора посажена молодая русская девушка.

Абилов был образованным человеком и оказался очень приятным собеседником. Он рассказал нам много интересного и важного об общем положении дел в Советской России и, в частности, в Астрахани. От него мы узнали, что жена Шаумяна с двумя маленькими детьми не уехала в Москву (как мы предполагали), а осталась в Астрахани в надежде на скорое спасение бакинских комиссаров: она еще не знала об их трагической гибели.

Из бесед с Абиловым мы узнали, что сам он сын кустика. Несколько лет работал рабочим на промыслах. В 1905 году вступил в РСДРП. В последующие годы принимал активное участие в партийной работе в Баку. В 1913 году был арестован и выслан в Астрахань. Хорошо знал Шаумяна и Нариманова не только по работе в Баку, но встречался с ними и в Астрахани, когда они были там также в ссылке.

Надо сказать, что хотя Абилов и не был еще большевиком, но поддерживал Советскую власть и пользовался ее большим доверием.

Забегая несколько вперед, хочу сказать, что вскоре после того, как нас вывезли из Красноводска, Абилов был освобожден и выехал в Баку. Приехав в начале марта 1919 года в Баку, мы застали там Абилова в роли члена азербайджанского парламента. Он примыкал тогда к фракции социалистов. В стенах парламента Абилов выступал против мусаватистского правительства. После провозглашения в 1920 году Азербайджанской Советской Республики он окончательно примкнул к большевикам.

По окончании Съезда народов востока Абилов работал секретарем «Совета пропаганды и действий», образованного этим съездом, а потом, в 1921 году, стал первым полномочным представителем Азербайджанской Советской Социалистической Республики в Турции и на этом высоком посту проявил подлинный талант советского дипломата. Об этой его деятельности очень тепло написал в своих воспоминаниях советский посол в Турции Аралов. Деятельность Абилова высоко оценили Нариман Нариманов и Александр Мясникян в своих статьях, посвященных его памяти. Умер Абилов в Турции после тяжелой болезни и операции в 1923 году.

☆

Жизнь наша в тюрьме продолжала идти однообразно и по-прежнему в изоляции от внешнего мира. Единственно, с кем нам приходилось общаться, были наш тюремный начальник Алтуний и его правая рука — надзиратель.

Полный, упитанный, краснощекий, с длинными пушистыми усами, Алтуний всем своим видом походил на русского провинциального купца. У него была жена, очень полная, дородная и, как нам казалось, не злая, а даже скорее добрая женщина. Сам Алтуний был, что называется, добросовестный служака, аккуратно выполнявший свои обязанности. Не создавая нам никаких особых трудностей, он в то же время редко отступал и от установленных правил. В тюремный двор мы не выпускались, с арестованными, находившимися даже в соседних камерах, общаться нам не разрешалось.

Только один Лева Шаумян имел возможность выходить во двор, и то потому, что в его обязанность входило ставить, вернее, растапливать дровами, огромный самовар, из которого вся тюрьма пила чай. Это было большим удовольствием для Левы, потому что он мог хоть некоторое время побыть на свежем воздухе и при этом сознать, что он и для нас делает что-то полезное и приятное.

Однажды у меня появилось такое сильное желание хотя бы один-два часа побыть на свежем воздухе, что я уговорил Леву сказать, что он плохо себя чувствует. Начальник разрешил мне выйти вместо Левы во двор и поставить самовар. В этом деле я был плохой специалист, да и самый процесс разду-

вания самовара особого интереса для меня не представлял. Но я был доволен. Я буквально наслаждался, вдыхая свежий воздух. В маленьком городке, каким был Красноводск, расположенный на берегу моря, при редких осадках и обилии солнца, он был особенно чистый и свежий...



Через день после того, как в нашу камеру посадили Абилова, Лева, неся со двора чайник с кипятком, сообщил нам, что, проходя по нашему коридору, он через «глазок» одной из камер мельком увидел новую арестантку — знакомую ему, Марусю Крамаренко, однако, из конспиративных соображений, не подал виду, что узнал ее. «Но мы, — сказал Лева, — посмотрев в глаза друг другу, все поняли».

Когда после этого нам приходилось проходить мимо камеры, где сидела Крамаренко (а это бывало всякий раз, когда нас водили в уборную, мы тоже старались «не узнавать» Марусю, если нам и доводилось заглядывать в ее «глазок». Такая «маскировка» удалась нам до конца. В противном случае Марусю могли бы «привязать» к нам, раскрыть ее как большевичку, а это закончилось бы для нее весьма печально.

Таким образом, мы узнали, что из трех товарищей, направленных в Красноводск из Астрахани, двое сидят вместе с нами в арестном доме и, к счастью, не раскрыты. Следовательно, третий — Артак — сумел проскользнуть через все рогатки и препоны обысков и досмотров и, что называется, обвести «вокруг пальца» красноводскую полицию.

Артак я хорошо знал с детства. Он был одного со мной возраста. Мы учились в одном классе Тбилисской армянской семинарии. Как и я, Артак был профессиональным революционером. До революции мы состояли с ним в одних и тех же подпольных марксистских кружках. Вместе входили в боевую дружину большевиков при Бакинском комитете партии, участвовали в уличных боях, защищая Советскую власть в марте 1918 года. Наша дружба и взаимное доверие не раз подвергались испытаниям, и всякий раз наши отношения ничем не омрачались, а крепились все больше. Артак всегда отличался беззаветной преданностью большевистской партии и своим товарищам по революционной борьбе. Мы все его очень любили.

Артак был смел до дерзости, ловок и мог всегда выйти из любого, казалось бы, безвыходного положения. Эти качества никак не вязались, прямо скажем, с его неказистой внешностью. Маленький, щупленький, с каким-то детским выражением лица, которое он мог, однако, по желанию изменять, обладая исключительным талантом мимики, Артак был к тому же искусным комиком, имел всегда огромный запас смешных рассказов, обладал острым и едким языком, удачно имитировал и по-дружески высмеивал товарищей, ловко подхватывая малейшие особенности или слабости в их характере и поведении. И только какой-то особенный, проникновенный взгляд Артака, умение в любой обстановке владеть собой говорили о том, что перед вами — волевой, сильный духом мужчина.

Не могу не рассказать об одном курьезном происшествии этих дней. Как-то попало в наши руки решето с виноградом. То ли кто-то с воли прислал нам его, то ли его купил для нас, за наши деньги Алту-

Ибрагим
Магеррам оглы
Абилов
(1881—1923)



нин. Так или иначе, мы располагали огромной «ценностью». Только собрались мы насладиться вкусным виноградом, как вдруг Самсона Канделаки как истинного грузина осенила идея изготовить вино. Предложение Самсона было принято. Самсон засучил рукава и выжал в большой фарфоровый чайник с отбитым носом весь виноград. Завернули чайник в одеяло и запрятали глубоко под нары. Самсон объявил, что недели через две мы будем иметь отличное маджари — молодое вино. Прошла неделя, всем нам не терпелось. Самсон решил, что «надо попробовать». Вытащили чайник, все понемножку попробовали и увидели, что вино еще не готово. Проба повторилась еще раза два. В результате, когда пришла пора вино созреть, в чайнике оказалась одна только кислая виноградная кожура, которую пришлось просто выбросить за окно.

На следующий день мы увидели Алтунина очень расстроенного, с заплаканными глазами. Полюбопытствовав, в чем дело, мы узнали, что заболела свинья, которую он откармливал и намеревался резать к рождеству. В окно Лева увидел, как эта свинья еле бродила по двору, переваливаясь с боку на бок. Через день свинья поправилась. Алтунин и его жена повеселели, а мы только позже догадались, что свинья обожралась под нашим окном перебродившими виноградными выжимками и просто-напросто опьянела.



Крайне плохие условия нашей жизни в арестном доме, скудное, на грани голода питание вконец подточили наши силы. Оставшихся денег не хватило бы и на несколько дней сытной еды, но мы не решались их тратить, считая, что они еще могут нам пригодиться. Постоянное недоедание особенно остро сказалось на моем физическом состоянии, потому что еще до прибытия в Красноводск я был сильно истощен. У меня стали болеть десны. Я почти совсем не мог есть черствый хлеб. Наконец, я обратился к начальнику арестного дома с просьбой направить меня к какому-нибудь зубному врачу. Алтунин на это согласился.

Однажды под охраной часового он направил меня в частный городской зубо-врачебный кабинет. Кабинет находился в первом этаже небольшого домика. Открыв дверь, часовой пропустил меня, а сам остался за дверью. Комната врача была маленькая, очень бедно обставленная, оборудования и мебели в ней

было мало. Со мной поздоровалась врач — молодая женщина приятной внешности. Она была предупреждена о том, кто я, поэтому у меня не было надобности представляться. Ее имени и фамилии я также не спросил. Она внимательно меня осмотрела и сказала: «Единственное лечение для вас — это побольше есть свежих фруктов и как можно больше времени проводить на свежем воздухе». Я удивился и подумал: «Не издевается ли она надо мной? Ведь она же знает, в каком я нахожусь положении!» Но она все это говорила вполне серьезно. Я почувствовал даже, что она глядит на меня с каким-то уважением. Это было видно по ее глазам, приятной улыбке, ласковому голосу. Однако, слушая ее и смотря ей в глаза, я продолжал думать: «Как же я могу покупать фрукты и дышать свежим воздухом в моем положении арестанта?» Но сказать ей об этом мне помешала гордость. А к тому же чем она могла мне помочь? Я поблагодарил ее и ушел.

Бывают же в жизни такие невероятные случаи! Через сорок один год после этих событий случилось так, что эта женщина-врач, живя в Америке, случайно увидела и узнала меня. В 1959 году, во время поездки по США, я попал в Чикаго в один из дней, когда в большом концертном зале этого города выступал наш знаменитый советский ансамбль «Березка» под руководством Н. Надеждиной.

Поскольку тогда за каждым моим шагом следили американское телевидение, радио и печать, я решил пойти на выступление этого ансамбля, хотя хорошо был знаком с ним еще по Москве: мне хотелось привлечь внимание американской публики к ансамблю, не говоря уже о том, что пойти на этот концерт меня специально просил известный организатор выступлений советских ансамблей в Америке господин Юрок, приславший мне билеты в отдельную ложу. После концерта я зашел за кулисы, приветствуя и поздравляя наших замечательных девушек.

Впоследствии я получил от редактора одной из газет штата Висконсин Фреда К. Стейнке такое письмо: «Уважаемый г-н Микоян! Я уверен, что прилагаемая статья окажется для вас интересной».

Из приложенной к письму газеты было видно, что на выступлении ансамбля «Березка» присутствовала та самая женщина — красноводский зубной врач, которая меня осматривала в 1918 году. Она меня не только вспомнила, но и дала об этом интервью, в котором говорилось, в частности, что она — зубной врач из Кеноша штата Висконсин Юдит Шуйская — в 1918 году жила и работала в Красноводске.

«Зубной врач из Кеноша вспоминает, — читал я в этом интервью, — как она лечила десны г-на Микояна.

Д-р Юдит Шуйская рассказала эту историю в субботу в своей гостиной, живо вспоминая все подробности тех событий, хотя они имели место очень давно. Д-р Шуйская вспомнила, что тогда 29 большевистских руководителей были посажены в тюрьму. «Среди них был очень симпатичный молодой человек г-н Микоян. Может быть, — продолжала г-жа Шуйская, — этого и не стоило бы говорить, но я почти влюбилась тогда в него. Он был похож на Христа. На лице и в его больших глазах отражалось какое-то страдание... Однажды в жаркий июльский день мне кто-то позвонил. Я открыла дверь. Передо мной стоял этот молодой человек, а за ним солдат с винтовкой. Микоян сказал: «Меня послали сюда, чтобы вы меня осмотрели». Я усадила Микояна в кресло, внимательно осмотрела его рот и обнаружила у него цингу — болезнь полости рта, вызываемую очень плохим питанием и недостатком витаминов. Его десны кровоточили и причиняли ему острую боль...»

На вопрос корреспондента, видела ли она когда-либо снова этого симпатичного большевика, д-р Шуйская ответила: «Да. Спустя два года после того, как я переехала в Баку, я встретила его на улице. На волне революции Микоян стал одним из деятелей, стоящих у власти в большевистском дви-

жении. «Вы помните меня?» — спросила она его. «Да, да», — ответил он.

В пятницу вечером г-жа Шуйская была на представлении «Березки», ансамбля русских народных танцев, в Чикаго. Микоян тоже был там. Но зубной врач, ранее лечивший его, видела его лишь издали и не смогла с ним разговаривать. Насколько она могла разглядеть, Микоян сильно не изменился. Снова она вспомнила то «трагическое» выражение его лица, которое он имел, будучи молодым человеком. Может быть, это было отражением тех печальных лет.

Юдит Шуйская закончила интервью следующими словами: «Не создавайте впечатления, что я являюсь другом правителя России»¹.

Читая это забавное интервью госпожи Шуйской, я не мог без улыбки вспомнить, что в день нашего первого с ней знакомства я выглядел, по-видимому, действительно «весьма» необычно: около двух месяцев к моему лицу и волосам не прикасались ни ножницы, ни бритва. Себя в зеркало я тогда не видел.

✱

Наше пребывание в тюрьме продолжалось. Дни проходили один похожий на другой. Мы не знали, что нас ожидает, да это нас и не очень беспокоило. Мы уже совсем свыклись со своим положением. Но вдруг однажды к вечеру (дело было в начале ноября) совсем неожиданно нам объявили, что через два часа нас переводят из Красноводска в город Кизыл-Арват. Мы были поражены и старались понять причину столь необычной поспешности. Какой смысл переводить нас из арестного дома одного города в такой же дом другого города? Явная бессмыслица. Лишь одна деталь помогла нам кое-что понять: нас переводили не всех — Абилов, который попал в тюрьму отдельно от нас, оставался на месте. Мы сразу вспомнили, что бакинских комиссаров из нашей камеры выводили примерно так же, под таким же предлогом, а по дороге их расстреляли. Мы без колебаний пришли к выводу: судьба наша решена, с нами этой ночью поступят так же, как и с нашими товарищами. Нас отвезут куда-нибудь в сторону Ашхабада и там, в пустыне, расстреляют.

Хотя все это было и совершенно неожиданно, но мы настолько уже психологически были подготовлены к такому исходу, что особого волнения, как ни странно, не испытывали. У нас не было никаких сомнений, что нас ведут на расстрел.

Вспоминаю одну деталь: у нас оставалось 120 рублей. С общего согласия я оставил у себя 40 рублей («керенками») — на всякий случай. Они могли пригодиться в самый последний момент — ну, скажем, дать какому-нибудь солдату, чтобы он подал нам воды, если захочется пить. Остальные деньги я передал Абилову, сказав, что теперя они нам уже не нужны, а ему еще могут пригодиться. Мы оставили ему также и наш чайник, который тоже теперь был нам не нужен. Тепло попрощавшись с Абиловым, мы под охраной вышли из камеры. Проходя по коридору, мы заметили, что через смотровое отверстие одной из камер на нас смотрит Маруся Крамаренко, привлеченная поднявшимся шумом. Наши взгляды встретились, и мы молча и незаметно для конвойных попрощались друг с другом...

В это время открылась дверь женской камеры, и четверо арестованных с нами женщин вышли в коридор. Вместе с ними вышла и пятая — Маро Туманян, которая была арестована несколько позже нас. Мы впервые за эти месяцы с ними встретились. Всех

¹ Интервью приводится в сокращенном виде.

нас вывели под охраной во двор. Было уже темно. Пешком по улицам города нас привели на железнодорожную станцию. Шли мы с достоинством, без волнения. Один только больной Амиров-старший явно нервничал, но и он старался внешне себя всячески сдерживать.

...Как-то не так давно мы вспоминали с Лево́й Шаумяном те далекие дни и то, как нас выводили тогда из тюрьмы, по нашему убеждению, на расстрел. Лева напомнил мне: «Помнишь, как Алтунин и его жена плакали, когда нас уводили?» Действительно, так было. И Алтунин и его жена тоже были убеждены, что нас ведут на расстрел. Плакала жена Алтунина — толстая добрячка. Ее слезы были естественны: она была, в общем, хорошей, доброй женщиной. Но удивительно было, что плакал и Алтунин, этот царский тюремщик, теперь служивший контрреволюции. Видимо, слезы появились у него либо под влиянием переживаний жены, или — что я также не исключая — и у него где-то глубоко в душе еще оставались какие-то окончательно не растоптанные, простые человеческие чувства...

Много лет спустя, когда я уже был народным комиссаром и жил в Москве, ко мне приехал из Ашхабада Алтунин с какой-то просьбой. Я его принял, расспросил, мы вспомнили прошлое, и, помню, я оказал тогда нужную ему помощь.

Возвращаясь к своим воспоминаниям... На станции нас погрузили в теплушку, оборудованную для перевозки почты. Одна треть вагона была отгорожена и предназначалась, очевидно, для почтовых служащих. Всех женщин и мужчин посадили вместе в грузовую половину вагона, а в другой его половине располагалась охрана. Нас разделяла с ней перегородка с небольшим окном, в котором была решетка. Через него на нас все время смотрели несколько пар глаз охранников.

Та половина вагона, где нас разместили, была очень маленькой. Скамеек или нар не было. Поэтому мы сидели и лежали на полу: женщины — в одной стороне, мужчины — в другой. Погода стояла холодная. Через щели в тонких стенах вагона дул сильный ветер, пронизывая до костей. Особенно холодно было мне, одетому только в гимнастерку военного образца, брюки (как сейчас помню, галифе), сапоги и военную фуражку. У других товарищей были пальто. Сурен Шаумян был одет, как и я, в военную форму, но у него, к счастью, была еще шинель. Лева и здесь не расставался со своей черкеской, которая на этот раз очень ему пригодилась. От холода я дрожал и поэтому лег между Лево́й и Суреном, чтобы хоть немного согреться.

Меня волновало тогда только одно: если нас выведут на расстрел до восхода солнца (которое могло бы меня хоть немного согреть), не подумают ли наши убийцы, что я дрожу от страха, а не от холода? Мысль о самой гибели как-то отошла на второй план. (Подобное направление мыслей в такие моменты, очевидно, и есть одна из психологических загадок жизни!) Мне хотелось, чтобы с нами расправились после восхода солнца, когда будет теплее. Тогда я и другие товарищи, немного отогревшись, смогли бы держаться с еще большим достоинством.

...Все больше и больше росла у нас уверенность, что нас везут на расстрел. Дополнительное тому подтверждение мы видели и в том, что нас посадили не в обычный арестантский вагон, а почему-то в почтовый, а самое главное — что поместили нас вместе с женщинами, тогда как арестованных женщин и муж-

чин обычно не сажают вместе ни в камеру, ни в вагоны. К тому же в нашей половине вагона не было ни параша, ни уборной.

Мы были полны чувств глубочайшего возмущения, стыда и позора. Лишенный возможности пользоваться уборной, больной желудком старший Амиров, а за ним и женщины, длительное время страдая и мучаясь, были вынуждены отправлять естественные надобности прямо там, где они лежали. На полу вагона было мокро, дышать становилось все труднее. Понимая, что переживают наши несчастные женщины и в то же время сознавая свою беспомощность, мы испытывали жгучую боль.

Медленно тянулись часы, такие длинные и тягостные... Монотонно стучали колеса.

В ожидании, что поезд скоро остановится, вагон отцепят и нас всех выведут на расстрел, мы между собой не разговаривали. Каждый думал о своем. Я по-прежнему лежал между Лево́й и Суреном. Половинками шинели Сурена и черкески Лево́й они прикрывали меня. Мы близко придвинулись друг к другу. Стало тепло, и дрожь от холода прошла. Но мы не могли уснуть. В голове все время проносились мысли: «А что удалось нам сделать за это время? Что я сделал для революции? Только-только начал что-то полезное, только начал набирать силы, опыт, приобрел какую-то уверенность, испытал себя в революционной работе, начал получать кое-какое признание товарищей — и вдруг жизнь твоя должна так нелепо оборваться! Как хорошо было бы послужить революции хотя бы еще годика два-три, и уж если придется погибнуть, то в открытом бою, совершив что-то настоящему полезное!» Жаль мне было молодых сыновей Шаумяна, которые так рано вошли в революцию и так стойко себя вели. Такие способные, преданные, и вдруг такая чудовищная смерть! Все это казалось мне нелепым и несправедливым.

Я думал и о том, что происходит в Баку, где товарищи, что остались там, кто из них жив, кто спасся, кто погиб, существует ли наша партийная организация или она разгромлена.

Все это волновало, но ответа на эти вопросы найти было невозможно. Догадки не могли быть ответом.

Думал я и о своей семье: особенно меня волновало, что мать, наверное, уже решила, что мы погибли, потому что о нас давно не было никаких известий. Она, вероятно, уже знала, что бакинских большевиков расстреляли, но не могла знать, что я еще жив. Мне безумно жалко стало мать. Вспомнил я и отца, хотя в то время его не было уже на свете, вспомнил своих сестер и братьев, хотя понимал, что им все это переносить легче, чем матери. Вспомнил, конечно, и свою троюродную сестру Ашхен, на квартире родителей которой я жил во время учебы в средней школе. Уже в 1913 году, за четыре года до Февральской революции, я понял, что мои чувства к ней больше, чем к сестре. Но по старинному армянскому обычаю, троюродный брат не может жениться на троюродной сестре. Народный обычай требовал «семи колен», а здесь «не хватало» одного колена. Конечно, я давно уже был атеистом, но народные привычки имели свою силу. Я понимал, что родители и родственники будут против нашего брака и осудят меня за него. Я старался отгонять мысль о браке с Ашхен и нарочито стал даже относиться к ней более холодно и строго. Ее же чувства ко мне оставались хорошими. Я старался не думать об этом. Иногда мне это удавалось. Дело в том, что я очень рано прирастал к чтению, очень любил читать и все свободное время проводил за книгами, и не столько да-

же за учебниками (память у меня с детства была хорошая, я внимательно слушал уроки в классе и все хорошо запоминал), сколько за политической литературой. К тому времени я уже становился марксистом.

Я все больше и больше любил Ашхен, и мне становилось труднее скрывать свои чувства. Через два-три года мне захотелось объяснить ей в любви, но я как-то испугался и не сделал этого, хотя несколько раз и пытался. Я видел ее хорошее отношение ко мне, как сестры к брату. «А вдруг она откажет мне?» Мужская гордость не позволяла рисковать своей честью. Четыре года я не осмеливался признаться ей в своем чувстве: вел себя строго и отчужденно. Однако в 1917 году, летом, я не выдержал и объяснился Ашхен в любви. Она сказала, что и сама давно меня любит, только всегда поражалась моему черствому, сухому отношению к ней. Она объясняла это тем, что, очевидно, не нравилась мне.

Все это было после июльских событий. Ленин объявил тогда, что время двоевластия кончилось, и призвал готовиться к вооруженному восстанию для захвата власти пролетариатом. Было ясно, что нам придется вести тяжелую борьбу за победу пролетарской революции.

Предвидя все эти трудности, я сказал Ашхен, что нам надо немного подождать с женитьбой, — ведь в предстоящей революционной борьбе я могу погибнуть, а она может остаться вдовой, да еще, возможно, и с ребенком. «Вот когда все успокоится, революция победит, тогда мы с тобой и поженимся», — говорил я. Ашхен со мной согласилась. Она все уже хорошо понимала: за три месяца до того Ашхен вступила в партию большевиков. Мы условились, что о нашем решении никто знать не должен. Она училась тогда в последнем классе Тбилисской армянской женской средней школы. Через год она окончила школу и уехала преподавать в деревню, в район Сухуми.

...И вот, пока поезд вез нас, казалось, в последнее путешествие, я продолжал думать об Ашхен. Что там она думает, что переживает? Узнала ли она о гибели бакинских комиссаров? Конечно, она не знает, где я нахожусь и жив ли я вообще. Наверное, думает, что я погиб, и горюет обо мне. Было мне тяжело, но я утешал себя тем, что поступил правильно, не женившись на Ашхен. Мы погибнем. Не будучи моей женой, она все же легче перенесет это горе...

Мы ждали, что на какой-то станции к утру нас отцепят. Наконец через много часов поезд действительно останавливается на какой-то неизвестной нам станции. Через щели вагона мы хорошо слышим разговоры и команду на станции. Молчим. Вдруг перед самым отправлением поезда ясно слышим, как кто-то протяжно кричит: «Отцепи вагон!» А чуть спустя такой же голос отвечает: «Отцепили». Все становится ясно.

Однако через несколько минут совершенно неожиданно вагон наш тронулся вперед... В углу вагона раздался облегченный вздох, и среди общего молчания Ольга Фиолетова произнесла: «Ну, еще живем!» Мы поняли, что ночью к нашему поезду незаметно для нас прицепили еще один вагон, который и был отцеплен на этой станции. Теперь нам оставалось ждать, когда отцепят наконец и наш вагон.

Остановились на следующей станции. Однако команды об отцеплении нашего вагона и тут не последовало. Стоянка кончилась, и мы тронулись в

путь. Так мы проехали еще две-три станции. Стало совсем светло. Мы поняли, что сегодня нас не будут расстреливать, и впервые мелькнула мысль: «А возможно, нас везут не на расстрел, а действительно переводят в другой город?..»

☆

Время шло невероятно медленно. Затхлая атмосфера в вагоне, чувство возмущения бесчеловечным отношением к нам, в особенности к женщинам, и, наконец, злость на собственную беспомощность и невозможность что-либо изменить в нашем положении продолжали вызывать тягостные чувства. Мы молчали. Наконец наш поезд остановился на станции Кизыл-Арват. Когда открыли дверь вагона и нас стали выводить, мы увидели, что находимся прямо против станционной уборной. Это нас невероятно обрадовало. Нам — двум братьям Шаумян и мне, — самым молодым из находившихся в вагоне, удалось сдержаться до последней минуты в течение более чем 15 часов. Сначала старших, а затем и нас охватило какое-то чувство облегчения. Мы стали друг с другом оживленно разговаривать и даже шутить.

Теперь мы уже не сомневались, что со станции нас поведут по улицам города в арестный дом. Было еще светло. Но нас неожиданно повели в сторону от городских улиц, и вскоре мы очутились в овраге — русле высохшей реки. Нас вели по этому оврагу в сторону от города. И вновь у меня мелькнула мысль: не ведут ли нас на расстрел? К этой мысли все мы настолько привыкли, что даже не стали спрашивать охрану, куда нас ведут. Пройдя овраг, мы оказались на другой стороне города, у стен арестного дома. Открылись ворота в глинобитной стене, окружавшей арестный дом. Перед нами был небольшой одноэтажный каменный дом, чуть меньше красноводского. Мужчин и женщин поместили в разные камеры. На вопрос, почему нас вели с вокзала таким странным маршрутом, через овраг, охранники ответили, что это было сделано для того, чтобы нас не видело местное население.

К нашему счастью, внутри камеры была печь, которая к тому же топилась не из коридора, а из камеры, что было особенно важно для нас. Наконец-то мы избавлялись от холода по ночам и могли сами, по своему желанию, топить печь саксаулом, которого нам давали вдоволь.

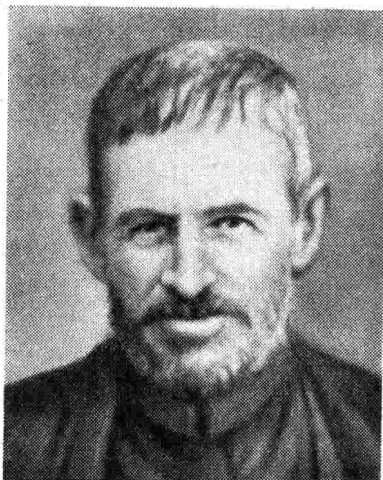
Сколько раз, сидя около раскрытой печи, мы с любовью смотрели на языки огня, радовались теплу и даже какому-то уюту. В этой тюрьме нас, а в особенности меня, ожидала еще одна приятная новость: с едой стали выдавать головки сочного, вкусного лука. Он очень дешево продавался здесь на местном рынке. Лук этот мы пекли в золе нашей печки и поедали в большом количестве. Особенно много ел его я. Это было полезно для лечения моих кровоточащих десен. Хорошо было и то, что нам из-за отсутствия сахара давали к чаю очень вкусный кишмиш. Так или иначе, но здоровье мое стало заметно улучшаться.

Старого, вконец разболевшегося Амирова администрация перевела в больницу. Это было и для него и для нас большим облегчением.

Зато вскоре к нам в камеру посадили одного малограмотного, плохо говорившего по-русски туркмена лет под пятьдесят. Обросший седеющей бородой, в туркменском поношенном халате, он производил хорошее впечатление. Судя по всему, он был болен туберкулезом. Жалко было смотреть, как он мучает



Талита (Тамара) Микоян —
мать А. И. Микояна
(умерла в 1960 г.).



Ованес Микоян —
отец А. И. Микояна
(умер в 1918 г.).



Ашкен Туманан —
жена А. И. Микояна
(умерла в 1962 г.).

ся от бесконечных приступов кашля. Хотя он пробыв с нами всего три или четыре дня, эти дни мне запомнились. По вечерам, когда темнело, с согласия надзирателя он вдруг уходил куда-то из камеры и возвращался через два-три часа совершенно преобразенным. Никакого кашля, никакого нытья, веселое, радостное настроение! Приятно удивленные, мы спрашивали его: «Где ты был, что с тобой случилось?» Он отвечал: «Не спрашивайте, где я был, но было очень, очень хорошо, как в раю. Много красивых женщин! Как хорошо, как хорошо!» У него не хватало запаса русских слов, чтобы выразить свое восхищение, но это дополнялось радостным блеском его глаз. Заинтригованные, мы все же допытывались у него, в чем было дело. Под большим секретом он рассказал нам, что ходил в какое-то заведение в городе, где курят гашиш (наркотик, широко распространенный в то время в Закаспии). Оказалось, что все то, что он называл «раем» и его «прелестями», было лишь следствием опьянения от наркотика.

Уже несколько месяцев мы не были в бане, не меняли и не стирали белья. Завелись вши. После настоятельных просьб мы наконец добились, что как-то вечером нас, мужчин, под охраной повели в баню железнодорожных рабочих на вокзале. Баня была чистая, с горячей водой и парной. Словом, настоящая русская баня, в которую я, кстати, попал впервые в жизни. Мыться было очень приятно. Мы парились, но у нас не было... мыла. А какая же баня без мыла! Белье свое мы стирали тоже без мыла. Когда оно высохло там же, в бане, то оказалось, что оно почти такое же грязное, как и до стирки. Несмотря на все это, посещение бани нас подбодрило, чувствовали мы себя неплохо. Позже, в тот же день, в эту баню водили и женщин.

Когда мы вышли из тюрьмы, чтобы идти в баню, нас ожидал приятный сюрприз. Недалеко от тюремных ворот мы неожиданно увидели Артака (одного из трех товарищей, которые прибыли в Красноводск по заданию Астраханской организации). Чтобы не выдать себя, он, конечно, сделал вид, что нас не знает. Однако по всему нам стало понятно, что он очень доволен состоявшейся встречей. Мы поняли, что в

ожидании такой встречи он уже не один день ходил возле нашего арестного дома. Мы тоже были обрадованы этой встречей и глубоко тронуты отношением Артака: мы даже не знали, удалось ли ему спастись от лап полиции в Красноводске, а вот теперь он здесь, в Кизыл-Арвате, и ходит за нами, изыскивая способ хоть чем-нибудь помочь.

Забегая несколько вперед, хочу сказать о том, что, когда впоследствии нас перевели в Ашхабад, там мне удалось свидеться в арестном отделении областной больницы с Артаком, и он подробно рассказал, каким образом ему удалось избежать ареста в Красноводске. Об этом он написал в 1926 году в своих воспоминаниях, которые хотя бы частично, как мне представляется, небезынтересно здесь привести.

Я уже писал со слов Абилова, что, когда они выезжали из Астрахани в Закаспий, он, Маруся Крамаренко и Артак договорились, что будут вести себя как лица, незнакомые друг другу.

«Так как в Астрахань дошли слухи, что в Красноводске весьма тщательно обыскивают, чуть ли не догола раздевают, деньги мы решили передать кому-либо из команды, — вспоминал Артак. — Сговорились с помощником капитана неким Адольфом Рогачиком, что он передаст пакет всякому, кто ему скажет пароль «Красный фонарь».

В 20-х числах октября мы выехали из Астрахани. Все шло пока хорошо. Но вот ночью подходит ко мне наш партиз Леон Арустумов, который тоже ехал на этом пароходе, и, указывая глазами на армянина, который в Астрахани посещал семью Шаумяна, говорит: «Остерегайтесь его».

Впоследствии оказалось, что этот армянин был английским контрразведчиком и какими-то судьбами все разнюхал о наших планах. Выпив на пароходе маленькую рюмку самогона, он расчувствовался и разоткровенничался с Арустумовым: «Я знаю, зачем едет вот этот человек (кивок в мою сторону). Я ему устрою так, что ему голову снесут...» И он в общих чертах рассказал Арустумову о моем задании. Изменить план было поздно, и я решил выждать и посмотреть, что дальше будет. С Марусей и Абиловым я держался по-прежнему как чужой.

В Красноводске нас первым долгом встретил катер с английской контрразведкой. Наш армянин сошел к ним с парохода, и контрразведчики встретились с ним, как старые приятели. Для меня стало ясно, что мы провалились. Всех пассажиров подвергли обыску, а нас выделили из общей массы и обыскали самым тщательным образом, вплоть до вспарывания подкладки одежды. Ничего не нашли. Отняли доку-

менты, отпустили и вменили в обязанность явиться на следующий день в штаб английского командования.

Почему нас не арестовали сразу? Очевидно, хотели вынюхать явку... А явка у меня была к Серго Мартикяну.

Мы по-прежнему держались как чужие. Я остановился в гостинице около порта, а Маруся и Абилов около вокзала.

Я решил, что необходимо получить деньги от помощника капитана Рогачика, встретил его и спрашиваю о пакете. Вижу, парень держит себя как-то беспокойно, говорит, что боится и что передаст деньги через полчаса. Делать нечего, решил ждать эти полчаса. Проходит час. Наконец, он является. Опять в большом замешательстве и с большим беспокойством говорит, что сейчас боится передать пакет, передаст его завтра в 12 часов дня на площади, у пристани.

Меня взяло сомнение, почему ему хочется передать пакет завтра, но ничего нельзя было сделать. Я решил пойти к Серго Мартикяну и разузнать у него что-либо о судьбе наших товарищей. Будучи уверен, что за мной уже организована слежка, я решил запутать шпинов. Побродив немного по городу, я вошел в гостиницу и вышел через другие двери, на другую улицу, покрутил еще немного по улицам и, наконец, пришел в назначенное место. Увидев меня, Серго очень взволновался: «Шаумяна и Алеши в Красноводске нет... Возможно, что их отправили в Индию, а возможно, что и расстреляли... Никакой надежды нет, и тебе надо поскорее удирать... Не ходи за деньгами... Это, наверно, ловушка...»

Серго заразил меня своей паникой, и я немного пал духом. Когда вышел от него, стал думать о том, как выбраться из Красноводска. На одной из улиц подходит ко мне армянин, который уехал с парохода с контрразведчиками, и откровенно сообщает мне, что он знает о моем задании. Потребовал за молчание денег, в противном случае угрожал выдать.

Я решил оттянуть время и пообещал дать ему денег на следующий день вечером в ограде армянской церкви. На этом мы расстались, и я пошел к себе в номер.

Утром, встретившись с Марусей, я рассказал ей все, что случилось со мной накануне, и мы стали обдумывать, как бы нам выехать из Красноводска. Условившись, что Маруся будет ждать меня на пристани, я пошел к кораблю. Нам как будто посчастливилось. Я встретил одного знакомого большевика-матроса и, разговаривая с ним, узнал, что он с парохода «Африка».

Он пообещал приютить нас на пароходе.

Приближалось уже 12 часов — условное время для получения пакета с деньгами. Когда я рассказал своему матросу, что мне предстоит получить этот пакет, и спросил, приютит ли он меня после этого, мой матрос сдрейфил и стал отказываться. Все-таки я решил пойти и получить пакет.

«Если там ловушка, то я сумею откупиться частью денег», — думал я. А деньги были по тому времени немаленькие — 10 000 рублей николаевскими кредитками. Бросать их мне не хотелось, так как без денег трудно что-либо предпринять для помощи арестованным.

Я расстался с матросом и вышел на площадь. Было уже около половины первого. На площади никого не было. Маруся тоже куда-то исчезла. Пошел по направлению к базару и вдруг вижу: Марусю ведут под конвоем.

Впоследствии я узнал, что Маруся, ожидая меня, решила сама пойти и получить пакет, не желая подвергать меня риску.

В условленном месте она увидела разгуливавшего взад и вперед помощника капитана, подошла к нему, сказала пароль, и только он передал ей пакет, как ее внезапно схватили несколько вооруженных людей. Она успела бросить пакет на подоконник ближайшего дома. Тем не менее она этим не спасла пакета: не найдя его при ней, контрразведчики вернулись на место ареста и нашли его.

Помощник капитана Адольф Рогачик, вероятно, увидев, что нас выдали, испугался и, думая, что в пакете находятся важные бумаги, боясь за свою шкуру, выдал нас.

Подавленный происшедшим, я отправился бродить по улицам. За мною неотступно, как тень, следовали шпики.

Абилова разыскать я тоже не мог, так как он был уже арестован, о чем я узнал позже.

Отвязавшись некоторыми маневрами от шпинов, я пришел на пристань и лег под штабеля леса, где пролежал до вечера. Вечером решил во что бы то ни стало уехать.

В гостинице у меня осталась шинель. Мне было

жаль ее оставлять, и я решил попытаться забрать ее. Иду к гостинице и вижу, что у входа стоят вооруженные.

Сделав большой круг, подошел к другим дверям, но и там вооруженные, а с ними и тот армянский контрразведчик. Мне стало ясно, что охотятся за мной.

Пошел к вокзалу и вижу: оттуда идут люди с чемоданами. Сообразив, что на станции что-то произошло, спрашиваю, в чем дело.

Говорят, что там прибыли какие-то большевистские шпионы, и поэтому без пропуска английского командования на вокзал и в поезд не пускают.

Пробрался по путям в товарные вагоны и сквозь щели стал рассматривать, что происходит на вокзале.

По перрону с патрулями носится армянский контрразведчик и тщательно вглядывается в публику. Фильтрует довольно серьезно.

Первый звонок. Я вылез из теплушки и пошел к поезду. Решил договориться с машинистом. Подхожу, прошу его взять меня на паровоз. Выдумываю мифическую большую мать в Ашхабаде, пропуска, мол, взять не успел. Машинист наотрез мне отказал.

Тогда решил испытать счастье на кондукторах. Подхожу к одному, повторяю опять сказку о большой матери, предлагаю 30 рублей.

По вагонам идет проверка — кондуктор побоялся и тоже отказал.

Второй звонок. Контроль прошел в вагон. Прошу другого проводника, предлагаю уже 300 рублей. Это, очевидно, испугало его, и он отказался. В это время с перрона к поезду направляется вооруженный английский отряд. Проводник уходит в вагон. В отчаянии лезу в вагон, и тут мне бросается в глаза лесенка на крышу вагона. Я быстро карабкаюсь по ней и ложусь в теневой стороне горбыля крыши.

Отряд оцепил поезд. Время тянется.

Третий звонок. Поезд не двигается. Очевидно, идет обыск. Прошло полчаса, и наконец поезд тронулся.

Поезд идет очень быстро. Свистит холодный ветер, пронизывает насквозь.

На следующей станции опять обыск. Чем дальше, тем хуже себя чувствую. Руки ооченели, едва держусь. Еще некоторое время — и может случиться, что ооченевшие руки откажутся повиноваться, и я упаду.

Наконец, на четвертой станции, я слез с крыши и, пользуясь темнотой, прошмыгнул в вагон. Вагон был битком набит беженцами. Я продрог и дрожал от холода. Какой-то беженец, армянин, обратил на меня внимание. Я сказал, что у меня приступ малярии, и попросил его купить мне билет до Ашхабада, сказав, что свой потерял. Билет куплен, и я свободно вздохнул.

Поезд подходит к Кизыл-Арвату, и я вспоминаю, что здесь живет мой бывший ученик Навасартян, которого я когда-то готовил в Тифлисе к поступлению в духовную семинарию. Он жил у нас в доме. Обдумав хорошенько, я решил сойти в Кизыл-Арват и остановиться у Навасартяна. Его отец имел здесь пекарню.

Обогнув депо, я направился по улице. Было уже утро, и я увидел возле небольшого дома очередь: Я у цели: очереди в 1918 году были главным образом за хлебом. Подхожу и спрашиваю Навасартяна.

— Это я, — отвечает, смеясь, мне коренастый человек.

— Ваш сын здесь?

Получив утвердительный ответ, сообщаю, что я бывший учитель его сына.

Навасартян принял меня радушно. В конце концов я открылся ему и попросил у него защиты.

Навасартян оказал мне большое содействие...

На следующий день после встречи с Артаком на улице в арестном доме нас ожидал другой приятный сюрприз. Через подставных лиц из местного населения Артак ухитрился прислать нам и арестованным женщинам передачу, состоявшую из вкусных приготовленных блюд армянской кухни. Это повторялось несколько раз. С этими обедами мы получали короткие записки от Артака (конечно, без подписи), написанные эзоповским языком. В них он сообщал интересовавшие нас сведения и, в свою очередь, задавал некоторые вопросы. В том же порядке мы отвечали Артаку краткими записками, ухищряясь передавать их вместе с пустой посудой. Нам это удавалось еще и потому, что надзиратель арестного

дома, старый служака, был в общем-то неплохим человеком. Непридирчивый, вежливый в обращении, он или не замечал, или смотрел на наши «передачи» сквозь пальцы.

Впоследствии Артак рассказывал, как трудно ему приходилось в Кизыл-Арвате зарабатывать деньги и себе на жизнь, да еще и нам помогать. Он работал тогда у отца своего товарища и выполнял поручения по продаже винограда и фруктов на базаре. Говорил, что плохо справляется с этой необычной и так не подходящей для него ролью.

Никто из нас, кроме Амирова, увезенного, как я уже говорил, в больницу, за время пребывания в Красноводске и Кизыл-Арвате ничем не болел.

Вдруг начались боли в ноге у Левы Шаумяна. Дело в том, что около года назад, поступив мальчиком в Красную гвардию, Лева был как-то вместе со своим школьным товарищем, тоже красногвардейцем, и тот случайно ранил его из револьвера в ногу. Врачи ногу вылечили, казалось, все миновало. Но здесь, в тюрьме, у него стала болеть раненая нога, начала пухнуть, боли усиливались. Мы потребовали, чтобы в арестный дом вызвали врача. Вместо врача прислали какого-то фельдшера. Он осмотрел Леву в камере и дал указание делать массаж опухшего колена. «Это поможет», — сказал он. — Опухоль опадет, и боль прекратится». Я, не разбираясь в медицине и не имея никакого опыта и знаний в этой области, тем не менее стал аккуратно и сильно делать массаж больной Левиной ноги. Лева было очень больно, он стонал. Я же говорил ему: «Ничего, терпи, раз нужно для здоровья, раз фельдшер так сказал, терпи». Он терпел, но все-таки стонал. Потом боли усилились, и он уже был не в состоянии их переносить. Тогда я прервал массаж. Боли становились все сильнее. На следующее утро мы подняли шум, требуя, чтобы к нам прислали настоящего врача. Наконец появился врач и осмотрел Леву. Мы рассказали, что выполняли указание фельдшера — делали массаж. Врач посмотрел на нас и с упреком сказал: «Что вы наделали? Гной, который образовался в его колене, вы распространили по всей ноге. Может быть общее заражение, и юноше придется ампутировать ногу, а может быть, и это не спасет. Больного надо взять немедленно в больницу».

Из железнодорожной больницы прислали санитаров, которые тут же и увезли Леву.

Мы были буквально убиты болезнью Левы, столь опасной для его жизни. Нас, и меня в первую очередь, долго мучило сознание, что по указанию невежественного фельдшера здоровью Левы был нанесен такой большой вред. Однако вскоре мы немного успокоились, узнав через Артака, что, хотя Лева перенес заражение крови и гангрену, положение его несколько улучшилось. Кизыл-арватские врачи все же считали, что ему необходима серьезная операция, которую сделать можно было только в Ашхабаде.

Позже мы узнали, что Леву забрали на носилках из кизыл-арватской больницы, посадили в пассажирский вагон и прямо с Ашхабадского вокзала увезли в тюремный корпус областной больницы.

Мы сидели в Кизыл-Арвате около трех недель. Вдруг как-то рано утром нам сообщают, что нас повезут в Ашхабадскую тюрьму.

Мы и раньше никак не могли понять, почему нас из красноводского арестного дома перевели в кизыл-арватский. А теперь вдруг — в Ашхабад! Опять возникли старые мысли и сомнения. Стали думать, не предлог ли это, не та ли это самая ширма, которая была применена и по отношению к бакинским

комиссарам. Вновь стало складываться мнение, что нас либо везут на расстрел, либо хотят переправить в Индию.

В связи с переездом из Кизыл-Арвата мне вспоминается один эпизод. Арменак Амиров, о котором я уже говорил, что он был страстный бильярдист и кутила, как-то в те дни сказал мне: «У тебя есть 40 рублей. Давай купим на них водки и выпьем. Станет весело, мы будем хорошо себя чувствовать при расстреле». Я ему отказал, сказав, что водку вообще не пью и буду чувствовать себя нормально и спокойно и без нее. Он стал меня уговаривать. Я упорно отказывался, говоря, что эти деньги я берегу на крайний случай. Тогда Амиров стал меня укорять, называть скрягой, скупым человеком и т. п. Вначале я обиделся, потом рассердился, не выдержал, вынул из кармана эту злосчастную сороковку, бросил ее перед ним, сказав: «Черт с тобой, бери, покупай себе эту проклятую водку!» Он отдал деньги надзирателю, который принес две бутылки самогона. Одну бутылку Амиров оставил надзирателю за услугу, другую взял себе, налил стакан, выпил залпом и предложил мне также выпить стакан самогона. Я категорически отказался.

Надо сказать, что вообще до этого я никогда в жизни не пил ни водки, ни самогона, ни коньяка. Даже виноградное вино я пил всего два раза по две три рюмки. Первый раз, когда мне исполнилось 20 лет, и еще раз — через год.

Может вызвать удивление, как это так: кавказский человек 20-летнего возраста не пробовал вина! Но это все же подлинный факт. В селе, где я родился и вырос, хорошие виноградники были к тому времени уже уничтожены, а на их месте построен медеплавильный завод. Поэтому мои односельчане вина из винограда сами не изготавливали, а гнали самогон из диких фруктов, растущих в горах (кизил, груши, яблоки), и пили его главным образом по праздникам. Мой отец, уходя на работу, каждое утро выпивал одну рюмку самогона, закусывая хлебом и сыром. Это был его завтрак. Но меня он ни разу самогоном или вином не угощал, а у меня самого ни разу не возникло желания попросить его об этом.

Вот почему я очень долго отказывался от предложения Амирова. Но он продолжал настаивать, говоря: «Ну что тебе стоит, выпей! Только надо пить до конца, сразу!» В конце концов я сдался, уступил его уговорам и сгоряча натошак выпил чуть ли не полный стакан самогона. Внутри у меня все обожгло, но голова оставалась еще светлой.

Я хорошо помню, как нас вывели из тюрьмы на улицу, повели по Кизыл-Арвату на железнодорожную станцию, где посадили в товарный вагон, оборудованный так, как это делается для перевозки солдат: на одной стороне вагона на нарах устроились мужчины, на другой — женщины, а посередине стояла и сидела вооруженная охрана.

Уже в вагоне я постепенно почувствовал сильное возбуждение, опьянел, перестал себя сдерживать и начал дико ругать охранников, обзывая их палачами, мерзавцами... Более того, как мне потом рассказывали товарищи, я стал нападать на охранников. Меня сдерживали. Что было дальше, я не помню. Товарищи уложили меня спать, и я проспал до самого Ашхабада. Когда меня разбудили, я не помнил, что натворил после того, как выпил. Все, о чем я рассказал выше, я узнал от своих товарищей. Это был первый и единственный случай в моей жизни, когда я настолько опьянел, что потерял контроль над собой. Когда нас под конвоем вели по улицам Ашхабада, я был уже трезв.

(Окончание следует.)



**Виктор
Емельянов**



Мои ученики

Я от радости
чутьочку пьяный —
Сколько новых
приветливых глаз!
Даже
старый цыган
Байгуманов
все ж решился
прийти
в первый класс.

Размещаются
взрослые дети:
там с грузином узбек,
тут казах.
Пусть им солнце
спокойное светит
в этих школьных уютных стенах.

Под рукой
промокашка в накрапах,
ручка — словно попала в щипцы.
И выводят старательно: «Папа», —
хоть давно уже сами отцы.

В школе взрослых —
ребячьи повадки:
стоит к ним повернуться спиной,
как к товарищам
пезут в тетрадки
и следя
в то же время за мной.

Слышно
в их торопливых ответах:
«Научиться быстрее хочу!»
Сам себе говорю я при этом:
«Научу, научу, научу!»

Луна

Люблю не ту луну,
что с лоском.
Ту,
что крадется не дыша
тигрицей желтою в полоску,
сквозь гущи трав
и камыша.
Ту,
что за темным лесом где-то
заводит алое крыло,
и не поймешь: луна ли это
или горит вдали село...

□ □ □

**Владимен
Белкин**



☆

Из плена каменных ночей,
саянских падей потаенных,
безудержно-неугомонный,
бежит на север Енисей...
Ложатся под ноги широты,
хлеб-соль выносят в тишине
то острова, то повороты
с водоворотами на дне.
То хитро льнут к нему таймени,
то, словно молнии быстры,
броней кольчужной
меж камней
отсверкивают осетры.
Но слышит он
другие речи
и, раздвигая берега,
литые подставляет плечи
под бревна и под облака
и правит строгое течение
к той заколдованной звезде,
где солнце
золотым оленем
по кругу
носится весь день.



Владимир
Канторович

СЛОВО ОБ АРМЕНИИ И ЕЕ ХУДОЖНИКАХ

1

Нигде, даже в дикой тайге, природа так не обступает человека со всех сторон, как в горах. Нависает над ним, но и открывает невиданные просторы и дали. Даже где-нибудь в тесном плоскогорье, приподнятом высоко над морем, тебя не покидает это ощущение простора, хотя над тобой меж снежных вершин виден лишь клочок синего-пресинего неба, может быть, с орлом, распростершим крылья и словно застывшим в синеве.

Тем более сильно это ощущение в горах Армении, где, как утверждает Мартирос Сарьян, солнце особенное, не такое, как в других, даже южных странах. Здесь и резкость переходов, и контраст тонов, и обилие солнца — в этом проявляется, по мнению художника, дух армянской природы. И «человек видит землю, то розовую, то черную, и тени, отбрасываемые нашими изрезанными острыми скалами, капризные!» (я привожу на этот раз слова художницы Кнарик Вартанян). И под ударами солнца «уползают в ущелья гонимые мраки, как черная стая коров, очищая рельефы» (а это слова Андрея Белого).

В том-то и суть, что все это сообщество ярких и темных, живых и блеклых красок, штрихов, мазков, созданных природой, находится в непрерывном движении. Поэтому к армянскому пейзажу привыкнуть, то есть перестать его замечать, как давно висящую на стене картину, невозможно! Из-за меняющихся красок этот пейзаж подвижен, взрывает. Те же горы предстают перед тобой в новом свете ежечасно. «Ежеминутно», — поправляет Мартирос Сарьян, утверждая, что в работе художника над пейзажем «минута проходит — и все меняется: свет, краски и я сам».

Я вспоминаю армянскую природу, когда разглядывал фриз в храме I века — Гарни, или миниатюры, украшающие древнейшие рукописи Матенадарана. Много веков тому назад армянские миниатюристы были уже близки к открытию законов перспективного изображения, нащупывали особенности жанрового рисунка (у Христа — круглая коленка!), иллюстрировали священные книги своей светской живописью, создали изысканную цветовую гамму. Откуда перспектива, откуда такие краски? По-моему, их вдохновляли солнце и горы Армении.

И вот еще что несомненно. Горы в равной мере обогащают чабана или виноградаря, как и учителя, сельского жителя, как и горожанина.

Последнее утверждение может показаться спорным. Но побывавшее в Ереване. Этот город в буквальном смысле слова неотделим от природы. Горы с их снеговыми вершинами составляют не фон городского пейзажа, а какую-то часть его существа. Пусть орава мальчишек, как в любом другом городе, поглощена игрой в мяч. Пусть их матери и отцы озабоченно шагают по улицам с прозаическими сумками и портфелями в руках. Все равно в каждую данную минуту, подсознательно, неким тайным зрением они вбирают в себя и вечно изменчивый образ двуглавого Арарата, и горные цепи, и безоблачное, но непрерывно меняющееся цвет небо, и игру света и теней, смысл которой по-настоящему воспринимаешь только в южных стра-



М. АБЕГЯН.

Пейзаж (линогравюра).

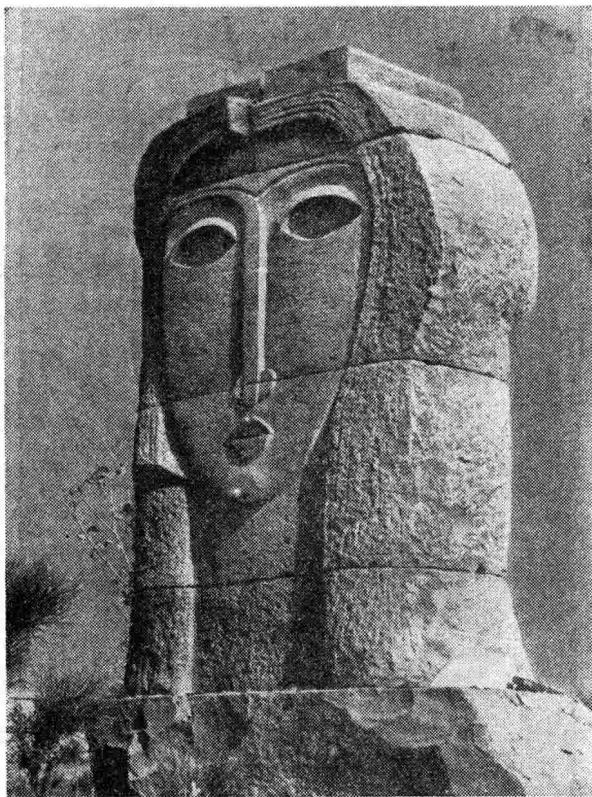
нах. А ведь Ереван — индустриальный город, центр республики.

Великий зодчий Таманян проявил какую-то практическую жилку национального характера, лишней раз подчеркнув связь между горами и воздвигнутым им городом. Он тщательно изучил «розу ветров» и так распланировал улицы и дома в Ереване, чтобы ветерок, тянувшийся перед вечером с гор, выдувал из города накаленный воздух. Вечером в Ереване дышится легко.

А за пределами Еревана? Я не видел селения, из которого не открывалась бы далекая перспектива, не видел местности, где остроумно не пылали бы невиданные в наших краях краски. И все это — достояние каждого жителя Армении, не исключая даже тех, кто ютился в пещерах вблизи Гориса, и лишь не так давно (я еще застал несколько семейств в пещерах) переехал в новые отличные дома-виллы, построенные на доходы виноградарских колхозов. Кстати, этот Горис может помериться красотами природы с любым курортом в мире! Тут к прочим чудесам Армении присоединяются еще причудливые, прямо-таки фантастические фигуры, сработанные в мягких каменных породах самой природой. Чувствуешь себя среди них, как на острове Пасхи.

Довольно, пожалуй, о горах, о солнце, о красках природы. Ведь Армении называют еще музеем древностей под открытым небом.

Тысячелетиями создавались на этой земле величайшие ценности. Но снова и снова этот исторический «проходной двор» между Европой и Азией захлестывали нашествия завоевателей. Казалось, они уничто-



А. ЧАКМАКЧЯН.

Армянский сфинкс.

жили все, что могло быть разрушено, расхищено. Но над искусством, воплощенным в камне, и они не были властны. Как и над древними культурными традициями, жившими в поколениях.

Каждая эпоха оставляла на армянской земле обильные свои следы в нетленном камне. Таковы древние крепости, монастыри, церкви или по крайней мере их развалины. Таковы места захоронения, разные памятники, и среди них — хачкары, разбросанные по всей армянской земле.

Хачкар — род стелы. Это вытянутая по вертикали надгробная или памятная каменная плита, сплошь покрытая прозрачной вязью богатого орнамента, тонкой резьбой, часто символическими изображениями, головами, силуэтами людей. Безвестные каменотесы вкладывали в каждый хачкар усердный, может быть, многолетний труд, проявляя при этом бездну вкуса. «Кара хач» — в переводе это значит «игра по камню». Эти стелы — поистине образцы застывшей в камне музыки. Они как кружево. Мне помнится и сейчас один хачкар в Эчмиадзине: весь он светился изнутри. Каменное кружево сделало эту глыбу прозрачной, кружевной.

В «Семи песнях об Армении», в отличной прозе поэта, Геворг Эмин вспоминает, как в детстве в родной деревне резвился со сверстниками у старой церкви, у кладбища. Ребенком учился он совершенным линиям древней архитектуры, высокому искусству, воплощенному в хачкарах, в надгробных камнях более позднего происхождения.

Так вот, эта красочная природа, эти древности, традиции, передаваемые из поколения в поколение и вновь воплощающиеся в произведениях искусства, — все объединилось, чтобы воспитывать молодых армян в уважении к красоте, в поклонении ей.

Несколько примеров, поражающих воображение призрачного.

Когда-то Таманян отверг железобетон и стекло, взятое на вооружение архитекторами современности. Таманян решил, что в армянском зное человек, очутившийся в здании, построенном из этих материалов, почувствует себя лавашем в тундре (земляной печи). Стандартные типовые дома он назвал «тарой для человека». И выбрал цветной мягкий армянский туф, который твердеет, уже уложенный в стены. Сказоч-

ный облик Еревана (и других армянских городов) во многом обязан именно туфу. У этого камня множество оттенков, и меня всегда поражало, как изящно их подбирают в стенах, хотя нигде не соблюдают примитивной симметрии. Главный архитектор города открыл мне глаза: оказывается, проектировщики не разрабатывают макета в цвете. Это сами строители, мастера и каменщики складывают созвездия колеров, руководствуясь лишь собственным безупречным вкусом.

Ереван восхищает и большими городскими комплексами, и уникальными зданиями, скажем, оперного театра или Матенадарана, или тех четырех домов, которые организуют удивительную полуovalную площадь в центре города, и т. д. Радуют многие жилые микрорайоны, где даже небольшая площадь имеет свое лицо, откуда тоже изгнана «бесстыдная серость» (увы! появились уже и другие стандартные районы, и только туф скрашивает скуку от рядов ровных коробок).

Но ничуть не меньшее впечатление создает тщательно продуманное оформление городского интерьера. Тут сыграли свою роль и многочисленные, часто оригинальные памятники (каменный Налбандян стоит, например, как родеоновский гражданин города Кале, прямо на земле, чуть возвышаясь над прохожими; Арку Чаренца запомнишь сразу и навсегда). Обильно, умело украшен город произведениями так называемой малой архитектуры. Оформлены не только входы в город, например, знаменитой Чайной — двумя огромными бетонными плоскостями, — но и входы и выходы из некоторых домов, улиц, а также скверы, родники. Фонари дневного света по форме напоминают рога горных маралов. Многие стены в барельефах. Прямо на улицах высажены декоративные кусты, представлена замечательная армянская керамика — кувшины и вазы удивительных пропорций.

Но хватит об эстетических пристрастиях армян, как ни хотелось бы продолжить этот разговор, столь близкий моей теме — армянскому искусству, его истокам. Я уже ссылаясь на очерки Г. Эмина и снова вернусь к ним.

Поэт рассказал нам о родной земле — родных камнях, из которых трудовой народ буквально «выжимал» хлеб, вырубая на солнечных склонах гор террасы, приносил землю в глиняных кувшинах и укладывал ее поверх камней.

«...Возлюбленные, трижды проклятые и семинжды любимые родные камни, родная горсть земли... Сколько страдал мой народ из-за тебя, сколько пролил он слез и крови за естественное для других народов право, чтобы ты принадлежала ему, чтобы он потом лица своего добывал из тебя хлеб, возвел на тебе свой очаг, свой дом...»

Я слышал эти и подобные им слова от множества людей, с которыми встречался в Армении. Но и слова не нужны, они могли остаться невысказанными, даже мысли такие пришли бы не к месту в деловом, профессиональном разговоре. А все равно за любыми словами и поступками угадывался этот эмоциональный настрой души. Острая любовь к Армении, гордое чувство, связанное с возрождением государственности, всенародная твердая уверенность, что в советской многонациональной семье — как за каменной стеной! Это сильное, молодое чувство, испытываемое древней нацией. Оно источник народного оптимизма. Не оценив эти естественные чувства по достоинству, с открытым сердцем, невозможно понять и современное армянское искусство. Например, того же Сарьяна, который поет в бесчисленных полотнах радостный гимн солнцу, жизни, людям!

2

Давно известно, что живопись в словесных комментариях и толкованиях не нуждается. Перед литератором к тому же такая задача никогда не стоит, а если б стояла — она ему не под силу!

В первой части статьи я просто делился впечатлениями от Армении, в которой побывал недавно впервые, и с горьким сожалением, что знакомство произошло так поздно! Рассказал кое-что о ее природе, о древнем и современном искусстве. Но что можно сказать обо всем этом на трех журнальных страничках? Я постарался самому себе ответить на вопросы: что окружает армянского художника повседневно, что руководит им, что помогает увидеть мир и нам, зрителям, читателям передать свое видение? Ведь мы, обычные люди, часто «видя не видим». Чтобы завершить свою задачу, я представлю художников, чьи произведения «Юность» воспроизводит сегодня на своих страничках.

Но сначала оговорюсь. Несколько полотен и скульптур, отобранных для этого номера журнала, не пре-

тендуют на то, чтобы отобразить богатейшее армянское искусство. В сегодняшней экспозиции отсутствуют, например, произведения крупнейшего художника (картины Сарьяна популярны, они не раз воспроизводились на страницах «Юности»).

Однако я бы не взялся утверждать, что Сарьян представлен в этом номере журнала только своими мыслями, которые я с любовью воспроизвожу в своем тексте. Нет, это не так, да и не могло быть так. Огромный мастер, проработавший в живописи 60 лет, связанный душой, всеми помыслами с родной Арменией, оставил животворный след в армянском искусстве. Я думаю, читатель и сам обратил внимание на то, как много общего в Сарьяном в художническом мировоззрении Оганеса Зардаряна, Минаса Аветисяна, Мегера Абегяна. Какой «сарьяновский» пейзаж написал С. Поронян! С какой «сарьяновской» радостью все эти художники вглядываются в яркий, многоцветный мир своей родины.

Но убедительно прошу: не упрощайте, не вздумайте сводить творческие взаимоотношения этих художников к формуле — метр и его ученики. Всякое ученическое подражание, если когда-нибудь и имело место, далеко позади. Перед нами художники, обладающие, как каждый, своей яркой индивидуальностью, своими художническими пристрастиями, своим почерком. К тому же и их путь незавершен, и они — в исканиях.

Чтобы пояснить мою мысль, коснусь в первую очередь такого большого художника, как Мегер Абегян; за его плечами тоже по крайней мере 30 лет работы. Когда-то в книге «Искусство Армении» я прочитал, что в пейзаже и натюрморте этот талантливый художник продолжает сарьяновские традиции. Это и так и не так. Прежде всего потому, что Абегян очень силен в графике. Сравнительно недавно из статьи С. Арутюняна о нем я вычитал даже скрытую полемичку с Сарьяном, чье кредо, как известно, прежде всего цвет. Арутюнян, приводя в пример Мегера Абегяна, убеждает нас, что важнее всего «линия», определяющая грани видимого, что в контрастах белого и черного заключен огромный диапазон, что изобразительное мышление художника впечатляет больше, чем палитра живописца.

Это правда: М. Абегян — превосходный рисовальщик. Ему мы обязаны тем, что армянский пейзаж ожил для нас еще и в черно-белом облике. Превосходны его линогравюры. Но бесподобен, например, и его портрет З. Петросяна (масло), по-своему продолжающий традицию армянского портрета, идущую от классика А. Ованатяна.

Оганес Зардарян представлен в журнале «Стремлением», развивающим монументально-декоративную струю в армянском искусстве (как тут не назвать «декоративной» и монументальной самую природу Армении!). В той же традиции исполнена была знаменитая «Весна», которая открыла ему дорогу в Академию художеств СССР. Вспомните стоящую на переднем плане девушку, почти еще девочку. На переднем плане — красивые маки, а дальше, за единственной фигурой, обобщенный пейзаж Армении, цветовой ее узор.

Я побывал в мастерской художника в Бюракане. Из окон его дома, из сада видишь, кажется, всю Армению. Художник работал тогда сразу над двумя картинами. Я поразился самоотверженной, изнурительной работе О. Зардаряна. К каждой из картин написаны уже десятки эскизов, собственно, не эскизов даже, а скорее не вполне законченных картин (так он работает всегда!). Но ни одна из этих «пробных» картин еще не удовлетворила автора, не решила поставленной им задачи. И поиски продолжались — методами приближений, методами контроверз. На недавней выставке в Манеже О. Зардарян был представлен двумя полотнами. Наверно, и те два сюжета не заброшены. В этом неутомимом труде, в требовательности к себе — залог, обещание, что художник еще не раз порадует нас.

Об Арутюняне Галенце всего несколько слов. В его «Портрете сына» воплощена, на мой взгляд, юность, ее чистота, взволнованность предстоящими первыми самостоятельными шагами по жизни, и чувства сына, и тревога отца.

Галенц жил в Сирии, учился в Париже, но остался армянским художником. Он из того самого вернувшегося в отчизну «каравана» репатриантов — по словам Сильвы Капутияна, которые обрели «вторую жизнь» на родной земле. Я побывал в его большой мастерской, в доме с садом, с древними каменными памятниками, расположенном в кипучем центре города. Мне тягостно думать, что этого большого художника уже нет. Его похоронили в 1967 году.

Зритель, читатель (а я ведь именно в этой роли вы-

ступаю, а не как искусствовед) имеет право на личные пристрастия. Я люблю всех художников, представленных сегодня на полосах «Юности». Но, признаюсь, больше других меня волнуют, трогают (и в то же время дают пищу для ума) произведения Минаса Аветисяна.

Он представлен портретом девушки, написанным строгими, прямо-таки средневековыми красками. Художник передал в портрете душевное спокойствие, самоуглубление.

В его мастерской я увидел и другие картины, и многие из них спокойных тонов. Сам художник объяснил мне это так:

— Сегодня у меня преобладают спокойные, даже блеклые тона. Но в моей душе по-прежнему живут яркие краски, яркие образы. Я уверен, что и краски ко мне снова придут яркие. Раньше я выбирал их чисто интуитивно. Теперь краски лягут продуманней, станут глубже...

Два слова о сюжете картины, вдохновившем самого молодого из выступающих в журнале художников — Мартына Петросяна. О народном певце и поэте Саят-Нова Валерий Брюсов сказал: это поэт величественный, потютчевски — чуткий и, как Мюссе, — страстный. Один из тех первоклассных поэтов, которые силой своего гения уже перестают быть достоянием отдельного народа и становятся любимцами человечества.

Творчество Геворга Григоряна (обычно подписывающегося «Джотто») дает повод для размышлений. Он человек пожилой, художник трудной судьбы. Незвестный, непризнанный, Джотто писал свои картины десятилетиями. Сегодня, прислоненные к стенам, они занимают целую комнату в его маленькой квартире. Он не пожелал даже на время отказаться в угоду публике от излюбленных темных тонов в своих натюрмортах. На скучную жизнь, на краски и холсты он зарабатывал уроками рисования в школах.

И наконец пришло понимание, известность. Я уверен, его портрет Комитаса понравится читателям журнала. Напомню о трагической судьбе великого армянского композитора и просветителя. В страшном для судеб армянского народа 1915 году, когда в Османской империи вырезали полтора миллиона армян, Комитас в числе пятисот армянских интеллигентов был схвачен в Константинополе и увезен на место бойни. Композитора физически не убили — за него вступился наследный принц, некогда слушавший его концерты в Париже. Но Комитас стал свидетелем гибели своих товарищей, мозг музыканта не выдержал. В Константинополе привезли безумца. Два десятилетия несчастный прожил потом в психиатрических лечебницах. Прах Комитаса захоронен в ереванском Пантеоне.

Григорян написал своего Комитаса человеком огромной нравственной силы, трагически прозревшим свою судьбу.

Коснусь в связи с этим проблемы пропаганды искусства. Известно, что долгие годы она была весьма односторонней. Даже импрессионистов, того же Ренуара, о котором так хорошо отзывались и Ленин и Луначарский, упорывали в запасники музеев. Находились авторы, которые утверждали печатно: «Импрессионисты народу непонятны!». Не знаю, убедил бы их тот факт, что открытые уже много лет залы музея имени Пушкина, посвященные импрессионистам, постоянно полны посетителями.

«Армянским сфинксом» Арто Чакмакчяна, который стоит нынче в садике при Ереванском Институте физики, завершается наша маленькая экспозиция. Я позаставляю у Арто Чакмакчяна одну мысль, помогающую понять прелесть его «сфинкса». Скульптор мечтает сделать выставку своих работ не в здании, а на природе. И не случайно в «скульптуре на пленере» он придает исключительную роль выразительности силуэта.

В заключение я снова предоставляю слово Мартину Сарьяну. Мне хочется отметить добрый, философский, лишенный всякой предвзятости взгляд патриарха армянской живописи на работу армянской художественной молодежи. Огромный мастер, выработавший с годами свой неповторимый «сарьяновский» почерк в пейзаже, в портрете, в натюрморте, продолжает и дальше искать новые формы, от души поддерживает талантливого поиск своих молодых (с вершины его возраста — совсем еще юных) собратьев по армянской живописи. «Сохраняя национальное своеобразие, — твердит мастер, — молодое поколение, целая плеяда армянских художников и архитекторов, не сторонится современного стиля — и в этом я вижу причину удач нынешних произведений искусства Армении».



Валентин Берестов



Фляга

Фляга с черепахой очень схожи:
На обеих панцирь вместо кожи,
Обе круглобоки и плоский,
У обеих горлышки узки.
Не стыдись такого сходства, фляга,
Черепахой будь, дрожи, как скряга,
Медленно отмеривай глотки.
Впереди — пески...

Конь

Я у дочери моей
Самый лучший из коней.
Я умею громко ржать
И цокать звонко.
И верхом, верхом, верхом
На коне своем лихом
Так и носится
Наездница-девчонка.

А наутро нет коня.
Он уходит на полдня,
Притворяется сердитым,
Деловитым.
Но мечтает об одном —
Стать скорее скакуном
И, дрожа от нетерпенья,
Бьет копытом.

Водораздел

Одни журча, другие молчаливо,
Извилисто, игриво, прихотливо
Отсюда ручейки и речки мчат.
Не горные хребты их разлучат,
А бугорки да мелкие ложины
Среди зеленой радостной равнины.
Как будто сами речки и ручьи
Себе дороги выбрали свои
В свои моря, в свои большие реки
И так легко прощаются навеки.
...Друзей ватага. Детские года.
Одною жизнью жили мы тогда,
Не знали мы, что с самого начала
Нас незаметно что-то разлучало.

Подражание восточному

Бессонница. Тоска. Ревнивый бред.
Кто говорит: любви на свете нет!
Каков же должен быть источник света,
Когда такую тенью мир одет!

Словарь тоски

Как-то от доски и до доски
Я перелистал словарь тоски.
Все слова я знал наперечет,
Но теперь додумался до сути:
Скорбь и впрямь скребет,
Печаль печет,
Грусть умеет грызть,
Кручина крутит.

Птица

Эдуарду Бабаеву

Болен. Лежу в палатке.
Читаю хорошую книгу.
Стол. Закопченный чайник.
Роза в помятой кружке.
Вдруг отрываюсь от книжки.
Что там случилось!

Птица!

Птица на тонких ножках
В ярком просвете двери.
Крошки нашла, поклевала
И на меня взглянула
Выпуклым круглым глазом.
...Роза в помятой кружке.
Птица в просвете двери.
Я этого мог не увидеть,
Читая хорошую книгу.

Пава

Блещут перья на павлине —
Заглядение одно.
Но прекрасной половине
Красоваться не дано.
Все ему, а что же ей!
Все не так, как у людей!

Утешение

«Собачья жизнь!» —
Сказала кошка.
И успокоилась
Немножко.

Агнии Барто

Реплика воспитателя

У меня сомнения.
Не пойму, за что
Хвалят сочинения
Агнии Барто.

Из ребенка
Ангела
Ради мам и пап
Сделать даже Агния
Львовна не могла б!



Рассказывает
Дмитрий Дмитриевич
ШОСТАКОВИЧ

ПРИГЛАШЕНИЕ К МОЛОДОЙ МУЗЫКЕ

—3 начит, вас интересует творчество наших молодых композиторов? — спрашивает Шостакович, едва мы успели поздороваться. — Это хорошо, что «Юность» обратилась к музыке. Кому, как не вам, говорить о молодых в искусстве... С удовольствием расскажу, что знаю. Только, понимаете ли, я не теоретик, да и последние полгода мало слушал — болел, лежал в больнице. Может, из-за этого кое-что и упущу...

Композитор говорит порывисто, нервно, стремительно. Он любит повторять «понимаете ли», и всякий раз это звучит по-другому, окрашивается новой интонацией...

— Давайте-ка сначала решим, каких композиторов мы станем считать молодыми, а то ведь их очень много, среди них есть и совсем юные и уже зрелые музыканты. Кроме того, я, видимо, не удержусь — скажу и о тех «средних» по возрасту композиторах, которых считаю абсолютно молодыми. Так как решаем с возрастом?

— Помните, Дмитрий Дмитриевич, когда Родиону Щедрину было тридцать, он предлагал считать рубежом молодости тридцать три — возраст Ильи Муромца, Христа, Гамлета?

— Как же, помню, помню...

— Но сейчас Щедрину уже тридцать пять...

— А давайте примем за рубеж лет тридцать восемь, — предлагает Шостакович. — Нельзя же говорить о молодых, не касаясь творчества Щедрина или Сергея Слонимского.

— Вот Вы сказали, Дмитрий Дмитриевич, что композиторской молодежи у нас очень много — есть и постарше и помоложе. Наверняка, они и очень разные. А что у них, на Ваш взгляд, общего, что их объединяет?

— Пожалуй, главное — это активное, даже, быть может, яростное стремление к современности в самых разнообразных ее аспектах. Это касается и тематики, и жанров, и выразительных музыкальных средств, и вопросов чисто мировоззренческих, философских. Разумеется, пути и поиски композиторов развиваются индивидуально, но общая тенденция — современность, сегодняшний человек, сегодняшний мир — его осмысление, раздумье о нем. В общем, в музыке молодых происходит в принципе то же самое, что в литературе, кино, театре, живописи. Это процесс, вполне понятно, единый. До обидного непонятно другое. Нередко еще к музыке относятся пренебрежительно — и слушатели, и пресса, и, что самое парадоксальное, концертные организации, а больше всего от этого страдает молодежь — как слушатели, так и композиторы. И вот в связи с этим еще одна,

довольно безрадостная общая тенденция — молодых композиторов мало знают и мало играют. Мне бы хотелось несколько подробнее остановиться на этом вопросе, не возражаете?

— Разумеется, нет. В самом деле, если, скажем, в кино и драматическом театре музыка молодых звучит часто, то в филармонических залах и театрах музыкальных с ней встретишься куда реже. Вот «Марш монтажников» из фильма «Высота» знают все, музыка к фильмам «А если это любовь», «Коммунист», «Анна Каренина» знакома многим, а симфонические сочинения Щедрина, который написал эту киномузыку, в целом остаются малоизвестными широкому слушателю. То же можно сказать, например, о творчестве Альфреда Шнитке (фильм «Похождения зубного врача»), Сергея Слонимского («Республика Шкид»), Микаэла Таривердиева, Андрея Петрова да и еще очень многих других...

— Это совершенно справедливо, — говорит Шостакович. — Причём смотрите, что получается. Вы ведь сейчас назвали имена композиторов, которых играют в концертах все-таки чаще, чем их сверстников, тоже очень одаренных. К названным можно добавить еще Бориса Тищенко. Но ведь этого мало, безумно мало!.. Вот тот же Шнитке; у него есть великолепные работы — оратория «Нагасаки», Скрипичный концерт. Несколько отличных произведений есть у ленинградца Геннадия Банишкова — четыре виолончельных концерта, «Мимолетности», вошедшие в обязательную программу прошлого конкурса имени Чайковского...

— Недавно я слушал по УКВ Третью симфонию Николая Каретникова, — продолжает композитор, — Очень хорошая симфония, а в концертах ее не услышишь. Не играют. Почти не играют и Николая Сидельникова, а это большой талант, запомнившийся мне давно по оратории «Поднявший меч» — о древней Руси... Мало играют, с большим опозданием играют. Вот, скажем, только в нынешнем сезоне исполнили Скрипичный концерт Тищенко, написанный девять лет назад.

— А его же Вторую симфонию на стихи Цветаевой не сыграли до сих пор.

— Вот, вот... Или исполнили однажды интересную кантату москвича Юрия Буцко — я имею в виду «Вечерок» — и больше ничего. Получается эдакое своеобразное «первое исполнение» без второго. Обидно...

— Чем же вы объясняете такое несправедливое отношение к молодым?

— Объясняю?! Я этого категорически не понимаю и не принимаю. Я уже не говорю о том, что творческая практика композитора и самая главная наука независимо от возраста — это живое общение с аудиторией. Приходя на концерты, в которых исполняются мои сочинения, я всегда до боли чувствую, когда они задевают, интересуют слушателей, а когда «отскакивают» от них, как от стенки горох. Реакция зала учит многому. Это великолепная школа, безошибочный барометр. Для молодежи просто жизненно необходимо обрести ощущение аудитории. А как им его обрести, если они с аудиторией почти не общаются, и не по своей вине?! Филармонии играют их мало. Чем мотивируют? Говорят, например, что у Моцарта сорок одна симфония, и им никак не удается все эти симфонии сыграть, а тут, понимаете ли, сорок один молодой композитор!

Мне кажется, что нужны специальные расширенные программы, посвященные творчеству молодых. Мы хотели также создать при Союзе композиторов оркестр специально для исполнения современной музыки, прежде всего музыки молодых. Но ведь один такой ансамбль положения не спасет: филармонии

облегченно вздохнут и будут уже «с чистой совестью» играть апробированную классику без «всяких там экспериментов»... Сначала идея организации такого оркестра, равно как и особого музыкального театра, мне была по душе, потом я в этой идее разочаровался. Музыкальные театры продолжали бы себе ставить только «Евгения Онегина», а кто ставил бы «Виринею» Слонимского, «Не только любовь» Щедрина или «Ценою жизни» Николаева? Нет, отрывать современную музыку от классики нельзя. Пропандировать новую музыку должны и филармонии, и Большой, и все другие музыкальные театры.

— Я понимаю, Дмитрий Дмитриевич, как важно то, что Вы сказали. Но не кажется ли Вам, что в отличие от филармоний, радио и телевидение более или менее успешно пропагандируют музыку молодых?

— Вот именно, более или менее. Впрочем, в некоторой степени «лучом света в темном царстве» можно назвать радиостанцию «Юность». Она передает сочинения молодых постоянно и оперативно, хотя и ее возможности довольно скованны — произведения, как правило, показываются во фрагментах, оно и понятно: ограничено время... А жаль... И еще нельзя не отметить вялость, унылость прессы — я говорю не о теоретиках-музыковедах, которые выступают большей частью в своих, специальных органах печати, а о музыкальной журналистике. Отсутствие оперативности, одинаковые восторги по поводу и без в лучшем случае на пятьдесят — сто строк. Ни слова о музыкальной специфике, акцент — на пересказе содержания... Мне, помнится, одна журналистка рассказывала чуть ли не со слезами на глазах, что работа над ее рецензиями на музыкальные премьеры во многих газетах начиналась с того, что ей предлагали немедленно убрать все музыкальные термины — от фуги до полифонии. А ведь есть музыкальные термины, которые необходимо знать каждому культурному человеку... Вот и получается: никакой музыки...

— Но предположим идеальный вариант: музыку исполнили, пресса есть, слушатели приняли новое произведение с интересом. Что же дальше?

— А дальше вот что: знаете, как важно уметь отличать самое произведение от его исполнения! Ведь не все исполнения точно трактуют авторский замысел, а в результате может быть дискредитировано очень хорошее сочинение. Научиться отличать произведение от исполнения очень трудно. Я знаю это на собственном опыте. Ну, музыкантам все-таки легче, чем слушателям: они могут взять партитуру и убедиться, что, например, даже дурно сыгранная симфония ленинградца Вениамина Баснера — сочинение отличное! А слушатели? Они в основном не умеют читать партитуру да и не обязаны ее читать. МУЗЫКА ДОЛЖНА ЗВУЧАТЬ! А звучит она, увы, нередко формально. С курьезами первых исполнений нас может познакомить и история русской музыки. В одной из своих статей Римский-Корсаков рассказывал, как Чайковский впервые дирижировал в Петербурге своей Шестой симфонией. Сыграл — и слушатели, даже такие квалифицированные, как Римский-Корсаков, не разобрались в ней сразу, сочли ее произведением заурадным. А потом приехал дирижер Артур Никиш, исполнил Шестую, и тут-то, по словам Римского-Корсакова, открылась истинная красота и значительность симфонии... Понимаете, как важно не только хорошо играть, но играть так, чтобы слушатели могли отличить, в чем «повинен» композитор, а в чем — исполнитель! Таким образом, важна не только широкая пропаганда музыки — и молодой! — но и мастерство ее преподнесения залу, основному потребителю (и герою!) этой музыки.

— Но ведь восприятие музыки субъективно: одно-

му нравится одно, другому — иное, один, скажем, симпатизирует больше дирижеру Кондрашину, а другой — Светланову и т. д.

— Конечно, унифицированных, рассчитанных на все вкусы исполнений не бывает, субъективность вкусов необходимо иметь в виду. Был, например, такой случай с моей музыкой. Когда в 1938 году Евгений Мравинский, только что получивший золотую медаль на Всесоюзном конкурсе дирижеров, сыграл мою Пятую симфонию, Генрих Густавович Нейгауз писал о том, что, мол, только в исполнении Мравинского мы поняли это произведение. Но, понимаете ли, до Мравинского, совсем незадолго, эту симфонию хорошо сыграл Александр Гаук. А вот Нейгаузу его исполнение не понравилось. Впрочем, это уже вопрос индивидуального прочтения сочинения. Его нельзя путать с неправильной или небрежной трактовкой.

— Хорошо, когда сами композиторы участвуют в исполнении своих произведений.

— Конечно. Тищенко, Щедрина, Слонимский прекрасно играют свои сочинения в концертах. А из композиторов-пианистов поколения постарше мне хочется назвать Моисея Вайнберга... Кстати, именно среди молодых сейчас сильно желание самим показывать собственные вещи, особенно же — в первых исполнениях. И это ценно — ведь немало есть произведений, загубленных формальной галочкой в премьernih афишах...

Молодые художники все хотят испробовать, все проверить на себе: и композицию, и исполнительство, и музыковедение. Широкий кругозор, масштабность интересов и замыслов — это не может не радовать... И если бы мы даже не знали музыки некоторых наших молодых композиторов, а встретились бы с ними сначала как с теоретиками и историками, я убежден, что они наверняка всерьез заинтересовали бы нас как музыковеды — я имею в виду Бориса Тищенко, Слонимского, Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова. Разумеется, называю не всех, я, кажется, говорил Вам, что остановился лишь на том, что мне лучше известно. Всего, к сожалению, не знаю, потому могу случайно упустить те или иные талантливые композиторские имена...

— Если Вы не возражаете, давайте обратимся к некоторым тенденциям в творчестве молодых. Например, к использованию фольклора.

— Но я не теоретик. Я могу сказать лишь о своих личных наблюдениях, абсолютно субъективных. Фольклор в последние годы все больше входит в музыку, причем молодые композиторы обращаются к нему всерьез и по-разному. Дело здесь не в том, чтобы точно процитировать в своем произведении ту или иную народную мелодию. На основе народных мелодических интонаций (это, кстати, касается не только русской музыки, но и грузинской, украинской, казахской, эстонской и др.) надо создавать самостоятельную, «авторскую» музыку, передающую народный характер, колорит, время. К разным пластам фольклора обращаются композиторы. Щедрина, например, отдает предпочтение современному фольклору: частушке, попевке, хороводной песне и т. д. Но было бы неверным говорить, что Щедрина занимается только частушкой, а Слонимский, например, — преимущественно протяжными «страдальными» или старинными «разбойными» песнями. Цель-то у них одна — поиски своего, самостоятельного музыкального языка, и в этих поисках почва для них — фольклор. И не только у них. Назову и некоторых других: Валерий Гаврилин и Борис Тищенко — в Ленинграде, Яан Рятс и Арво Пярт — в Эстонии, Мирослав Скорик и Леонид Грабовский — на Украине, Гия Канчели и Нодар Габуния — в Грузии, Эдгар Оганесян и

Дживан Тер-Татевосян — в Армении. Роман Ледевев и Алексей Николаев — в Москве. Это я, повторюсь, называю только тех, чье творчество мне лучше известно. Наверное, есть и другие. Хотелось бы услышать и их поскорее.

В настойчивом обращении молодых к фольклору, — продолжает Дмитрий Дмитриевич, — я вижу продолжение одной из лучших традиций русской музыки, идущей от Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова. И еще что важно: обращаясь к фольклору, композиторы пишут сочинения чрезвычайно разные (я имею в виду только удачные), и в разных жанрах, и различные по творческим индивидуальностям. «Озорные частушки» и оба фортепианных концерта Щедрина не спутаешь с «Песнями вольницы» или «Голосом из хора» Слонимского, как не спутаешь Первую симфонию Пярта с концерто-гроссо Рятса или «Поднявшего меч» Сидельникова с «Мастерами» Николаева. И суть не в разнообразии жанровом, а в разнообразии творческом.

— Какие из недавно созданных произведений Вам хотелось бы отметить?

— Прежде всего только что законченную оперу Вайнберга «Пассажирка». Я считаю эту оперу великим произведением. Назову еще его же концерт для трубы, кантату Слонимского на стихи Александра Блока «Голос из хора» и оперу «Виринея», Виолончельный концерт Тищенко, кантату Николаева «Мастера», написанную на текст поэмы Андрея Вознесенского, Вторую симфонию Пярта, «Кармен-сюиту» Щедрина.

— Вы назвали оперу «Виринея». Чем она импонирует Вам?

— Разумеется, не только фабулой. Главное — музыкально-драматургической цельностью (такое не часто встретишь у нас на оперной сцене) и редкой по красоте и эмоциональности музыкой. Народной музыкой — народной от начала до конца. Это — и в грандиозных хорах, и в сольных партиях, и в оркестровых эпизодах. Знаете, я дважды слушал «Виринею», правда, оба раза в записи, потому что был болен и не мог пойти в театр. Я буду ее слушать еще. Это — настоящее!..

— А как, с Вашей точки зрения, вообще обстоит дело с оперой у молодых? Ведь бытует сейчас такое мнение, что оперный жанр безнадежно устарел, сошел на нет...

— Это неверно в корне. Оперы есть интересные. И разные. Прежде всего у молодых. О «Виринея» я уже сказал, назову еще «Не только любовь» Щедрина, «Ценою жизни» Николаева, «Клопа» Эдуарда Лазарева, «Войну с саламандрами» Владислава Успенского, пока еще не поставленную, но готовящуюся к постановке в Уфе. Есть и другие, тоже достойные широко исполняться на оперных сценах... Нет, оперный жанр не умирает. Надо за оперу агитировать, чтобы молодые композиторы обращались к ней все больше. Это, кстати, весьма полезно и для композиторской техники — писать для голоса надо уметь. А у нас в музыкальных учебных заведениях учат писать для кларнета, для арфы, для гобоя, для чего угодно, но не для голоса. И получают ляпсусы — у очень хороших композиторов, обращающихся к опере, вдруг такие неудобные «вокализмы» для голоса появляются, что диву даешься!.. Разумеется, писать оперу — дело огромной трудности, и требует оно отличного владения и оркестром, и хором, и голосом солиста, и словом, и драматургией. Кое-кто, не выдержав «экзамена на оперу», начинает подходить к ней с испугом — тогда вот и выдумывают всякие теории о «несовременности» и даже смерти этого великолепного жанра.

— Но ведь мало кто начинает сразу с оперы? Большинство, кажется, с романсов, вокальных циклов?

— Верно. Пожалуй, из тех, кого я знаю, только Алексей Николаев начал свой творческий путь непосредственно с оперы. Многие же начинают с камерных вокальных сочинений и затем, через кантаты и оратории, приходят к опере. В связи с оперой мне хочется сказать и вот о чем — вокальные жанры очень широко распространяются в современной музыке. Особенно вокально-симфонические. Началось же это, видимо, с «вокальных» симфоний великого австрийца Густава Малера — кстати, одного из самых любимых моих композиторов... Очень часто композиторская молодежь пробует свои силы в кантате, симфонии с хором и солистами — в общем, в жанрах, теснейшим образом связанных со словом, поэзией. И к стихам композиторы стали подходить с очень высокими требованиями. Смотрите, кого они выбирают, — Тувима, Светлова, Уткина, Цветаеву, Вознесенского, Блока...

— Какие эксперименты в симфониях молодых привлекают Ваше внимание?

— Нарушение привычной «классической» композиции, введение в симфонию голоса и других, может быть, дерзких и самых неожиданных деталей часто приводит к успешным результатам.

Например, фокстрот в I симфонии Слонимского, Вторая симфония Пярта с большой финальной цитатой из популярной фортепианной пьесы Чайковского «Сладкая греза», своеобразная Вторая симфония Щедрина, написанная в форме двадцати пяти прелюдий для оркестра, и его же Второй фортепианный концерт с яркой джазовой импровизацией, соседствующей с имитацией плясового балалаечного наигрыша...

— А как Вы относитесь к тому, что молодые композиторы (да и не только молодые!) все больше стремятся к лаконичности в своих сочинениях? Так, Третья симфония Кара Караева звучит двадцать три минуты, Вторая симфония Пярта — десять, а пяртовский же Виолончельный концерт («Про и контра») — чуть больше пяти минут.

— Это хорошо. Но только в том случае, когда лаконичная форма концентрирует в себе большое, значительное содержание. В формальном лаконизме смысла нет. Конечно, стремление к емкой выразительности теснейшим образом связано с дыханием времени — его динамикой, остротой, экспрессивностью. Впрочем, лаконизм, мне думается, надо приветствовать и независимо от времени создания произведения. Но, увы, еще очень много пишут «длинной» музыки, хотя далеко не все имеют на то моральное, творческое право. Смотришь подчас — написано «ужасно монументальное полотно», а мысль — тюлька! Нет, лучше меньше монументальности, но больше мысли, больше настоящей музыки. Именно в этом смысле я обеими руками за лаконизм...

— Знаете, — продолжает Шостакович, — если уж говорить о тенденциях, то есть среди них одна, весьма озорная. У нас все пишут симфонии, хотя далеко не все умеют это делать и имеют что сказать в этом жанре. Иногда, кажется, автора заботит лишь одно — чтобы, как в канонических образцах, непременно была героическая главная тема, лирическая побочная, ну, как полагается, экспозиция, разработка, реприза и т. д. Заботит форма, а не мысль. Мысль же и большое чувство начинают отходить на второй и даже на третий план. Неужели же обязательно таким авторам во что бы то ни стало писать симфонию?! А вспомните, у Шопена не было ни одной симфонии, но ведь это отнюдь не снижает значения его творчества... Понимаете ли, меня больше всего огорчает, что часто даже очень одаренные люди пи-

шут формально, обязательно с «жизнеутверждающим финалом», приводя в пример далеко не самые удачные из классических финалов. Какие? Глазунова, даже Чайковского (ведь у Чайковского в его великодушном симфонизме была единственная слабость — финалы некоторых симфоний, да-да, это так!)...

— Значит ли это, что композиторам надо критически подходить к традициям классики?

— Разумеется. Брать и развивать лучшее. Для этого, конечно, нужен настоящий вкус, живое ощущение музыки и свое ярко выраженное отношение к собственному творчеству и творчеству предшественников. Можно и должно «замахиваться» на классику. Но нельзя быть эпигонами даже самых великих классиков. Увы, ни Бах, ни Бетховен, ни Малер в наши дни еще не появились. Правда, кое-кто считает, что Стравинский чуть ли не Бах нашего времени. Я так не думаю. Стравинский или Бах — этого выбора для меня не существует. Бах, конечно...

— Кстати, о Бахе и баховской полифонии. Как Вы расцениваете частое обращение композиторов, в том числе и, быть может, прежде всего молодых, к многоголосью, к полифоническим формам и языку восемнадцатого века?

— Это можно только приветствовать, потому что возможности многоголосья практически безграничны. Полифония может передать все: и размах времени, и размах мысли, и размах мечты, творчества. Только маловато еще к полифонии обращаются. Вот я слушал кантату Николаева «Мастера» — произведение с несомненными достоинствами и глубиной размышлений, а мне все казалось, что кантата эта была бы еще лучше, будь в ней шире использованы полифонические звучания. У кого наиболее интересная полифония? У Слонимского (Фортепианная соната, «Голос из хора», «Вириния»), Щедрина (Прелюдии и фуги для фортепиано, Вторая симфония, Второй фортепианный концерт), Пярта («Полифоническая симфония»), Канчели («Анданте и Ларго» для оркестра). Это я назвал молодых, не всех, разумеется... Так хорошо ли, что к полифонии обращаются композиторы? Плохо, что мало обращаются...

— Ну, а каковы взаимоотношения молодых с девятнадцатым веком, исключая, конечно, грустную тенденцию с «оптимистическими финалами»? Вот почему я спрашиваю об этом: у некоторых не очень искусственных меломанов, например, бытует такое представление, что композиторская молодежь в основном экспериментирует, чуть ли не напрочь отказываясь от достижений музыки прошлого века.

— Даже если такое пренебрежительное отношение молодых композиторов и встречается иногда, то это скорее всего фрондерство, а не убеждение и не программа. С возрастом это пройдет. А вообще, я уверен, что настоящие музыканты не могут плохо относиться к девятнадцатому веку. Да и сама музыкальная практика — яркое тому свидетельство. Мусоргский, например. Как многим он помог найти самих себя в музыке! А немецкие романтики, не говоря уже о Бетховене!.. Что же касается лично меня, то я один из самых счастливых музыкантов нашего времени, потому что люблю всю музыку — от Баха до Оффенбаха. Все жанры хороши и все композиторы, если музыку пишут хорошую... Кстати, насчет «всех жанров». Наши молодые композиторы стараются освоить множество жанров, и у них немало удач. Называть имена сейчас не стану: я, собственно, многих уже назвал. Остается только повторить, что обделена вниманием опера, да опереттой почему-то пренебрегают. Кажется, никто из тех молодых, чье творчество мне знакомо, ну, кроме Андрея Петрова, в музыкальной комедии не работает. Зато

к балету определенно тянутся многие. Я видел «Кармен-сюиту» в Большом театре и был просто поражен, с каким блестящим мастерством Родион Щедрин сделал свою транскрипцию музыки Бизе. Это совершенно самостоятельная, я бы сказал, авторская музыка, и она может достойно стоять рядом с лучшими транскрипциями Листа и Бизе. И как внешне все просто — ни одна из мелодий Бизе не изменена, чуть сместились акценты, струнные и ударные естественно и органично заменили голос певцов и полный состав оркестра!.. Многим, я знаю, этот эксперимент Щедрина поначалу казался дерзостью, чуть ли не кощунством. А как дело обернулось? Праздником в балете, более того — новой большой удачей в советской музыке... Побольше бы таких экспериментов!

— А как в связи с экспериментами обстоит дело с поисками новых выразительных средств в музыке?

— Об основных мы уже говорили сегодня. Ну, а что касается использования сугубо технических приемов, скажем, из таких музыкальных «систем», как додекафония или алеаторика (мы не будем сейчас вдаваться в вопросы узкоспециальные), то все хорошо в меру. Если, скажем, композитор ставит себе задачу писать обязательно додекафонную музыку, то он искусственно ограничивает свои возможности, замысел. Использование же элементов этих сложных систем вполне оправдано, если оно диктуется мыслью сочинения. Вряд ли Бах, Лист, Моцарт и Бетховен, в произведениях которых сейчас находят элементы додекафонной техники, знали теорию, разработанную в двадцатых годах нашего века австрийским композитором Арнольдом Шёнбергом. Экзотические, неожиданные гармонии не были специально выдуманы ими — они просто как бы выплеснулись, естественно и просто, вызванные к жизни самой создаваемой ими музыкой... Конечно, поиски новых выразительных средств нужны. Но выбор средств этих должен диктоваться большой морально-этической и идейно-художественной задачей. Писать так, чтобы слушатель, узнав произведение, стал бы лучше, честнее, чище. Как это делать? Наверное, единственным путем: выбирая те средства, которые помогают уплотнить в музыке большую цель...

Шостакович умолкает. Спустя минуту продолжает:

— Понимаете ли, в какой-то степени мне в музыке кажется правомерной формула «цель оправдывает средства». Все ли средства? Все, если они передают цель. Когда я слушаю музыку, то, как правило, не задумываюсь над тем, как, какими средствами она написана. Я ее не анализирую, а воспринимаю на слух, эмоционально. Анализировать же я хочу обычно тогда, когда музыка оказывается холодной и не производит впечатления (понять, почему же так получилось? В чем причина неудачи?) или когда музыка настолько захватывает, что хочется узнать, как

же она все-таки «сделана». Однако, и в таком анализе больше душевного волнения, чем теоретических манипуляций.

— Чья же музыка особенно волнует Вас?

— Я уже говорил: от Баха до Оффенбаха, говорил о молодых, о Вайнберге, о Борисе Чайковском. Если я сейчас начну перечислять композиторов, которых люблю, список получится огромный.

— Ну, назовите хотя бы некоторых. Хотя бы тех, кто, по Вашему мнению, достоин называться классиками двадцатого века.

— Классиками? Разумеется, Густав Малер, хотя он по паспорту из девятнадцатого века. Затем Прокофьев, Мясковский, Стравинский, Барток, австриец Альбан Берг... Очень большой композитор — англичанин Бенджамин Бриттен... Вот вы спрашивали меня, кажется, о том, в каком направлении мне хотелось бы видеть развитие музыки нашего времени. Так вот — чтоб было побольше Бриттенов — и русских, и английских, и немецких. Разных. И разных поколений. Чем меня притягивает Бриттен? Силой и искренностью таланта, внешней своей простотой и глубиной эмоционального воздействия. Лично я не люблю, прослушав какое-либо произведение, остаться таким же, каким был до него: оно должно на меня подействовать, открыть что-то новое в мире и во мне. Вот как раз Бриттен на меня чрезвычайно действует во всем своем творчестве — от опер и «Военного реквиема» до квартетов и романсов на стихи Пушкина. Мне кажется, всем, кто всерьез любит музыку, надо поближе познакомиться с сочинениями Бриттена; их, кстати, играют у нас достаточно широко... Трудно сказать, какой будет музыка дальше. Наверное, появятся в конце концов и новый Бах и новый Бетховен. Пока их нет. Будет ли музыкальный язык усложняться или упрощаться — этого заранее не определишь, как и не скажешь с определенностью, кого из нынешних наших молодых композиторов в будущем веке назовут классиками двадцатого века. Ясно же одно: музыка должна быть невероятно нужной и невероятно действенной, независимо от того, как эта «нужность» и действенность достигнуты...

— ... И красивой...

— Конечно. Настоящая музыка всегда красива. Только красота бывает разная. Увидеть ее надо, почувствовать, осмыслить. Возможностей для встреч с красотой мысли, звучания, в общем, с прекрасным, музыке у других искусств не занимать. Это чудесный мир, и каждый из нас не должен пройти мимо него. Чем больше мы станем слушать музыку, тем лучше мы станем сами. Это, конечно, аксиома, но о ней, к сожалению, не всегда помнят. Вот почему наш разговор о творчестве молодых советских композиторов затронул и некоторые вопросы музыки вообще...

Беседу вела Наталья ЛАГИНА.

КУРЧАТОВ, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

РАССКАЗЫВАЕТ
В. С. ЕМЕЛЬЯНОВ

«СОЛДАТ КУРЧАТОВ»

Многие любят жаловаться: я устал, у меня голова болит, я занят, времени нет... А Курчатов никогда и ни на что не жаловался. Я проработал с Игорем Васильевичем больше пятнадцати лет и за все это время не слышал от него ни одной жалобы ни по какому поводу. Чувствовал он себя иногда очень плохо: уже после первого инсульта левая нога начала отказывать, была немного парализована, и он ходил с палочкой, но лечиться не любил и спешил сделать максимум того, что мог.

Помню, как-то застал я Курчатова дома — он болел, лежал в постели. В руках у него была толстая книга, куда он заносил заметки для памяти и поручения, которые давал сотрудникам. Рядом, у постели, стояла Анна Филипповна, его лечащий врач, и просто умоляла:

— Игорь Васильевич, вы больной человек, нельзя же так!

Он отвечал:

— Я все выполняю. Вы сказали лежать? Я лежу.

Но он и больной, в постели, работал так же интенсивно, как в служебном кабинете. К нему и домой шел постоянный, нескончаемый поток людей. Он их вызывал, говорил с ними, рассказывал, слушал, записывал, что надо было сделать.

По словам Марины Дмитриевны, жены Игоря Васильевича, вставал он часов в семь утра, быстро завтракал — ел он вообще быстро — и обязательно куда-нибудь направлялся. Или в институт к себе, или выезжал на завод, или на совещание, на встречу с кем-то. Он все время был в движении — с кем-то говорил, кому-то что-то рассказывал, кого-то слушал.

Все его время поглощалось научной и организационной работой. Он сам выезжал в другие институты, в лаборатории, на заводы, принимал людей, выслушивал их, советовался, объяснял те задачи, которые нужно было решить... Возьмем только одну, небольшую часть огромной атомной проблемы — сам реактор. Сколько тут возникало вопросов!

Прежде всего уран. Постановка всех исследований, связанных с ураном. Это и месторождения урановых руд, и добыча руды, и переработка руды, и очистка урановых солей, и получение металла, и исследование его свойств... Причем все новое. И это только одна урановая проблема.

К Курчатову шли самые разнообразные люди, и он должен был ставить задачи, которые многие, собственно, даже не понимали. Мне иногда приходится на ум такое сравнение: мы открыли дверь в абсолютно темную комнату. И черт его знает, то ли там паркет, то ли провал, и мы полетим куда-то в тартарары. Приходилось идти ощупью. Иногда теория даже не освещала пути, потому что и самой теории еще не было. Иногда теоретические положения отставали от эксперимента, и эксперимент обгонял теорию. Сейчас многое кажется простым и несложным, а тогда ведь было совсем не так. И со всеми этими вопросами, со всем тем, в чем сами не могли разобраться, люди шли к Курчатову.

Я вспоминаю одно из заседаний, где обсуждались методы анализа тяжелой воды. Как к этому подойти, за что «зацепиться»? Скоро будет получена тяжелая вода. Но как определить ее состав — процентное содержание тяжелой воды в общей массе? Химическим путем? Невозможно. Физическим? Но как? Неизвестно.

Мы сидели, целая группа, и обсуждали, что можно было бы положить в основу разработки технического анализа. Ну, тяжелая вода имеет более высокую точку кипения. Потом, удельный вес ее больше. Дальше, точка замерзания также отлична от точки замерзания обычной воды. За что же «зацепиться»?

Специалистов этого профиля тогда не было — просто даже такой специальности еще не существовало. Кто-то в раздражении сказал:

— Ну, Василий Семенович, втянули вы нас в какую-то авантюру! Скажите откровенно: вы что-нибудь в тяжелой воде понимаете?

Я ответил:

— Нет, я металлург.

— А кто-нибудь из сидящих здесь понимает?

— Нет, не понимает.

Мы не заметили, что в эту минуту в комнату вошел Курчатов. Я взглянул и увидел сердитое лицо. Он слышал последние фразы разговора и был

Окончание. Начало см. в № 4 за 1968 год.

очень раздражен самой постановкой вопроса. Курчатов сказал:

— Что же вы хотите, чтобы мы к американцам обратились за помощью? Чтобы они разработали нам метод? Сейчас перед страной стоит важнейшая проблема, и мы, советские ученые, должны ее решать. Никто за нас решать ее не будет. И надо об этом думать. А за что «зацепиться» — давайте поразмыслим, за что-нибудь всегда можно «зацепиться».

Я подумал, из глубины веков до нас дошло: «Ищите и обрящите, стучите и отверзется». Как правило, когда вы упорно ищете, то, конечно, в итоге всегда найдете какой-то метод, какую-то возможность. И мы ведь в конце концов нашли, за что «зацепиться».

Таких случаев было множество. Вот еще один. Когда мы начинали заниматься проблемой разделения изотопов, потребовались пористые перегородки. Что это такое? Нужно было создать пористый материал в форме пластинок, в котором отверстия были бы по величине примерно равны молекуле уранового соединения, с которым мы имели дело. Но как создать эти поры, мы не знали.

Вначале кто-то предложил прокалывать их механически тончайшей иглой. И начали прокалывать! Потом увидели, что из затен ничего не получается. Стали думать, что еще можно предложить, стали советоваться, искать нужных людей. И тогда оказалось, что проблемой занималось в порядке, так сказать, личной инициативы много людей, не имевших к нашим исследованиям никакого отношения. Ну, кто бы мог думать, что такие ученые и инженеры найдутся в... текстильном институте? Или среди металлургов, задачи которых обычно прямо противоположны: не создавать, а устранять раковины, поры и так далее.

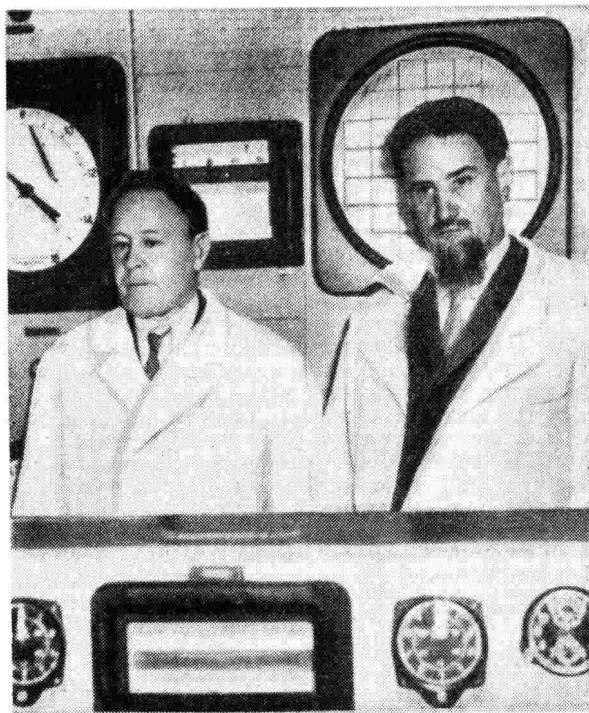
Курчатов не принадлежал к тому типу ученого, к которому мы привыкли и который обычно сидит в тиши кабинета, обложенный книгами, думает, пишет. Определенного времени, так сказать, для думания у Игоря Васильевича не было — он думал на ходу, думал, мне кажется, постоянно.

Спать он ложился поздно. Я знаю это: мы часто засиживались на работе до двух-трех часов ночи.

Курчатов прилагал все силы, чтобы увлечь работника проблемой, в решении которой тот принимал участие, объяснить ему суть задачи, показать ее важность. Но иногда даже люди, увлеченные одной проблемой, не могут работать вместе плодотворно.

У металлургов есть такой термин: совместимость — это когда один металл может работать с другим. Или несовместимость, когда идет процесс взаимодействия-разрушения. И вот иногда Курчатов замечал среди сотрудников людей «несовместимых»: ни по характеру, ни по другим качествам они не подходят друг к другу. И тогда он делал их «совместимыми». Сделать же «совместимыми» не двух, а множество людей — это значительно сложнее, это уже большое искусство. И им в совершенстве владел Курчатов.

Он мог заставить работать рядом заклятых врагов. Я знал такие случаи. Игорь Васильевич умел привлечь внимание на те мелочи, которые отвлекали людей от настоящего дела. Мне казалось, что людям становилось стыдно, хотя Курчатов не стыдил, не корил. Просто он так умел поставить вопросы, что у людей, по-видимому, возникали примерно такие мысли: «То, что Курчатов предлагает, к чему он призывает, и есть настоящее дело. А что нас поссорило — мелкие вопросы, это надо отбросить...»



1957 год. Обнинск. В. С. Емельянов и И. В. Курчатов на первой в мире атомной электростанции.

И люди работали, отдавая общему делу максимум того, на что были способны.

Курчатов был абсолютно бескорыстен. Так, когда он получил большую премию за успешное проведение атомных исследований, то всю ее, до копейки, передал в детские дома. Так же поступал и с другими премиями и с гонорарами за печатные работы.

У него было большое сердце. Он волновался и за товарища, у которого что-то не ладилось, и за сотрудника, который заболел. Он мог неожиданно для заболевшего навестить его в больнице, разговаривать о нем с врачами, доставать нужные лекарства.

Известно, что он был учеником академика А. Ф. Иоффе. Когда в один период Абрама Федоровича освободили от обязанностей директора Ленинградского физико-технического института, Курчатов очень расстроился и переживал за старика, которого глубоко чтил.

Если попытаться нарисовать портрет Игоря Васильевича, то надо сказать, что был он высокого роста, широкоплечий, плотный. Ходил быстро, крупными шагами. Знаменитую его бороду знают все; о живых, лучистых глазах, которые с первой встречи запомнились мне на всю жизнь, я уже упоминал. У него был высокий баритон, говорил он очень энергично.

Недавно в воспоминаниях С. Ляндреса об Орджоникидзе я прочитал, что Серго любил голубые рубашки. Вот такого любимого цвета у Игоря Васильевича я не знаю: рубашки он носил разных цветов, преимущественно темные, хотя иногда надевал и белые. Костюмы и галстуки он предпочитал тоже темных, неярких цветов. Зимой его можно было видеть в длинном зимнем пальто с бобровым воротником «шалю» и в меховой шапке «пирожок».

Спорт он любил: в молодости хорошо играл в теннис, до последних дней любил пинг-понг. У него даже дома был стол для пинг-понга.

Однажды, когда Курчатов приехал к нам, он спросил у жены:

— Наталья Арсеньевна, у вас нет пинг-понга?

— Игорь Васильевич, да у нас никто не умеет в него играть, — ответила она.

— Это безобразие, — сказал Курчатов. — Вот этот стол, — он показал на наш большой обеденный стол, — прямо предназначен для пинг-понга.

Он не только сам любил играть, но и сотрудников заставлял. Иногда он говорил:

— Перерыв! Все собираемся и играем в пинг-понг.

В личных отношениях он был чрезвычайно щепетилен. Когда я начал ездить за границу, он мог еще попросить меня привезти какую-нибудь мелочь: бутылочку кока-колы, скажем, которую хотел попробовать. Но вот однажды я хотел подарить ему на день рождения транзисторный приемник — они тогда только появились, — и я привез один специально для Бороды. Но как он меня отругал!.. Он сказал:

— Василий Семенович, зачем вы это делаете?! Вы же знаете, я взамен ничего подобного не могу вам подарить! Почему вы ставите меня в такое положение? Как вам не стыдно!

Приемник Курчатов так и не взял, и он стоит у меня дома как укор.

Вот еще что характерно: Курчатов многим давал прозвища, но они никогда не были обидными.

Б. А. Ванникова он называл «Бабай», потому что тот был родом из Баку, а там «бабай» — уважительное обращение к старшему. Абрама Исааковича Алиханова звал «Абушей» — по первым двум буквам его имени, а Игоря Евгеньевича Тамма звал ласкательно Игорек, хотя Тамм и старше его.

А. Л. Завенягина иногда называл «Генералом», но за глаза.

— Что, Генерал здесь? — спрашивал обычно Курчатов, потому что Завенягин действительно носил погоны генерал-лейтенанта. Видимо, еще и другие какие-то черты характера Завенягина, чрезвычайно энергичного организатора, бывшего начальника Магнитостроя, наталкивали на мысль называть его Генералом.

У Игоря Васильевича была нежная привязанность к Д. В. Ефремову, министру электропромышленности СССР, дружба с которым у него началась еще в Ленинграде, где им довелось вместе работать.

Ефремов, помимо того, что был хорошим организатором и крупным государственным деятелем, являлся к тому же и великолепным специалистом. Он внимательно следил за развитием всех отраслей науки, связанных с электропромышленностью, и принимал необходимые меры к тому, чтобы возможно быстрее использовать их практически.

Ефремов принимал самое непосредственное участие в создании в нашей стране ускорителей ядерных частиц. Под его руководством в Советском Союзе был построен первый циклотрон, а также самый мощный в свое время ускоритель ядерных частиц в Дубне. Он активно участвовал в сооружении термоядерных установок. Будучи замечательным инженером, он тянулся к физике, а Курчатов с его страстным желанием быстрее реализовать все, что им задумано, невольно льнул к Ефремову. Они были необходимы друг другу и питали один к другому нежные чувства. Курчатов прозвал Ефремова «Дэвочка» — по инициалам Дмитрия Васильевича.

— Почему вы называете его Девочкой? — спросил я как-то Игоря Васильевича.

— Да не Девочка, а Дэвочка, — поправил меня Курчатов.

Сам Игорь Васильевич называл себя солдатом. В спорах, в разговорах он часто повторял: «Я солдат». Это я слышал не раз. Он даже иногда подписывал так: «Солдат Курчатов».

А меня почему-то прозвал «Красным партизаном» — может быть, потому, что я иногда «влезал» с вопросами неожиданно, когда люди чем-то занимались, а может быть, из-за того, что в 1920 году мне довелось партизанить. Но если уж говорить о «партизане», то таким настоящим красным партизаном — по характеру своему — был прежде всего сам Курчатов.

Вспоминаю такой случай. Курчатову нужно было во что бы то ни стало добиться решения правительства по одной из проблем. Но в это время шло какое-то очень большое совещание — сейчас не помню, что это было, — и все члены правительства были заняты.

Курчатов позвонил тогда одному из членов правительства и сказал, что вопрос не терпит отлагательства. Надо сказать, что Игоря Васильевича чрезвычайно уважали, с ним очень считались, он как-то умел расположить к себе всех, с кем сталкивался, — и низовых и руководящих работников.

Член правительства ответил:

— Игорь Васильевич, сейчас идет совещание, оно кончится через два дня. Тогда мы вас примем.

— Я никак не могу ждать два дня, — сказал Курчатов, — вопрос очень срочный.

— Но ведь принять вас и выслушать технически невозможно: мы все на заседании.

— А у вас, я знаю, будет перерыв. Вот я и придю, и когда вы выйдете из зала заседания, я и доложу вам, чтоб времени не терять. Вы тут же сможете и постановление подписать, а проект у меня уже подготовлен.

Кстати сказать, ряд проектов решений Курчатов составил сам. Так он сделал и в тот раз. В перерыве ходил от одного члена правительства к другому и объяснял, почему так срочно нужно решение. И тут же, во время перерыва, было принято необходимое решение.

Курчатов обладал огромнейшей «пробойной» силой — силой убеждения, и противостоять ей было невозможно.

Он вообще не был руководителем «разговорного жанра». Курчатов всегда доискивался, какие препятствия стоят на пути и мешают решить задачу. А когда понимал причины помех, то начинал устранять их засучив рукава. Если не хватало материалов, он звонил, ездил, говорил, убеждал. Если нужны были какие-то люди или не хватало знаний, он искал, кто может помочь разобраться в вопросе, привлекал нужных людей. Игорь Васильевич всегда помогал решать задачи не разговорами, а практически.

Я часто задумываюсь вот над чем. Мне пришлось встречаться с Г. К. Орджоникидзе, с академиком Г. М. Кржижановским, работать с И. В. Курчатовым. У этих людей много общего. Что же именно?

Прежде всего это люди, одержимые одной идеей, которой они посвятили всю свою жизнь.

Это люди огромной энергии, с сильной волей, которые поставили перед собой какую-то задачу и не жалеют ничего ради ее решения.

Это люди возвышенные, люди исключительной чистоты и внутренней порядочности.

Эти люди не тлеют, а горят.

Видимо, преданность идее, увлеченность наукой естественно связаны с чувством нового, со стремлением к прогрессу. Мне кажется естественной и другая черта, объединяющая всех этих людей: чувство прекрасного, любовь к литературе, искусству.

Хорошо известно, например, что Г. М. Кржижановский, увлекающийся человек широкого диапазона, был поэтом — он автор текста «Варшавянки». Менее известно, что Г. К. Орджоникидзе и И. В. Курчатов тоже писали стихи.

Игорь Васильевич и сам писал стихи и любил хорошие стихи. Он любил и понимал природу, часто гулял по лесу, ездил на лодке с Д. В. Ефремовым, и тогда они не только говорили о делах, но и читали друг другу стихи собственного сочинения.

В редкие дни, когда Курчатову удавалось вырваться к природе — в лес, к реке, — он преображался. Казалось, он впитывает в себя, как губка, аромат живой природы.

Как-то мы поехали с ним в лес. Я забрал всю свою семью, а он поехал вместе с Мариной Дмитриев-ной.

Мы расположились под деревьями, но Курчатов ушел куда-то вперед, к опушке леса. Я пошел к нему. Игорь Васильевич стоял, скрестив на груди руки, всматриваясь в даль, и улыбался.

Курчатов страстно любил музыку. Помню его восторженные отзывы об игре Эмиля Гилельса и Святослава Рихтера. Одним из самых любимых им музыкальных произведений был «Реквием» Моцарта.

Ректор Московской консерватории А. В. Свешников рассказывал мне, что Игорь Васильевич за два дня до смерти был в Консерватории и слушал «Реквием» Моцарта. После концерта он сказал А. В. Свешникову:

— Когда я умру, прошу, чтобы исполнили «Реквием». И исполнили так, как сегодня исполняли его здесь у вас.

...«Реквием» звучал, когда тысячи и тысячи людей проходили через Колонный зал Дома союзов, прощаясь с великим современником...

Все время Курчатова было поглощено колоссальной проблемой, стоявшей перед страной. Постоянно у него возникали какие-то новые идеи, которыми он занимался. Но, надо сказать, Игорь Васильевич относился к числу мечтателей и находил время помечтать. О чем же?

Курчатов, как и все другие участники разработки атомной проблемы, видел, что атомная энергия может совершить переворот в целом ряде областей, и сердцем тянулся в эти области. Прежде всего мы думали об атомных электростанциях. Не случайно, что именно в нашей стране была пущена первая в мире атомная электростанция, хотя, казалось бы, не до станций было в то время. Но мы просто не могли не заниматься атомной энергетикой. Атомная бомба была для нас делом вынужденным. Я глубоко убежден: если бы не опасность, что без атомной бомбы нас раздавят, сомнут, никто из нас ею никогда и не занимался бы.

Мы все прекрасно понимали: бомба нам нужна, чтобы можно было дальше заниматься тем строительством, которое мы до этого вели начиная с 1917 года. Не имея бомбы, мы были бы лишены возможности спокойно вести это строительство. Поэтому надо было бросить все силы на решение атомной проблемы, создать бомбу и продолжать мирное строительство.

Вот так, собственно говоря, мы понимали задачу. И особенно хорошо это понимал Курчатов, очень часто говоривший о перспективах, которые откры-

вает применение атомной энергии в мирных целях.

Курчатов был большим гуманистом и оптимистом. Подлинным оптимистом! Поэтому его занимали не только вопросы, связанные с созданием средств разрушения, которыми он по необходимости занимался. И когда основные вопросы атомной проблемы были разрешены, когда у нас стали действовать атомные реакторы и установки по разделению изотопов, а первые испытания атомной бомбы успешно прошли, Курчатов поставил в повестку дня новую проблему, которая его, по всей видимости, больше всего занимала: он проявил исключительный интерес к термоядерной проблеме, к управляемым термоядерным процессам.

Это нашло свое выражение в докладе, прочитанном им в 1956 году в Харуэлле. Выступление Курчатова не только показало, на чем надо концентрировать усилия — то есть на мирных путях использования атомной энергии, — но он показал наиболее важную проблему: энергетику.

Прогресс цивилизации в значительнейшей степени зависит от потребления энергии на душу населения. Чем выше душевое потребление энергии, тем выше степень экономического развития страны. И Курчатов прекрасно понимал значение энергетики.

«А ГДЕ ОВЕС!»

Курчатов мог не только ясно и хорошо излагать свои мысли, но он еще умел и слушать. К сожалению, немногие обладают этим даром. Мне кажется, способность слушать и слышать собеседника — одна из примет настоящих людей.

Когда я говорил с Игорем Васильевичем или когда наблюдал его во время разговора с другими людьми, меня не покидало ощущение, что сведения, которые ему сообщают собеседники, он собирает в какой-то огромный резервуар. Он умел так ставить вопросы, что люди рассказывали именно то, что необходимо для решения той или иной обсуждаемой проблемы.

Курчатов никогда не перебивал собеседника, если тот говорил дельно. Обычно, когда кто-то что-то рассказывает, а вы сидите молча, с каменным лицом, у рассказчика пропадает охота говорить: он не знает вашей реакции. И поэтому Курчатов ободрял собеседника одним неизменным словом:

— Понимаю... Понимаю... Понимаю...

Но если собеседник плел чепуху, Игорь Васильевич начинал сердиться и обычно произносил хорошо знакомую нам фразу:

— А где же овес?

Он не любил ни высокопарных речей, ни красноречия и всегда требовал конкретности. Когда кто-то докладывал о результатах исследований и сообщение начинало выглядеть одним «общим местом» и затягивалось, Курчатов хмурился и говорил:

— А где овес?.. Где овес?..

Это выражение стало крылатым, его повторяли во многих институтах. Когда заслушивали результаты исследований, у докладчика порой спрашивали:

— А где овес?

Обычно Курчатов созывал научно-технические совещания по понедельникам «в десять ноль-ноль», как он говорил. И если кто-то хоть на минуту опаздывал, Игорь Васильевич говорил:

— Такой-то опоздал на минуту. Надо это отметить в протоколе.

И он приучил всех к такой дисциплине, когда каж-



1959 год. Подмоскowie. Академики И. В. Курчатов и М. А. Лаврентьев на прогулке.

дая минута экономилась и люди не ждали друг друга.

Игорь Васильевич открывал совещание, коротко сообщал, почему вопрос требует обсуждения, потом давал слово докладчику, ограничивая время:

— Даю вам двадцать минут.

Докладчик иногда возражал:

— Я в двадцать минут не уложусь.

— А вы постарайтесь.

Все знали, что разглагольствований, «воды» Курчатов не любит. Но если докладчик говорил интересные вещи, то Игорь Васильевич о регламенте забывал. Если же докладчик начинал говорить что-то не по существу или повторяться, Игорь Васильевич вмешивался:

— Ваше время истекло.

У Курчатова совещания проходили динамично и долго не тянулись. Но, хотя длинных докладов обычно и не было, все же обсуждения иногда сильно затягивались. Я вспоминаю одно такое совещание, которое началось часов в десять вечера, а закончилось в три ночи. Но тогда, собственно, нужно было найти какое-то решение, какой-то выход из создавшегося положения, а он не отыскивался. Поэтому тут же, на совещании, импровизировали, считали различные варианты, задавали друг другу вопросы. Правильнее было бы сказать, что это не было совещание в обычном смысле слова.

Но нередко на повестке дня стояли очень конкретные вопросы, и Курчатов убеждал кого-то:

— Вы возьмете на себя вот это. Работу надо сделать в два дня.

— В два дня это сделать нельзя, — возражали ему.

— Как нельзя? Надо провести вот такие-то операции. Здесь всего на два часа работы. Почему вы говорите, что нельзя?

Если в это время возражавший называл неверные цифры и действительно завышал время, Курчатов начинал сердиться и властно устанавливал твердый срок:

— Решено: сделаете в два дня.

Курчатов был чрезвычайно требователен и спуску не давал никому. Мне вспоминается 1955 год, когда мы готовили большое количество докладов к первой конференции по вопросам мирного использования атомной энергии, которая созывалась ООН в Женеве. На этой конференции я был советником нашей делегации и не выступал. Но я наблюдал за тем, как относился к подготовленным сообщениям Курчатов.

Раньше мне не приходилось участвовать в международных конференциях, да и из всех людей, работавших над атомной проблемой, редко кто на таких конференциях бывал, редко кто привык к тому, чтобы кратко, в течение десяти минут, изложить существующие дела. И когда узнали, что устные сообщения ограничены десятью — пятнадцатью минутами, то возникли большие трудности.

Докладчики были намечены, и Игорь Васильевич не только прочитал каждый доклад, но и заставил всех, кто собирался на конференцию, сделать свои сообщения устно. Как-то я слышал, как он говорил одному из отъезжавших:

— Представьте себе, что вы уже находитесь в Женеве. Выходите и читаете свой доклад. Имейте в виду: больше десяти минут вам не дадут.

Когда докладчик закончил, Курчатов сказал:

— Доклад никуда не годится. Его даже нельзя принять за основу. Ну о чем вы говорите? Вы говорите всем известные вещи. А ведь это международная конференция, где надо сказать что-то новое. И у вас это новое есть, но вы же не работали над докладом!.. Предлагаю доклад отклонить и поручить написать новый.

Прошло три года. Мы стали готовиться ко второй Женевской конференции. Это было уже в 1958 году. Тогда я тоже должен был выступать с докладом о будущем атомной энергетики Советского Союза.

Я подготовился, и, откровенно говоря, мой доклад мне нравился. Так как он был одним из основных докладов, для него отвели 20 минут. На репетиции в Москве я за двадцать минут изложил содержание доклада. Но не успел я закончить последнюю фразу, Игорь Васильевич вскочил и крикнул:

— Этот доклад не пойдет! Ну что вы там общие слова говорите? Это и без вас все знают. Вам надо над докладом еще поработать.

Откровенно говоря, я очень обозлился. Мне казалось, что Игорь Васильевич зря придирается ко мне. Потом, поостыв, я стал вспоминать каждое гневное слово Курчатова и увидел, что он действительно прав, что с таким докладом в Женеву ехать нельзя. Тогда я все переделал, мы опять собрались, я опять прочитал доклад...

— Доклад плохой, — сказал Курчатов, — его можно исправить. Я думаю, надо переработать такую-то часть, такую-то часть, такую-то часть. — И он начал перечислять, какие разделы доклада надо переработать. — Вот это, это, это, — опять последовал ряд перечислений, — опустите. И надо включить новые материалы, которых в докладе нет. — И он рассказал, что именно надо включить.

Я сделал третий вариант. Когда прочитал его Курчатову, он сказал:

— Ну, что же, вот этот доклад, если его исправить, если над ним поработать, можно будет представить на конференцию.

Только пятый или шестой вариант доклада был принят Курчатовым...

Надо сказать, что сам он никогда длинных речей не произносил. Все его выступления были короткими. Он говорил экспромтом, специально речей не готовил, не писал. Я не помню ни одной его писаной речи: у него на это не хватало времени. Но резонанс от каждого его выступления был огромным.

Когда Курчатов выступал в Харуэлле, я находился в США. Там докладом Курчатова были буквально ошарашены. Мало кто знает, какое влияние оказал его доклад на положение дел в этой области в крупнейших странах мира.

Помню, что, когда я приехал в Брукхавенскую национальную лабораторию на Лонг-Айленде, в США, чтобы повидаться с некоторыми известными учеными, никого из них на месте не оказалось. Я спросил тогда:

— Где у вас находится такой-то ученый?

Мне отвечали:

— Он работает сейчас в другом месте.

— А где такой-то?

— Его у нас уже нет.

— А такой-то?

— Он тоже работает в другом месте.

Создалось впечатление, что происходит концентрация ученых для выполнения каких-то новых работ и что их из Брукхавенской лаборатории направляли в другие места.

Потом американцы мне сказали:

— После выступления Курчатова у нас в спешном порядке стали создаваться новые центры по управляемым термоядерным процессам.

Таких центров только в Соединенных Штатах возникло четыре.

Уже много позже я попал во Францию и, объезжая французские атомные объекты, встретился с известным французским физиком Юбером. Юбер мне сказал:

— У меня было очень трудное положение: не давали достаточно денег для постановки исследовательских работ. А после выступления Курчатова в Харуэлле меня пригласили «наверх» и спросили, сколько мне нужно средств, чтобы поставить эти исследования.

Одним словом, доклад Курчатова вызвал цепную реакцию во всем мире. После его доклада в США и в основных европейских странах отношение к исследованию управляемых термоядерных процессов резко изменилось. Этот факт хорошо известен среди ученых.

АЗАРТ

Примерно первые десять лет, которые я проработал с Игорем Васильевичем, вспоминаются временем непрерывной, поглощавшей все силы работы. Мы работали, что называется, как проклятые, просиживали дни и ночи, занимаясь вполне конкретными делами.

Больше того, в это время мы даже разучились обижаться друг на друга. Обижаться казалось такой мелочью!.. Проблема так нас поглощала, задача была настолько важной, настолько большой, что

отнимала все время и все силы. Мы прекрасно понимали, что неудачи не может быть — должна быть только удача. Неудачи нам никто не простит. И если мы иногда шутили, баловались, то это была только реакция организма на то чудовищное нервное напряжение, под тяжестью которого мы все время находились.

Излишне говорить, что Игорь Васильевич был занят не меньше, а больше других. Но уж если вспоминать о шутниках, то прежде всего приходит на память сам Курчатов. Я бы даже сказал больше: Игорь Васильевич был озорником — он любил озорничать...

Курчатов бывал у нас дома, на московской квартире, бывал и на даче. Совершенно естественным был его звонок с предупреждением о визите. Но он мог приехать и без звонка.

Как-то мы сидели на даче и ужинали. Вдруг открылась дверь, на пороге появился Игорь Васильевич и сказал:

— Вот и я. Не опоздал?

Дача Курчатова была совсем по другой дороге, о приезде он не предупредил, и мы его совсем не ждали. Но его любили в нашей семье и тоже называли его Бородой. Я сказал:

— Садитесь ужинать.

— Сяду-сяду. У вас, кажется, пирожки? — Потом обратился к моему сыну: — Ну, Юра, неужели мы не справимся с этой тарелкой?

«Тарелка» была большим блюдом, пирожков там было видимо-невидимо — с капустой, с мясом и еще с чем-то. Наталья Арсеньевна сказала:

— Игорь Васильевич, да тут около сотни.

— Ну как, Юра, дошибем?

Игорь Васильевич был азартным человеком: уж если он что-то делал, то даже в малом приходил в азарт. И в тот вечер, пока последний пирожок не был уничтожен, он не успокоился. Хотя, надо сказать, гурманом он не был: когда голоден — ну, схватит какой-нибудь бутерброд. Часто он просто забывал поесть. Иногда заскочит ко мне в кабинет и говорит:

— Вы не можете заказать мне чего-нибудь поесть? Страшно есть хочу. — И начинал жадно поглощать принесенные бутерброды.

— Игорь Васильевич, а вы вообще сегодня завтракали?

— Знаете, я сегодня рано выскочил, надо было заняться многими делами. — И он начинал перечислять, где был, с кем говорил, с кем советовался.

Работа поглощала все его время, о себе он забывал. Но случались и такие дни, когда Курчатов, как он в шутку говорил, хотел культурно провести время.

Я вспоминаю, как однажды в четверг он пришел ко мне:

— Василий Семенович, давайте субботу культурно проведем.

— Что вы имеете в виду?

— Во-первых, пойдём в Консерваторию и послушаем Рихтера. А потом отправимся к вам домой — мне разведка донесла, что у вас есть бутылка рома.

Не знаю уж, откуда ему стало известно, но бутылка рома и правда была: я только приехал из-за границы и как раз привез французский ром с Мартиники. Надо еще заметить, что Курчатов всегда пил очень немного, а в последние годы и вообще спиртного совсем в рот не брал. Я ответил:

— Разведка правильно донесла. А кто еще будет?

— Ну, вот вы, ваша жена Наталья Арсеньевна, моя жена Марина Дмитриевна. Мы вчетвером и проведем этот вечер.



Лето 1959 года. На Москве-реке у Николиной горы.

— А кто в Консерваторию билеты достанет?
 — Билеты я достану.
 — Все четыре билета достанете?
 — Достану. У меня еще ничего не срывалось.
 Я тогда сказал:
 — О-о-о, Игорь Васильевич, каким голосом вы заговорили!
 И тут я впервые увидел, как Курчатов застеснялся: он покраснел. Надо сказать, он никогда ничем не бахвалился. Это был человек исключительной скромности.
 А в субботу он пришел ко мне, положил два билета на стол и как-то скороговоркой произнес:
 — Знаете что, идите с Натальей Арсеньевной, а мы к вам придем вечером после концерта.
 Я понял, что четырех билетов он достать не смог.
 Я ответил:
 — Во-первых, Наталья Арсеньевна не хочет идти на концерт. Да и я не особенно люблю те вещи, которые будут исполняться, а Марина Дмитриевна как раз их любит. Так что лучше идите вы, а после концерта заходите к нам.
 Но, как я ни убеждал, Курчатов категорически отказался, оставил мне билеты и ушел. Мне пришлось идти вместе с сыном.
 На концерте я подумал: придут Игорь Васильевич и Марина Дмитриевна. Мы с ними часто встре-

чаемся, будем сидеть вчетвером. Может быть, еще кого-нибудь пригласить? И вдруг во втором ряду я увидел своего старого приятеля, Давида Ивановича Габриэляна, с которым мы вместе учились еще в Горной академии. В Консерватории он был с женой. В перерыве я подошел к нему:

— Давид, пойдем после концерта ко мне.
 — Зачем?

— Ром пить.

— Ром! Что я дурак, что ли, отказываться?..

Мы пришли с Габриэляном и его женой, а через некоторое время приехал Курчатов с женой. Я их познакомил. И мы очень весело провели вечер. Игорь Васильевич ушел от нас поздно, много шутил, смеялся и был душой компании.

Вообще он был исключительно веселым и жизнерадостным человеком, а в тот вечер ярко проявилась одна из характерных особенностей Курчатова: уже при первом знакомстве он умел найти путь к сердцу человека, расположить его, и люди вели себя так, словно знали Курчатова всю жизнь...

В день моего пятидесятилетия ко мне в кабинет часа в два дня пришли Ванников, Завенягин и Курчатов. Они поздравили меня, и Ванников сказал:

— Вот раньше мастеровые в такой день ставили товарищам...

Я ответил:

— Ну что же, мне сейчас в шинок за водкой бежать? Не здесь же!

— А ты бы пригласил нас,— сказал Ванников.

— А придете?

— Конечно, придем.

Откровенно говоря, я не люблю отмечать дни рождения, в тот раз праздновать мне и совсем не хотелось. Поэтому я и не думал отмечать этот день. Настроение было неважное, и я думал только об одном, чтобы этот день скорее прошел. Но здесь были мои близкие товарищи...

— Хорошо,— сказал я,— давайте соберемся.

— На сколько назначаете?— спросил Курчатов.

— Приходите в восемь вечера.

— Значит, в двадцать ноль-ноль.— Курчатов по привычке посмотрел на часы.— Хорошо, придем.

Я приехал домой. Наталья Арсеньевна тут же, экспромтом, стала что-то готовить и накрывать стол, а ровно в восемь раздался звонок. Первым пришел Курчатов, потом приехали Ванников и Завенягин.

Мы сели за стол. Пьющих среди этой компании не было. Ванников к тому времени перенес уже два инфаркта и пить остерегался, кроме маленькой рюмки «Хванчкары», он ничего не мог себе позволить. Завенягин вообще очень немного и редко пил. То же самое надо сказать и о Курчатове. Мы поспели, поговорили. Курчатов сказал:

— Гм... Гостей мало... я пойду гостей звать.

Он вышел на лестницу и стал звонить во все квартиры на всех шести этажах нашего подъезда.

— У Емельянова день рождения. Емельянов приглашает,— говорил он.

Пока мы сидели и говорили, прошло часа два или три, время было позднее, кое-кто из моих соседей по дому уже ложился спать. Но Курчатов всех буквально поднимал с постели и направлял ко мне. Постепенно начали появляться люди, некоторые знакомились со мной только здесь, раньше я их и не знал, хотя и жили мы в одном подъезде. Курчатов, видя это, радостно говорил:

— Ну вот, организовано. Теперь совсем другое дело...— Он весело ходил по комнатам и потирал руки: ему это нравилось.

День рождения отпраздновали шумно и весело, но моих заслуг тут не было — все сделал Курчатов...

ВОСКРЕСЕНЬЕ. В 14.00

Было воскресное утро 7 февраля 1960 года. Я встал немного позже обычного и стал бриться. В это время раздался телефонный звонок, и трубку сняла дочь. Потом она мне рассказала, что голос в трубке произнес: «Это говорит Борода. Вы узнаете меня?» Я уже говорил, что Курчатов у нас в доме часто бывал и домашних знал. До меня долетел звонкий голос дочери:

— Ну, кто же не узнает Бороду!.. Игорь Васильевич, папа бреется. Папа! — крикнула она. — Тебя Курчатов зовет к телефону!

Я подошел. Почему-то на том конце провода оказался академик Юлий Борисович Харитон, давний сотрудник Курчатова. Я спросил:

— Юлий Борисович, а где Курчатов?

— Он здесь у меня, в Барвихе. Я здесь отдыхаю. Сейчас он говорит с Киевом.

Я услышал, как Курчатов по другому телефону громко разговаривает с Киевом, потом он взял у Харитона трубку.

— Посол, — услышал я его веселый голос (в последнее время мне часто приходилось бывать за границей, и Курчатов, имея привычку давать прозвища, стал звать меня Послом), — приезжайте ко мне обедать в четырнадцать ноль-ноль. У меня много новых идей, и я хочу поговорить с вами. А кока-колу вы мне привезли? — В это время Курчатов из спиртного уже ничего не пил.

Я сказал:

— Привез.

— Забирайте кока-колу и приезжайте ко мне на дачу.

Я положил трубку, вызвал машину и поехал к Курчатову на дачу.

Когда я приехал, там уже находились Д. В. Ефремов и Марина Дмитриевна. В столовой был накрыт стол.

Ожидая Курчатова, мы сидели и разговаривали. Марина Дмитриевна сказала:

— Игорь Васильевич встал очень рано, часов в семь, вышел из комнаты на пыпочках, чтобы не разбудить меня, и уехал. Я даже не знаю, где он. Вероятно, скоро приедет. Он оставил записку, что будет в четырнадцать ноль-ноль. — И она улыбнулась.

Но вот часы пробили два, а Курчатов не появился. Это было необычно. Если Игорь Васильевич говорил: «Буду в 14.00», — значит, точно в это время он и будет. А сейчас его не было...

Прошло еще полчаса. Курчатов не появлялся. Марина Дмитриевна стала нервно ходить по комнате:

— Что же с ним случилось?.. Я не знаю, где он...

Я сказал:

— Да я с ним говорил. Мы закончили разговор около одиннадцати часов. Он находится в Барвихе, у Харитона.

— Но он сказал, что в 14.00 будет дома, а его все нет.

В это время зазвонил телефон. Я поднял трубку.

— У Марины Дмитриевны есть кто-то? — спросил чей-то голос.

Я ответил:

— Я.

— Василий Семенович? — переспросили меня, и в трубке послышались гудки.

Мне показалось это странным. Почему вызывавший положил трубку? Кто говорил, я не узнал, хотя мне показалось, что это был кто-то из сотрудников лаборатории Курчатова. Я подумал: может быть, это Неменов, но я не был уверен.

В три часа Игоря Васильевича еще не было. Ефремов тоже стал волноваться:

— Он такой аккуратный... Может быть, его куда-нибудь срочно вызвали?

Я сказал:

— Может быть.

— Ну давайте тогда еще подождем.

В это время к даче подъехала машина, из нее вышла женщина — лечащий врач Курчатова. Она вошла и сказала:

— Марина Дмитриевна, Игорю Васильевичу плохо. Одевайтесь и поедете к нему. И вы тоже, — обратилась она к нам с Ефремовым.

Марине Дмитриевне надо было переодеться, и она поднялась наверх, а я надел пальто и вышел во двор. Когда я подошел к шоферу, он заплакал и сказал:

— Курчатов умер. В двенадцать часов. Врачи ничего не могли сделать.

Мы были буквально ошеломлены. Умер... Не может этого быть!

Марине Дмитриевне мы, естественно, ничего не сказали, сели в машину и поехали в Барвиху. Там прошли прямо к главному врачу. Тот сказал:

— Марина Дмитриевна, садитесь... — Врач был настолько растерян, что больше ничего не смог выговорить.

Пришла лечащий врач Курчатова, сказала:

— Марина Дмитриевна... Мы принимали все меры, но ничего не могли сделать...

Марина Дмитриевна с ужасом в глазах смотрела на нас.

— Что случилось? — спросила она. И потом вдруг вскрикнула: — Он умер?!

В это время вошел Харитон. Стал рассказывать:

— После разговора с Василием Семеновичем мы вышли погулять. Прошлись немного и напротив главного входа сели на скамейку. Я стал говорить Игорю Васильевичу о тех новых соображениях, которые у меня возникли. Мы сидели на этой скамейке, а рядом с нами, невдалеке, стояли секретари. Курчатов все время внимательно слушал и говорил: «Понимаю... Понимаю». Потом он перестал говорить, и я увидел, что у него отвисла челюсть. Я крикнул: «Курчатову плохо!» Секретарь Курчатова подбежал, вынул нитроглицерин и вложил таблетку Игорю Васильевичу в рот, но Курчатов на это никак не реагировал. Он был мертв. Помчался за врачом — это было рядом, несколько шагов. Прибежала женщина-врач со шприцем и сделала укол. Но она колола уже мертвого. Это был паралич сердца. Смерть наступила мгновенно...

Потом секретарь Курчатова рассказал:

— Мы видели: разговаривают двое ученых, и, чтобы не мешать, отошли в сторону. Курчатов закинул голову и за чем-то наблюдал. Мне казалось, он смотрит на белку, которая прыгала с дерева на дерево. И вдруг этот тревожный крик Харитона: «Курчатову плохо!»

Он умер сразу.

Он всю жизнь горел ярким огнем и умер, не тлея, сказав последнее «Понимаю».

После него осталась какая-то пустота. Заполнить ее трудно. В особо трудные минуты, а их у меня немало, часто возникает мысль: пойду посоветуюсь с Игорем Васильевичем, — и я вздрагиваю — теперь это уже невозможно. Начинаю мучительно ворошить память. А как бы поступил он в аналогичной ситуации? Вспоминаю случаи из прошлого, и передо мной яснее встают картины прежних встреч, бесед и споров.



«Время выдвигает свое слово. И слово это — поступок. Способность к поступку — основной признак мужчины... Поступок — форма воплощения человека. Он неприхотлив на вид и исключительно труден в исполнении. Почему именно эти назидательные слова особенно запомнились мне в совсем неназидательной книге Андрея Битова («Дачная местность», изд-во «Советская Россия»? Может, потому, что лирическая проза Битова привела меня самого к этим словам, подсказала мне то, что я понял, что почувствовал в его книге да не мог бы так точно выразить? Верно ведь: мы все чувствуем, что время уходит, что каждый день копящийся и копящийся за нами недоимки — несвершенное, не-сделанное, невысказанное. И утешаем себя: еще придет время, будет час, когда мы себя проявим, уж мы свершим, уж мы — тогда! — скажем...

Битов — художник: он не навязывает свои мысли читателю, сам читатель, принимая в свое сердце его героев, начинает думать (не «сопереживать» — в этом слове есть что-то отвлеченное, не личное). Писатель как бы приостанавливает наш бег во времени и мимо времени, и мы научаемся вдруг отделять суету от жизни, научаемся ценить жизнь. Мы научаемся любить: видеть доброе в людях, в себе и не стесняться этого. И понимая: никакого обнадеживающего завтра не будет, если мы сегодня не сделаем малого шага навстречу тому настоящему, что есть в нас самих и в других людях.

Но только видеть доброе — полдела. Битов не созерцатель: надо и поступать так, как велит тебе сердце, надо и уметь защищать дорогое, настоящее, надо быть его достойным. Эта мысль звучит в небольшой повести Андрея Битова «Сад». Заключительные слова ее — «откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же?» Откуда же, если не из малых ростков человеческого, настоящего в душе героев, не из того, что они, увы, не могут отстоять и вырастить!..

Я не пересказываю Битова, не хочу упрощать его, пусть встреча читателя с ним будет неожиданно радостной...

Вяч. ИВАЩЕНКО

Небольшой сборник рассказов Аллы Беляковой обращает на себя внимание прежде всего цельностью, воспринимается КНИГОЙ, написанной писателем внимательным и думающим; рассказы объединяет не только общая манера, тематика, интонация, но общая мысль, любовь к своим героям и боль за них.

Это печальная книжка. Автор рассказывает о трудных военных годах, о людях, встретившихся девочке-подростку в чужом городе — в эвакуации, о холодных и голодных зимних вечерах и ночах, о письмах, так и не пришедших с фронта, о похоронках, дтях без отцов — обо всем том тягучем, что свалилось на хрупкие плечи подростка в трудные и героические

годы войны. О том, о чем, казалось бы, написано уже много и где мудрено найти свое, читателю неизвестное.

Впрочем, А. Белякова и не собиралась никого удивлять. Книжка ее на редкость неприязательна, в ней нет нарочито драматических сюжетов. И тем не менее «Красное небо» (изд-во «Советский писатель») — книжка, которую читатель, несомненно, запомнит, выделит среди множества произведений на темы войны.

Прежде всего потому, что писательница искренна в своих рассказах о людях, о встречах, о передуманном и пережитом, потому что ее память сохранила для читателя детали и «мелочи», на первый взгляд пустяковые и незначительные, но разворачивающиеся меж тем внезапно перед нами до боли знакомую картину тех лет. Потому что автор вошедших в сборник рассказов и не ставил своей задачей развлечь или «напугать» — трудные воспоминания о прошлом помогают автору разобраться в сегодняшнем, становятся нравственной опорой, они, несомненно, нужны и сегодняшнему читателю этой книжки.

Образ времени в рассказах А. Беляковой складывается из этих мелочей, точно и по-своему увиденных подробностей жизни той поры.

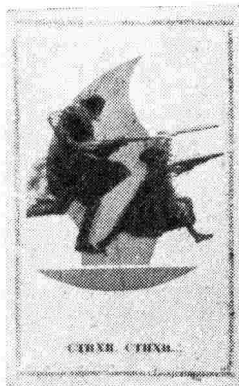
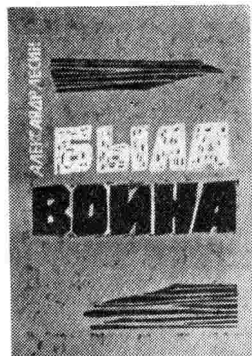
Впрочем, не все рассказы книжки посвящены войне. В них говорится и о счастливой девочке, внезапно ощутившей непонятное ей самой радостное и волнующее томление («Майские жуки»), и об обыкновенном московском доме, в котором живут разные незнакомые друг другу люди, о том, над чем они плачут, над чем смеются («Дом»), и о старенькой бабушке, ее детях и внуках («Ба-

бушкина жизнь»), и о трудной любви, на которую у героя не хватило сил («Жена Антона»). Во всех этих непохожих рассказах читателя неизменно останавливает подлинность авторского чувства, глубокая заинтересованность, правда жизни. Первая книжка Аллы Беляковой открыла нам писателя внимательного и чуткого, серьезно думающего о жизни.

Ф. СВЕТОВ

В книге Владимира Малихина «Мальчишки Замоскворечья» (изд-во «Московский рабочий») нет ни одного рассказа, который был бы написан прямо о войне. Но, закрывая ее, невольно ощущаешь боль за мальчишек, которые слишком рано простились со страной детства и ушли на фронт, «не дочитав «Сказки братьев Гримм» для детей среднего возраста, ушли и не вернулись. Прочтя книгу, уже не забудешь о Юрке из рассказа «Первая полчка» и о Пекке из «Морских волков», о Кольке из светлой и чистой новеллы «Колькина любовь».

«Мальчишки Замоскворечья» — книга не только о войне, а еще и школьной дружбе, о первой любви, о мальчишках и девчонках сороковых и шестидесятых годов. Сборник рассказов Владимира Малихина с одинаковым интересом и увлечением прочтет и сегодняшний мальчишка и его взрослый отец. В этом, мне кажется, удача автора, ибо писать для детей очень трудно, но еще трудней, чтобы детская книга читалась и взрослыми. Владимиру Малихину удалось напи-



сандра Лесина «Была война», и на тебя дохнет горячий ветер тех славных и горьких лет.

Н. СТАРШИНОВ

«Эта книга («Стихи, стихи... Репертуар художественной самодельности», изд-во «Искусство») составлена из стихотворений, которые можно и нужно читать с эстрады», — пишет в предисловии к ней Борис Слуцкий. Хочется добавить: не только с эстрады. Их можно и нужно фразу за фразой перечитывать в тишине читальных залов, их стоит учить наизусть. А главное, над ними надо думать.

Здесь поэты, у которых не вышло еще ни одного сборника, и стихи авторов, которые много и давно печатаются. Но, пожалуй, для каждого участие в этой книге стало серьезной проверкой. Испытанием не «тиражной», а поэтической зрелости.

Каждый автор, а их здесь сорок два, выбрал для сборника самые важные для себя стихи.

Наверное, это чувство отбора сродни эмоциям чтеца, когда в уже поредевшем зале он читает самое выношенное, чем-то особо близкое.

Поэтому здесь собраны стихи, очень ясно выражающие поэтическую индивидуальность каждого.

Мы читаем:

Озера горячие, сладкая тина.
Чебон африканский, негорький, бескостный
Мне кажется,
с медленной стаей утиной
Покинула родину птица спокойствия,—

и узнаем интонации Олжаса Сулейменова.
Вдумываемся в такие строки:

Была война на целом свете белом.
И, как один, мы крикнули «ура»,
Когда вожатый вывел серым мелом
По всей доске:
«Военная игра»,—

и входим в мир точных образов Олега Дмитриева.

Конечно, в сборнике есть более и менее сильные по форме и мастерству стихи. Но нет ни одного, сделанного из пустой породы.

Л. СТОРОЖАКОВА

сать такую книгу, не впадая в инфантильность тона и не вставая в то же время в назидательную позу. А лучшие рассказы сборника, написанные не только с тонким лиризмом, но и с юмором, показывают, что в литературу идет писатель со своей темой, со своим героем.

Н. САФОНОВ

Олег Дмитриев давно научился «ценить слова и зря не тратить их», и именно поэтому, должно быть, он, как правило, целен, спокойно целеустремлен. Эта черта отличает все его книги. Первая из них — «Друзьям сороковых годов» — о военном детстве, о полуголодной послевоенной поре. Потом были «Проспекты и просеки» — юность, вступающая в жизнь, немножко взбалмошная, быть может, чуточку самоуверенная, но уже пристально и пристрасно присматривающаяся ко всему, что происходит вокруг.

Затем был бросок на Восток, в Сибирь — к Братску, к тайге: смотреть землю, смотреть людей. Это «Арбатские сибиряки».

И как итог, как черта под пережитым и увиденным — четвертая книга. «Удар по кремню» (изд-во «Советский писатель»).

Манера Дмитриева всегда была неспешной. В «Ударе по кремню» поэт стал еще спокойнее, вернее, раздумчивее. И, если хотите, умнее и шире.

Иногда он еще возвращается в свое военное детство («Поколение», «Оренбургские базары»,

«Очередь 1946 года»), реже — в юность («Люда», «Воспоминание»).

Но главное, чем он сейчас занят, — обдумыванием, если так можно выразиться, и «Арбатских сибиряков» и «Проспектов и просек». Стремление уединиться, остаться наедине с самим собой и своими мыслями — это совсем не случайно. Не гудящая Сибирь, а тихий Север. Не Братск, а хилая лесная сторожка. Не Ангара, а зеленая мелкая речушка. Накопилось много впечатлений, тревожат воспоминания. Пришло время все обдумать, во всем разобраться, подвести какие-то итоги.

Нет мелочного копания в собственной душе, есть серьезное раздумье о смысле и цели дальнейшей работы, о сути нашего стремительного века. А чтобы ответить на такой наиважнейший вопрос, нужно прежде всего «внутренним взором увидеть себя на земле». И не только себя — землю людей.

Валерий МАКИЕВ

Эти немногословные, нередко отрывочные заметки сделаны во фронтовых землянках и под открытым небом, гудящим от рева самолетов, в снежных мартовских окопах у Варшавского шоссе и в теплые майские дни у стен только что взятого рейхстага. Перед нами — книга-дневник поэта-фронтовика, сотрудника дивизионной газеты, который, как сказано в предисловии, «пешком ходил от редакционной землянки до передовой и обратно» и прошел «от рубежей

Подмосковья до Берлина».

Автор книги «Была война» поэт Александр Лесина вел день за днем по мере возможности обзор главных событий, которые происходили на небольшом участке фронта, делал как бы моментальные фотографии рядовых бойцов и офицеров, стрелков и разведчиков, снайперов и связистов, фронтовых газетчиков — литераторов и художников, всех тех, кто вносил свой посильный вклад в дело победы. Он старался не забыть никого, кто был достоин доброго слова.

И вот даже из этих моментальных снимков видны характеры людей, их самоотверженность, стойкость, чистота, мужество. Основная ценность этого дневника в его достоверности. Можно привести множество примеров, как из точных наблюдений автора по крупницам воссоздается в этом дневнике картина сражений, которые вел наш народ в годы Великой Отечественной войны.

В одной из заключительных записей автор дневника приводит стихи своего фронтового побратима поэта Василия Субботина, в которых говорится о том, как они вместе фотографировались перед рейхстагом у знамени Победы:

Маету окопную изведав,
Мы с тобою вместе и сейчас.
Алое полотнище Победы
Навсегда соединило нас.

И эти поэтические строки и сам дневник — живое свидетельство мужества наших солдат, свідетельство фронтового кровного братства и дружества.

Юный читатель, раскрой книгу-дневник Алек-

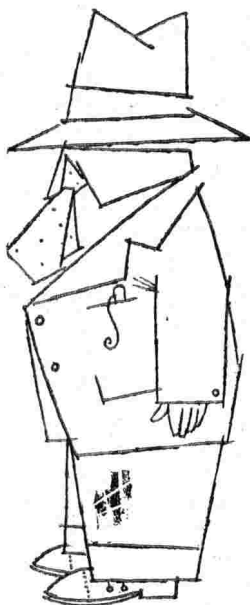


Зиновий Паперный



МНОГО- ДЕТНЫЙ ЖЕНИХ

Рисунки
И. Оффенгендена.



У писательницы Тэффи есть рассказ «Жених». Некто Бульбезов, педант-зануда, всех поучающий, на всех пишущий жалобы и заявления, надумал жениться. Он приходит с мимозой к Марье Сергеевне, чтобы сделать ей предложение. «Подождите, я сейчас свет зажгу», — говорит она, взволнованная этим многообещающим визитом. Но тут Бульбезов настораживается.

«— Как это вы изволили выразиться? Что это вы сказали?»

— Я? — удивилась Марья Сергеевна. — Я сказала, что сейчас свет зажгу.

А что?

И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову.

— Виноват, — сухо сказал Бульбезов. — Я думал, что ослышался, но вы снова и, по-видимому, вполне сознательно повторили ту же нелепость.

— Что? — растерялась Марья Сергеевна.

— Вы сказали: «Я зажгу свет». Как можно, хотел бы я знать, зажечь свет? Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец, спичку. И тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет? Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Ха-ха! Нет, это мне нравится! Жажеч свет!

— Ну чего вы привязались? — обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. — Все так говорят, и никто никогда не удивлялся.

Но Бульбезов с еще большим негодованием набрасывается на ту, с которой было собрался связать судьбу. Начинается ссора. Он обвиняет ее в невежестве.

«— Что вы знаете об электричестве? Затвердили, как попугай, «анод и катод, а посередине искра». А знаете вы, что такое катод?»

— Да отвяжитесь вы от меня! — взвизгнула Марья Сергеевна. — Когда я к вам с катодом лезла? Никаких катодов я не знаю и знать не хочу».

Но остановить его невозможно. Он неистовствует. Оба забыли о том, ради чего весь этот визит.

«— Нахал! Скандалист! — надрывалась Марья Сергеевна. — Вон. отсюда! Вон!..»

— И уйду! И жалею, что пришел. Тля!

Он машинально схватил ветку мимозы, демонстративно повернулся спиной и вышел.

Марья Сергеевна долго смотрела ему вслед и хлопала глазами».

На этом рассказ кончается.

Но не кончается сюжет.

Хотя Бульбезов и вышел от Марьи Сергеевны, хотя его жениховство кончилось скандалом, он, Бульбезов, как выясняется, с годами дал богатое потомство, оказался многодетным женихом. Не одно десятилетие прошло с тех пор, как сватался герой Тэффи, но и сегодня приглядываешься к иным людям и вдруг неожиданно различаешь потомственно-бульбезовские черты. Крепкая, видать, порода!

Ссора началась из-за языка: то, как она выразилась, показалось ему неправильным, нелепым, недопустимым.

Перед нами языковый педант, или, проще сказать, языковый зануда, ревнитель сугубо правильного, беспросветно правильного языка, как мы ска-зали бы сегодня, пользуясь словом Корнея Ивановича Чуковского, «канце-лярита».

Мало ли таких «канцеляритиков» сегодня? Можно было бы даже соста-вить бульбезо-русский фразеологический словарь.

Вот совсем пустяковый пример — инструкция «Приготовление пельменей»:

«350 г пельменей варят в широкой кастрюле в 2-х литрах кипящей воды до готовности (2—3 минуты кипячения после всплытия)... После готовности воду немедленно слить. Хранить пельмени при низкой температуре, не допу-ская их размораживания».

Автор этого установочного документа изъясняется величаво-официозным языком, как будто он, правильный, всеведающий, где-то там, наверху, а ты с твоими пельменями — внизу. И не столько он советует, сколько спускает указания, низводит до тебя свою мудрость. Он ни за что не скажет: «Кипя-тите две-три минуты после того, как пельмени всплывут». Но — «кипячение после всплытия». Не «пельмени готовы — сразу же слейте воду», а «после готовности». В общем, давая кухонные наставления, он парит над бытом, не снижаясь, на должной высоте.

Или вот еще приложение к «Руководителю» — так высокаторжественно именуются пружинки, придерживающие рукава рубашек.

«Руководитель служит для задержки рукавов цветных сорочек. Для белых сорочек данные руководители не рекомендуются».

«Данные руководители» — почти ракетополеты... И они не просто при-держивают рукава, а служат для задержки рукавов. Шутка ли, большое, от-ветственное дело!

Есть в этом что-то заманчивое. Если простые шутовники — руководите-ли, очевидно, скрепки — бумагокрепители, а резинка — бумагостираль.

В инструкциях, справках, приложениях и прочих меморандумах такого рода никогда не напишут: «Если вы обнаружили брак...» Но обязательно: «При обнаружении...» Авторы делопроизводственных сочинений инстинктивно чу-раются глаголов с их прямой, живостью, действительностью. Их упорно прев-ращают в существительные. «Глаголом жги сердца людей» тут ни к чему. Отсюда «всплытие», «размораживание», «перевариваемость» пищи, «игра-бельность» игрушки, «снашиваемость» обуви и «вынашиваемость» образов. Даже, как сообщалось в «Неделе», «замушляемость». Но тогда почему только так? А «заклопываемость»? «Закомариваемость»? «Затараканиваемость»?

Все эти искусственные отглагольные существительные напоминают застыв-ших на ходу всадников: в бытность свою глаголами они носились, играли, жили, как вдруг кто-то невидимый дохнул на них колдовским мертвым духом, и они враз застыли. Живой язык превратился в недвижимое имущество.

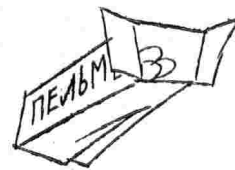
Разница между нашим обиходным языком и сугубо казенным примерно такая же, как между словами «шампанское» и «Мосвиншампанкомбинат», слово это, длинное, как состав товарняка, еще не так давно украшало бутылки шампанского и сидра.

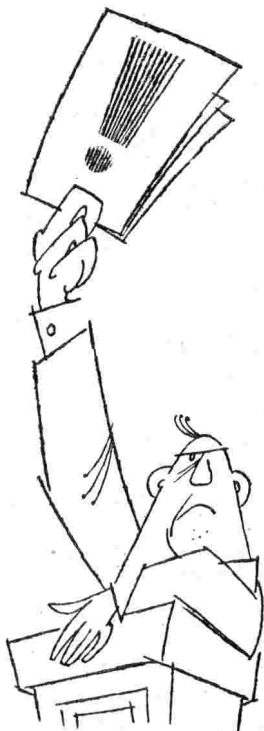
Можно было бы приводить еще и еще примеры такого мосвиншампанкомбинатского языка. Но не нужно. Во-первых, об этом уже много писалось, а лучше Корнея Ивановича все равно не напишешь. Во-вторых, продолжая размышлять о новых коленях и коленцах бульбезовского рода, — не только в языке дело.

В документальном фильме о Г. Товстоного-ве на репетиции «Трех сестер» режиссер, что-то увлеченно объясняя актеру, говорит «по линии Тузенбаха», и — ничего страшного. Мы этого не за-мечаем.

Что же делает Бульбезова Бульбезовым? Не язы-ковой оборот. Не вообще грамматика, а скорее — грамматика чувств. Не только то, что он требовал неукопнительно правильно выражаться, а то, что именно требовал этого и ни-чего иного возможным не представлял. Естественное выражение «я сейчас свет зажгу» для него не существовало. Оно было за пределами его представ-лений и потому за пределами реального.

Иначе говоря, то, что не должно быть, для него как бы и не существует. И Марья Сергеевна, которая этого не понимает, больше уже не Марья Сер-геевна, не будущая невеста, а ничто, ничтожество, «тля».





Люди по-разному проходят по жизни. Один бредет куда глаза глядят. Другой избирает скромную тропинку. Третий шагает только по большакам. Четвертый сам пробует проложить дорогу. А человек бульбеевского типа ходит, как трамвай, — только по рельсам. И сойти с колеи для него все равно, что сойти с ума. Мышление у него строго маршрутное, если можно так выразиться, не предусматривающее ничего непредусмотренного.

Вспоминается случай. Я работал в бюро одной литературной секции. Было это давно, так давно, что об этом уже можно вспоминать. На заседании бюро было решено провести дискуссию о состоянии современной критики. Один из членов бюро загорелся идеей откровенной дискуссии.

— Прекрасная мысль. Действительно, накопело. Масса нерешенных вопросов. Литература отстает от жизни — ясно. Критика отстает от литературы — яснее ясного. Но вот отчего это двойное отставание? Как раз и неясно. Давайте разберемся. Пригласим всех активно действующих критиков. Пусть каждый скажет все, что думает, что наболело.

Начали называть участников будущей дискуссии. Сначала Иванова.

— Иванов? — спросил задумчиво все тот же энтузиаст свободного обмена мнений. — А стоит ли именно Иванова? Начнет сводить личные счета...

— Тогда Петрова!

— Петрова хорошо. Но что он скажет? Может, предварительно побеседовать, выяснить его точку зрения?

— Сидорова.

— А вот против Сидорова я возражаю. Да и почему именно Сидорова? Что, у нас критиков, что ли, нет, кроме Сидорова? Нельзя же, товарищи, всю нашу боевую критику сводить к одному Сидорову. Нет уж, давайте вычеркнем.

Каждая новая фамилия вызывала у этого бульбеевского отпрыска одну заботу, одну думку: а что тот скажет? Не сойдет ли с колеи, с маршрута, который заранее прокладывался до станции назначения?

Можно решать задачу. А можно и симулировать решение, подгоняя самый процесс решения под решебник.

Очевидно, не у всех мозг состоит из извилин. Встречаются и уникальные извилины — прямые, как Невский проспект (да еще и с односторонним движением).

Для такого человека вся жизнь состоит из одних ответов, все знаки препинания — из восклицаний, или, как сокращенно называют этот знак корректуры, из «восклицков».

Как-то Михаил Светлов в конце своего вечера отвечал на записки. Несколько записок он положил в карман без ответа.

— Почему вы не отвечаете на все вопросы? — крикнул кто-то из зала.

— Если бы я мог ответить на все вопросы, — сказал Михаил Аркадьевич, — мне было бы неинтересно жить.

Может показаться, что Бульбеев лишен воображения. Это не так. Он много воображает. Но ему кажется, что его воображение, взгляды, его ответы на вопросы — это и есть жизнь. А все остальное — миф, бред, «тля».

Николай Асеев рассказывал, что он долго не мог напечатать свои воспоминания о Маяковском: редактор требовал выкинуть некоторые места.

— У вас получается, — укорял редактор, — что Маяковский в карты играл.

— Так он действительно играл в карты и был азартным игроком, он вообще был человеком необычайно азартным, одержимым...

Этого редактор понять не мог. Сложившийся в его воображении лучший и талантливейший во всех смыслах и отношениях играть в карты не мог.

Может быть, Асееву вспомнилась тогда фраза из «Бани» Маяковского: «Играл! Играл наш великий учитель...»

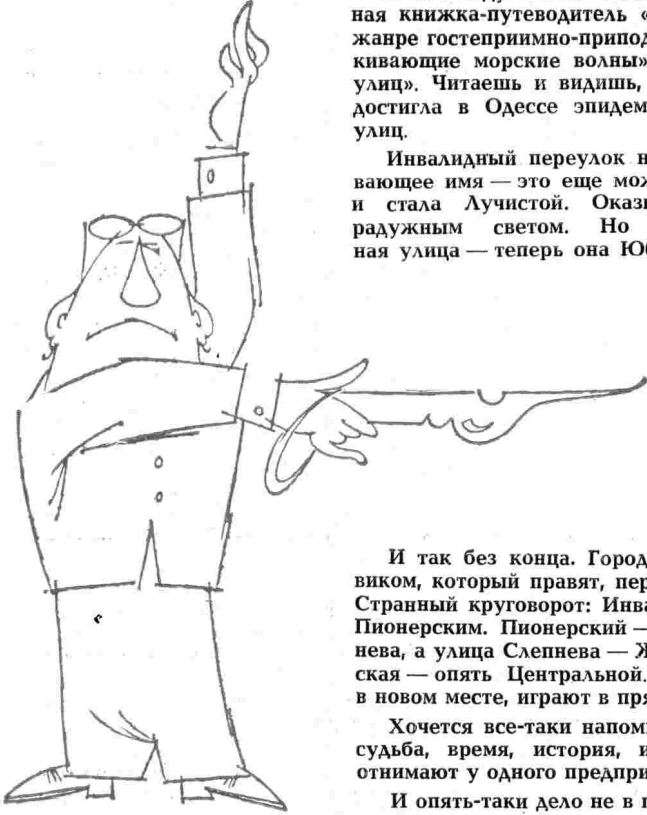
Споривший с ним редактор произнес фразу, заслуживающую особого внимания:

— В данном случае сказать правду — исказить образ.

Так возникают две действительности. Одна — жизнь, живая, реальная, та, что всегда в движении, ломке, сопротивлении, в развитии, в борьбе. Другая — по-бульбеевски гладкая, заранее до конца предусмотренная и на все случаи оговоренная. Это дискуссия, которая отрепетирована задолго до того, как ее провели. Ответ на вопрос, который был готов раньше вопроса. Поэт, который не может играть в карты, потому что этого не может быть никогда. А как было на самом деле — совсем иной вопрос; не путайте одно с другим.

В мире своих представлений Бульбеев чувствует себя свободно и даже вдохновенно. Чинуша и сам хочет сочинять, придумывать, изобретать. Слушки тоже бывают затейниками.

Одна из самых излюбленных форм такого сочинительства — переименование улиц. Порою здесь административная затея и задумка просто бьют ключом.



В 1967 году вышла четвертым, дополненным изданием нарядно оформленная книжка-путеводитель «Одесса». Написан он вполне подходящим в этом жанре гостеприимно-приподвядтым стилем: здесь и «жемчужина юга» и «убаюкивающие морские волны». В конце книжки дан «Список переименованных улиц». Читаешь и видишь, что, выражаясь по-латыни, *Mania Pereimеноvania* достигла в Одессе эпидемических размеров. Переименовано около пятисот улиц.

Инвалидный переулочек ныне называется Пионерским. Присвоено омолаживающее имя — это еще можно понять. Светлая улица тоже не удовлетворила и стала Лучистой. Оказывается, мало светиться — надо лучиться, сиять радужным светом. Но тогда непонятно, чем была плоха Радужная улица — теперь она Юбилейная.

А почему Горизонтальная переозаглавлена в Симметричную? И где гарантия, что завтра она не будет переименована в Перпендикулярную?

Лиственный переулочек стал Кедровым. Очевидно, я так понимаю, решили идею дерева конкретизировать. Чтобы ясно было, какое. Но вот Тополевые переулки переданы в Кипарисовые. Тут, наверное, тоже было тонкое соображение. Сразу не поймешь. Ясно только: тополи на чем-то погорели.

И так без конца. Город с его улицами и переулками оказывается черновиком, который правят, переправляют, переписывают неугомонные сочинители. Странный круговорот: Инвалидный переулочек стал, как мы уже с вами знаем, Пионерским. Пионерский — Юношеским, Приятный переулочек теперь — Слепнева, а улица Слепнева — Железняка, Центральная стала Звездной, а Юрьевская — опять Центральной. С ума сойти! Названия исчезают и появляются в новом месте, играют в прятки.

Хочется все-таки напомнить разницу между названием улицы, за которым судьба, время, история, и переходящим знаменем, которое действительно отнимают у одного предприятия и вручают другому на какой-то срок.

И опять-таки дело не в переименовании, а в самом подходе.

Вперяет Бульбевоз свой строгий, по-старчески дальнозоркий взгляд в Марию Сергеевну, в будущую дискуссию, в поэта, в улицу и определяет: то это или не то? Быть тому или не быть?

Декарт сказал: «*Cogito, ergo sum*» — «Я мыслю, следовательно, существую».

А Бульбевоз говорит: то, что я не *cogito* — другими словами, то, что не укладывается у меня в голове, то, что я не мыслю, — не существует. А если и будет существовать, — только так, как я себе это *cogito* представляю, как именую и переименовываю.

Отсюда парадоксальное сочетание у рассматриваемой породы: несокрушимости, чисто трамвайной «колейности» — с короткой памятью, завидно-оперативным умением заменять старые определения и названия новыми. Бульбевозская память — как отрывной календарь или как ящерица с легко отрывающимся хвостом.

— Вы же вчера сами говорили...

— Так то вчера!

Получается, что и прошлое существует лишь в той мере, в какой оно подтверждает сегодняшнее. А день завтрашний спозаранку разнесен по непререкаемым графам. И получается, что вся будущая форма глагола сводится к краткому:

— Давайте не будем. А если и будем, то не будем спорить, как это будет. Как надо, так и будет. У вас все? Действуйте!

Есть река жизни, впадающая в океан вечности, река с ее течением, стремнинами, водоворотами, мелководьем, омутами, глубинами — живая вода. И есть вода H_2O — водород + кислорода, отвлеченное понятие, им не напьешься, жажды не утолишь.

Самуил Яковлевич Маршак незадолго до смерти сказал:

— На свете идет главная борьба между бытием и небытием. Всякая механичность — это уже небытие. Скука — это зевот небытия...

Жить — это значит действительно быть, а не пребывать и не отбывать.



«ВТОРНИКИ В ДЕСЯТОМ «Б»

Читатели обсуждают
статью «Юности»



ТЕНЬ ГУГО КАРЛОВИЧА. Так уж устроен человек: когда мы встречаемся с неприятным фактом, само собою рождается искушение объявить его нелепой случайностью.

История, о которой рассказывала «Юность», была такая: десятиклассницу Вали Сергееву обсуждали за различные прегрешения каждый вторник и до того довели, что однажды она решилась уйти с классного часа. В присутствии педагогов — Валентину не пускали, ударили, оскорбили. Девушка покинула город. Родители нашли ее и вернули домой.

После опубликования статьи редакция «Юности» получила много писем. История в десятом «Б» возмущала всех. Нет ни одного человека, который взял бы под защиту этот класс и его педагогов. Даже в письме, которое начинается словами «Я являюсь бывшей ученицей этого класса» и которое полно обвинений в адрес Вали и, разумеется, в адрес автора статьи, — даже в этом письме сам случай рассказан точно так же, как в статье, и говорится: «Это мерзко, я понимаю». Что же должны были писать те, кто не учился в этом классе!

«Так могли поступить только черствые и бездушные люди» (А. Ряхов из Оренбургской области).

«Мы имеем право требовать, чтобы таких педагогов не допускали к калитке школьного двора. Им даже собственных детей опасно доверять!» (Н. Яременко из Черкасс).

По абзацу из каждого письма — десяток журнальных страниц можно заполнить. Одни читатели идут от чувства человечности («Только бездушные люди могут...»), в других протестует чувство патриотизма («У нас, в советской школе!...»), третьи вызывают к времени («20-й век!»), четвертые возмущены до той крайности, когда уже и объяснения не требуются: этого не может быть, потому что быть этого не может («И представить себе такое нельзя!»).

Пока речь идет о случае, все читатели, повторяем, единодушны.

А теперь начинается самое важное.

Что же делать дальше? Педагоги Вали Сергеевой наказаны и осуждены теперь вот даже и публично. Валя кончила школу, дело закрыто... В архив?

Другими словами, что перед нами было: просто случай или в истории этой есть нечто такое, над чем стоит задуматься?

Вот одно мнение (его разделяют авторы еще двух писем):

«Этот пример говорит не о вреде собрания, а о вреде извращения, нарушения формы собрания. Ведь любое дело, доведенное до абсурда, может принести вред. Лесковский Гуго Карлович, человек с «железной волей», умер оттого, что переел блинов, но из этого никто не делал вывода об их запрещении» (К. М. Платонов из г. Курска).

Вот другое мнение (его поддерживают авторы всех остальных писем):

«Подобные «вторники» бывают не только в десятых, но и во всех классах. Еще когда я сама училась, сколько их было, да и сейчас можно встретить немало случаев грубого, бестактного отношения к ученику, подростку... Ведь действительно, когда обсуждают при всем коллективе класса, у ребят, лихо настроенных, отсутствует жалость, уважение к товарищу. Он, этот виновный, стоит и видит одни сердитые, злые лица. Ну скажите, все ли на зло отвечают добром?» (учительница Л. Н. Погудина из пос. Возюк, Кировской области).

Нет, как видим, списывать дело Вали Сергеевой в архив рано. Вместе с ним придется тогда списать в архив десятки подобных же дел, все их посчитать за абсурд, анекдот, достойный незабвенного Гуго Карловича.

«Я РАЗБИЛ ЦВЕТОЧНЫЙ ГОРШОК», — пишет москвич М. Коровкин и рассказывает о том, как был публично осужден за свой проступок. Вот отрывок из этого письма:

«Я окончил школу в 1966 году. Школьная жизнь еще свежа у меня в памяти. Наиболее остро помню вот какой случай из моей школьной жизни.

Кончал я восьмой класс. Сдавал последний экзамен — русский устный (предмет, который я не любил). Вызвали меня первым. Учился я хорошо и потому довольно сильно волновался. Ответил, получил хорошую оценку. Выскочил в коридор. Все! Сдал! Я в щенячьем восторге поскакал по коридору, но этим актом, переполнявшим меня, восторг исчерпан не был. Тогда я схватил традиционный на школьном подоконнике глиняный горшок с пыльным и чахлым алоэ и с радостным воем ахнул этот горшок о стену.

В следующий момент мне стало стыдно и страшно. Первым из класса выскочил мой друг Вовка и восхищенно сказал: «Во дает! Ну, теперь пиши пропало. Общественность тебя осудит».

И действительно, общественность меня осудила — и правильно сделала. Но кем я только не был! И моральным уродом, и человеком, которому нет места в нашем коллективе», и... и... Но почему-то мне не становилось более стыдно, чем сразу после того, как я разбил горшок. Я только злился на себя и на окружающих и думал: «Ну что они хотят? Я и так на все готов, чтобы об этом больше не вспоминали, а стыдно мне и так до предела».

Но нет! По-настоящему стыдно мне стало гораздо позже. После классного собрания я встретил в коридоре учительницу математики. Она спросила: «Что произошло?» Я рассказал. «А еще Хемингуэя читал», — сказала она с презрением и пошла дальше. Вот тут-то я совсем и сник. Хорошо еще, что это было наедине. Если бы она так опозорила меня перед классом, я бы, наверно, возненавидел ее».

Читатель наверняка улыбнулся, когда дошел до Хемингуэя. И кто-нибудь, наверно, скажет с удовлетворением: «Теперь парень никогда в жизни не будет больше ахать горшками об стену». И верно — не будет. Может, из-за одного слова — о Хемингуэе. Но какой ценой дался ему весь урок? Что могло быть разбито вслед за несчастным горшком? Если 15-летнего человека назвали «моральным уродом» и он должен был стерпеть, — какой след оставит это терпение в его характере?

Выяснять обстоятельства не приходилось — они проще простого. И бывает, чем дольше тянется обсуждение ни о чем, чем энергичнее оно, тем вернее достигается цель, прямо противоположная той, для чего оно устраивается.

Механика коллективного ребячьего обсуждения — это чаще всего механика превращения виновного в правого. Если вы заденете кого-нибудь на улице, вы будете виноваты. Но если в ответ на это на вас набросятся и избыют, правда будет уже за вами (вместе с синяками). Говоря юридически, превышение мер защиты. Об этом парадоксе хорошо пишет учительница Т. Алексеева:

«С первого класса ребята сталкиваются с нашей бурной реакцией по поводу плохой учебы, неряшливости, озорства и т. д. А на случай первой лжи, воровства или жестокости у нас, увы, ничего в запасе нет: то же непримиримое выражение лица, та же гневная интонация, те же резкие слова. И понятно ребенку, что плохо быть и неряхой и лжецом. А что по-настоящему плохо, — непонятно».

И ведь трудно представить себе обсуждение, на котором говорят мягко, глядя в глаза. Обсуждая, обычно сердятся. А если и не сердятся, то все равно против одного — все. И, пожалуй, права Таня Фомина, ученица 77-й ленинградской школы, когда пишет: «Подобные вещи (то есть обсуждения) надо проводить так же осторожно, как первые шаги по неизвестной планете».

«ЕСТЬ ДЛЯ ВАС МНЕНИЕ». Итак, коллективные обсуждения поступков школьников далеко не всегда достигают поставленной цели. Но, исследуя вопрос глубже, читатели приходят к выводу, что злоупотребление «разборами» приносит большой вред. Вот письмо из Днепропетровска от Бориса Клименко:

«Все, о чем писалось в статье, очень похоже на нашу школу. Если уж попал на классное собрание, то добра не жди. Поднимается классный руководитель, и начинается «чистилище». Потом классный руководитель выдает предложения: «выговор», «взыскание» и т. д., — начинает смотреть на класс, мол, есть для вас мнение, давайте голосуйте за него. А начнешь выступать в пользу разбираемого, сразу

классный руководитель тебя передразнивать: «Сюсюсю». И закончит: «Демагог».

Бывают же такие «удачные» формулы, сразу и полно выражающие суть проблемы: «Есть для вас мнение...»

Но ведь когда человеку навязывают мнение, он, как правило, чувствует себя оскорбленным, даже если это мнение абсолютно справедливо. И вот как кончаются обсуждения в классе Бориса Клименко: «Мы всегда классного руководителя выслушиваем, а когда дело до голосования дойдет, голосуем как полагается. Девчонки классного руководителя поддерживают, а ребята — нет. Но ребят большинство».

Все здесь вверх ногами — и здравый смысл, и логика, и справедливость; никого не интересует, где правда, где неправда, а обсуждаемый окончательно сбив с толку: то ли он герой, то ли преступник. Ибо в этой обстановке трудно понять, какое же поведение осуждается, какое одобряется, кто друг, кто враг. Так пустяковыми «делами о двойках» расшатываются моральные критерии поведения, да так основательно расшатываются, что иной человек и в жизнь выходит совершенно опустошенным. Выходят люди, о которых пишет из Баку Виктор Каланадзе:

«Конечно, коллектив — огромная сила. Но, к сожалению, не всегда эта сила бывает справедлива. Попадется в руководители коллектива этаким «святой отец» — и все: нет справедливости, есть одна «святость», которая неминуемо сожигает с лицемерием. Ох, как это мне знакомо самому! Когда в лицо при «вышестоящих» товарищах говорят одно, а наедине — заискивающие улыбки: «Тебе не надо было спорить. Покаялся бы». И потная рука на плече. И как надоело сбрасывать эти руки!»

Школа исходит, конечно, из самых благих побуждений, но случается, иногда она невольно поддерживает лицемерие. «Я знаю таких воспитателей, — пишет из Ленинграда Е. Ксенз, — они перед первым уроком посылают троих ребят проверить у своих товарищей тетради — выполнили ли они домашнее задание. Это называется воспитанием честности». Они проводят обсуждение, чтобы воспитывать прямоту или чтобы «человек публично назвал зло злом, подлость подлостью, осудил своего товарища за скверный, аморальный поступок» (из письма читателя К. М. Платонова). Но на практике получается иное: вместо искренности — двурушничество, вместо прямоты — приспособленчество. Осуждение, идущее не от чувства, а от обязанности, ни к чему другому и не может привести.

Но нужна ли такая наука? Стоит ли этому учить детей?

УЧИТЬСЯ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ? Однако вот какое возражение выдвигает в своем письме сотрудник Института психологии В. Чудновский (Москва):

«Да, совершенно справедливо, что подростки часто «максималисты», часто судят прямолинейно, не признавая оттенков. Но где же и когда они будут учиться «житейской мудрости»? Думается, что неправильно было бы «оберегать» ребят от обсуждения серьезных вопросов. Коллективные раздумья о моральных ценностях, раздумья не абстрактные, а по конкретному поводу могут быть для них большой жизненной школой, конечно, при условии, что в организации этой работы чувствуется рука чуткого и умного педагога».

На первый взгляд убедительно. Для того и школа, чтобы учиться, в частности и «житейской мудрости». А что делать тому бедолаге, на котором школьники будут учиться этой самой мудрости? Который станет

«конкретным поводом» для «коллективных раздумий о моральных ценностях»? Учиться-то надо, но не за счет товарищей, не за счет искаленных судеб и горьких разочарований. Это ведь все равно что студенту-медику с первого курса доверить серьезных больных. Умрут — ничего, надо же студенту учиться...

Пожалуй, «умный и чуткий педагог» как раз и не допустит ничего подобного. Он будет учить житейской мудрости примерами своего поведения, покажет, что это дурно — «набрасываться» вдесятером на одного» (из письма Тани Кушневской, Донецкая область), он объяснит, что «обсуждать и наказывать человека — легче всего» (Амалия Ахмудова, Кировоград), он с презрением отнесется к тем, кто делит людей на «грязных» и «чистеньких» («Все-таки, какие же мы все «чистенькие!») — горько пишет Ольга Тодженко из Жданова).

Пожалуй, гораздо лучше учит житейской мудрости (без кавычек!) педагог из села Гуделен, Кабардино-Балкарской АССР, Людмила Бальцер. Вот ее письмо:

«Сейчас я учительница. Но еще недавно сама была ученицей. И поэтому, глядя на своих шестиклассников, часто вижу себя на их месте. Школьники наши просто устали от всех и всяческих обсуждений и проработок. У некоторых из них выработался какой-то иммунитет к ним, своего рода противоядие. Часто ученики скептически относятся к воспитательным часам: «Ничего нового не будет, очередная нотация!» И в этом виноваты в большинстве случаев мы сами, учителя. В школе, где я работаю, в понедельник шестой урок во всех классах — воспитательный час. И вот к этому часу каждый классный руководитель выписывает все двойки за неделю и идет в класс устраивать разнос. Вскоре дети начали выражать протест: убегать с этого часа. Мальчишкам и девочкам нашего удивительного века надоели сборы звеньев, советы дружины, часы, где их прорабатывают с постными, скучными лицами под строгим взглядом учителя их одноклассники. Думают прорабатываемые об одном: скорее бы на улицу!

И вот я решила менять эту систему в своем 6-м «В». Мы перестали проводить воспитательный час шестым уроком в понедельник. Что за воспитание раз в неделю по расписанию?! У нас были свои воспитательные часы. На них мы говорили о многом. О разных странах. О музыке и кинофильмах. Затаив дыхание, слушали дети историю почетного караула

у Мавзолея Ленина. Я не давала выводить своих детей на общешкольную линейку для проработок. Я щадила их самолюбие. Завуч требовала список двоечников, а я оттягивала до последней минуты, и в результате ни одного из 6-го «В» на линейке перед всей школой. И мои шестиклашки смотрели на меня такими благодарными глазами. Класс стал по-настоящему дружным. Наш класс никогда не убирала техничка. В классе не было ЧП. Никогда не было ни малейшего нарушения дисциплины».

Письмо это, кажется, и не требует комментариев. Воспитывать коллектив, не допуская проработок, как мы видели, можно. А вот можно ли создать коллектив на проработках по вторникам или по понедельникам — это еще вопрос.

Читатели В. Чудновский и К. Платонов ссылаются на опыт А. С. Макаренко — у него же обсуждали! Но, кроме обсуждений, в коммуне имени Горького было и еще кое-что — особый стиль отношений, яркая жизнь, четкие цели развития коллектива, система сменных командиров, разновозрастные отряды, наконец, мощнейшее педагогическое влияние самого Антона Семеновича. А ныне подчас получается так: из всей суммы приемов выхватывают один и говорят: «А мы как у Макаренко». Результаты противоположны тем, которых добивался Макаренко? Неважно. Зато как у него. Это очень напоминает тех родителей, которые бьют своих детей, учено приговаривая: «И Макаренко ударил своего воспитанника».

...В заключение приведем отрывок из письма Валентины Станиславовны Старковой, педагога из г. Ижевска. Она работает в школе 14 лет.

«Этот вопрос с пристрастием: почему плохо учишься? — проходит на классных, комсомольских, родительских собраниях. Происходит это потому, что классному руководителю и активу класса надо, чтобы были приняты какие-то меры, не показано полное равнодушие к случившемуся. Не всегда за текущей школьной дел найдешь нужный подход, индивидуальный, о котором так много пишут и говорят. Все мы понимаем, что такое механическое обсуждение губит и сводит к нулю массу нужных общественных мероприятий. Именно поэтому многие передовые учителя отказались от такого разбора».

К сожалению, мы могли привести здесь лишь незначительную часть писем читателей. Но абсолютное большинство их против всяких проработок — «механических», «искренних», всяких.





Валерий Гаврилин:

«Мой жанр— видимо, опера»

Имя Валерия Гаврилина стало известным совсем недавно — с того вечера, когда в Малом зале Московской консерватории ленинградская певица Надежда Юренева спела его вокальный цикл «Русская тетрадь». Вскоре к «Русской тетради» обратилась Зара Долуханова; песни Гаврилина стали все чаще звучать в концертных залах страны, а затем и за рубежом — в ГДР, в Венгрии. И вот двадцативосьмилетний композитор, недавний выпускник Ленинградской консерватории, получает за «Русскую тетрадь» премию имени Глинки.

Я поехала в Ленинград, чтобы встретиться с Гаврилиным. Но едва переступила порог его квартиры, как поняла, что разговор наш сегодня вряд ли удастся. Жужжала кинокамера, горели перекалки: ленинградская кинохроника снимала сюжет о самом молодом из лауреатов республиканской премии России. Что оставалось делать? Ждать, конечно. И я не пожалела об этих нескольких часах ожидания. В ходе съемки Гаврилину приходилось много играть на фортепиано — я услышала неизвестные мне миниатюры, фрагменты театральной музыки, интермедии из новой оперы. В коротких перерывах, когда операторы ставили свет, мы успевали поговорить.

Валерий родился в маленьком городке Кадникове, в Вологодской области. Детство провел в деревне. Так случилось, что ему пришлось три года прожить



в детском доме. Там-то он и стал заниматься музыкой, пел в хоре, пытался «рисовать ноты». Именно рисовать, потому что музыкальной грамоты совсем не знал — просто располагал ноты узором на пяти линейках так, чтобы покрасивее выглядело. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, руководитель детдомовского хора познакомил его с приехавшим в местное музыкальное училище на выпускные экзамены преподавателем Ленинградской консерватории Иваном Михайловичем Белоземцевым. Вскоре Гаврилин получил вызов в специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории.

— Поступил сразу в седьмой класс, учился играть на кларнете. Поначалу учился неохотно, потому что меня привлекало только фортепиано, но оказалось, руки у меня не подходящие для пианиста. Меня «утешали» классическими примерами: дескать, Римский-Корсаков тоже играл на кларнете, а Лядов — на валторне. Успокоился. Учиться было трудно, потому что начал поздно.

— А как вы занялись композицией?

— Когда я кончал девятый класс, в школе открылось отделение композиции. Я показал свои первые композиторские наброски (фортепианную сонату, романсы), и меня взяли на это отделение. Так как времени не хватало, пришлось расстаться с кларнетом. Ну, а потом — консерватория; я кончал ее по двум

отделениям: композиторскому (класс О. Евлахова) и народной музыки (класс Ф. Рубцова). Увлекался фольклорными экспедициями, написал дипломную работу о «Народно-песенных истоках в творчестве В. Соловьева-Седого»...

Кинохроникеры принимают за дело, а я просматриваю недавние статьи Гаврилина в журнале «Советская музыка».

В одной из статей он пишет: «У нас с большим уважением относятся к космическим исследованиям, хотя многое в них для нас и непонятно и неизвестно. Что же касается туповатой руготни, которую иные слушатели адресуют хорошей современной музыке, то ведь и космические исследования иным людям кажутся ненужными. Вместо спутников они предпочли бы иметь хорошо налаженное производство спальных гарнитуров...»

В другой — композитор делится своими соображениями, как приблизить музыку к слушателю: «Нам нужно думать о выработке таких художественных форм и жанров, которые сделали бы приятательным для самого широкого слушателя все богатство достижений музыкального мышления прошлого и настоящего. Идти здесь, вероятно, нужно через слово... Ведь восприятие музыки у непрофессионалов начинается с образования подсознательного ассоциативного ряда в его связи с «программой памяти», и если мы можем достичь этого при помощи... непосредственных ассоциаций, то пренебрегать этим не следует...»

...Киносъемка заканчивается, и наконец мы можем спокойно беседовать.

— Как я представляю «программу памяти»? Музыка больше, чем какое-либо из искусств, адресуется к человеческой памяти. Композитор, задумывая произведение, всегда вкладывает в него какие-то свои, личные «программы» и ассоциации. Может ли он рассчитывать на то, что именно так, а не иначе «прочтут» его сочинение слушатели? Может, разумеется, но тогда это программа однозначная, разовая. Стремиться же, как мне кажется, нужно к «памяти» многозначной. От «запрограммированной», задуманной автором одной или нескольких коллизий и ассоциаций — к многозначным личным размышлениям слушателей. Ведь у людей на памяти многое. Каждый, слушая музыку, ищет (и находит!) в ней свое. И потому такую большую роль я отвожу в музыке драматургии и слову.

— Относите ли вы и драматургию непосредственно к «программе памяти»?

— Безусловно. Сопоставление различных — больших и малых — элементов, событий, чувств должно выражать тот эффект, на который я заранее рассчитываю. Надо думать о целом. Вызовите ассоциации, а они уже сами подскажут решение задуманного сочинения.

Гаврилин продолжает:

— Предельное обнажение чувств было необходимо в «Русской тетради», равно как и непосредственность выражения эмоций, какими бы «смешными» или «глупыми» они на первый взгляд ни показались. Отсюда и композиция цикла, и прием-воспоминание, и смещение реального и ирреального в рассказе героини, и даже ее бред — как в «жестоком» романсе...

— Расскажите подробнее, как создавалась «Русская тетрадь».

— Как-то мне рассказали, что в одной из ленинградских школ умер от болезни десятиклассник, кра-

сивый, умный парень, которого все очень любили. Трагическая ситуация, и ничего нельзя в ней изменить. Умер, многого не узнав, не увидев, не любив. А, наверное, есть где-то и девушка, которая бы его полюбила, будь он жив. И я решил написать о несостоявшейся любви от лица этой девушки, хотел написать поэму о любви и смерти. Каждую из восьми песен цикла я старался расположить так, чтобы уже само чередование выражало контрастность чувств, переживаний, заставляло следить за их сюжетом.

Это песни-воспоминания. На народные тексты, собранные в Ленинградской, Вологодской и Смоленской областях (я участвовал в этих фольклорных экспедициях). Что же касается музыки, то фольклорных цитат (народных мелодий) в ней нет. Но она непосредственно связана с интонациями народного творчества. Использованы здесь разные песенные жанры. За внешне спокойной песней о первом свидании (но и в ней уже есть предчувствие тоски: «Буду ждать парня, ждать парня, ждать») — идет будто бы частушка, игровая попевка «Что, девчоночки, стоите?» — в ней как бы мимоходом проскальзывают слова «Он уехал далеко»... Еще неясно, что разговор идет о смерти любимого человека. Потом опять воспоминание о свидании. Реально ощущаемая тоска перемежается с галлюцинациями. «Я жена, жена мужняя», — поет героиня, поет упрямо, как бы уговаривая себя... И вдруг сентиментальный романс, и она видит себя в саду, а навстречу ей «девки идут, цветы несут» (это зимой-то!), и рядом, как рефрен, навязчивая идея «холодно, холодно мне»... «Я жена мужняя!» — уже торжественно, гордо возглашает героиня в заключительной песне «В прекраснейшем месяце мае». И только в эту минуту ударит похоронный колокол... Вот так и построена «Русская тетрадь»...

— Какой жанр вы считаете своим? Или несколько жанров?

— Мой жанр — видимо, опера! Я уже пытался работать в этом жанре — написал оперы по рассказам Михаила Зощенко, затем — по собственному либретто — «Симонские ребята». А сейчас заканчиваю в клире оперу по гоголевскому «Ревизору». Работать в этом жанре интересно и трудно. Почему? Потому что требуется большая и напряженная симфоническая подготовка, гармония вокала и оркестра. Потому что, как мне кажется, необходимо искать новую оперную форму, изучая пример драматических театров, отказываясь от архаичности как в драматургии, так и в художественном решении, в музыкальном языке. Я, например, не люблю речитатива в опере. Я за ансамбль певцов на хорошем оркестровом фоне и за то, чтоб в оперном театре так же «горел воздух», как в лучших нынешних драматических. Чтобы оперный театр был общественно интересен, а не становился музейной редкостью. Для этого нужно определить его специфику, тематику так, чтобы все происходящее волновало по-настоящему. Непременно буду писать оперы по мотивам произведений моих любимых писателей: Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Ильфа и Петрова.

— Ну, а симфония?

— Стыдно, но мне пока нечего сказать в симфонии или инструментальном концерте. Поживем — увидим.

«Поживем — услышим», — подумала я.

Интервью вела Н. ВАСИЛЬЕВА

Фото автора.



**Татьяна
Любецкая,**
мастер спорта

БЕЗЗАЩИТНАЯ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ

Много-много веков назад, во времена далекого детства человечества, в Древней Греции проводились знаменитые общегреческие состязания — Олимпийские игры. Каждые четыре года самый могущественный из богов, Зевс-громовержец, посылал на землю своего сына, быстрогогерца Гермеса, чтобы возвестил он о приближении священных испытаний великим героям. Твердые, как алмаз, гибкие, как ветвь маслины, быстрые, как стрелы Аполлона, состязались герои в честь могущественного эгидодержавного Зевса...

Давно кончилось детство человечества, прошла юность, и, как считают наши современники, наступила зрелость. Но по-прежнему каждые четыре года Олимпийские игры непреодолимо манят тех, кто считает себя сильным, ловким и смелым, и заставляют неровно биться их сердца.

Итак, впереди Мехико! Не каждый попадает на Олимпийские игры. Но собираться туда может каждый. И этого ему никто не запретит. Нельзя сказать: «Я ездила в Мехико», — если я туда не ездила. То есть, конечно, можно, но это будет явная ложь. А вот сказав: «Я собираюсь в Мехико», — обмана не совершишь. Так вот: я собираюсь в Мехико.

Собственно, мысль описать, как я стремлюсь в Мехико, подала мне одна услышанная недавно радиопередача. Композитор, выступавший с рассказом



о своих творческих планах, сообщил, что он создает оперу-трилогию на современную тему. «Ну а теперь послушайте мою детскую песенку «Свистулька и гудок», — сказал композитор. Когда прозвучала последняя нота песенки и передача закончилась, я позавидовала выступавшему: как умело и солидно составил он свое выступление, всего-то имея свистульку да гудок. Я тоже решила выступить со своими планами... рассказать о том, как я собираюсь в Мехико.

А эти сборы начались, если хотите, с того самого момента, как я впервые занялась фехтованием. Потому что плох тот фехтовальщик, который не мечтает стать олимпийцем!

Первый бой, неравный бой (правда, еще без оружия) ждал меня дома. Бой начала мама, громко крикнув:

— Не пушу!!!

Затем выступила наша соседка тетя Маша (ее комната у самой кухни):

— И что ты в ём нашла, в этом фиктавании? Палками железными стегать друг дружку! Да что вы, сектантки какие, прости господи, что ли? И ведь, слава богу, не этот, как его, не Квазимодо, чтоб под маску-то лезть! Никто тебя под ей и не разыщет, так старой девой и останешься, да.

— Ах, оставьте, тетя Маша, — вступила мама, — в

нашей семье еще никто в девках не засиживался, но если непременно нужно увлечься чем-нибудь, так можно марки собирать, монеты...

— Хм, монеты, — сказал наш таинственный, недавно исчезнувший сосед Федор Петрович, как поговаривали, в прошлом фальшивомонетчик (его комната прямо напротив нашей). — Монеты — это конечно, хорошо, основательно увлечься можно, вот только если заметут...

— При чем тут заметут? — вскричала мама. — Просто ум за разум зашел!

— Ум — зараза, ум — зараза! — хлопая в ладоши и приплясывая, подхватила моя младшая сестренка, Лелька.

А Вера Павловна (она библиотекарь, совсем недавно въехала в нашу квартиру) так сказала:

— Я, конечно, за спорт и все такое, но ведь фехтование — это же, так сказать, драка? Как же девушке лезть, извините, в драку?! Если так дальше пойдет, я представляю, Лидочка (Лидочка — это моя мама), вашу дочь в весьма странном виде: в одной руке шашки-сабли, в другой — бутылка с алкогольным напитком, в зубах — папироса и под глазом, я извиняюсь, синяк.

Но ничто не могло поколебать моего решения, и я им всем так и сказала. Тогда на середину кухни вышел папа и горячо поздравил нашу армию со значительным укреплением в моем лице, с приобретением еще одной боевой единицы.

Победа была одержана, и я почувствовала, что готова к новым боям, но олимпийский факел уже тогда слабо мерцал у меня перед глазами.

И вот фехтовальный зал! Я вижу на помосте двух спортсменов в белых костюмах. И казалось, будто сами клинки вели острую и изящную беседу, грозно поблескивая в умелых руках фехтовальщиц. Это были знаменитые Забелина и Растворова. Мышцы и сталь, быстрота и мягкость, сила и грация сочетались в этом стремительном поединке. Мне очень захотелось научиться фехтовать так же, захотелось тут же с кем-нибудь сразиться. Но ничего подобного не произошло. Мне не преподнесли оружия в золоченых ножнах. Вместо этого предложили принять несколько странную позу. Представьте, что вы сидите глубоко в кресле, чуть нагнувшись вперед и вбок, только кресла под вами нет. Та рука, которой вы хотели было схватить рапиру (но вам ее не дали), напряженно протянута как бы в ожидании милостыни. А вторую вас заставляют поднять так, будто вы собираетесь почесывать ею за ухом. Вы и попытаетесь это сделать, но у самой цели вас остановят, и кисть руки так и останется бесцельно болтаться в воздухе. И вот в таком виде вам предложат пройти по залу, сделать какие-то скачки, выпады и неизвестно еще что. И, как ни странно, через несколько дней вас просто невозможно будет оторвать от зеркала. Вы будете находить эту фехтовальную стойку не только нормальной, но даже красивой. Сколько кошачьей мягкости в стойке! И в то же время какая целеустремленность в выпаде — в этом финальном броске на противника!..

Но «драться» нам, новичкам, тогда еще не разрешалось. Мы с завистью смотрели на признанных фехтовальщиков и, ревниво прислушиваясь к звону их клинков, послушно и терпеливо паслись у мишени. Нам разрешалось сразиться лишь с чучелом. Мишень и чучело — таков был наш удел.

Однако пришел день, когда я наконец получила своего тренера. Фехтование — это, пожалуй, единственный вид спорта, где тренер дает урок своим

ученикам, непосредственно вступая с каждым в единоборство. Однако это не совсем настоящий бой. Тренер создает боевые ситуации (чем дальше, тем сложнее), но сам не колет, предоставляя это последнее и решающее право ученику. Получается как бы бой с форой, которой нет конца.

Больше не было чучела! Напротив меня стоял живой тренер-боец, в защитном костюме, в маске, в перчатке, с оружием в руках, как олицетворение великих таинств фехтования, которые я должна была постигнуть.

В ужасе отшатывались теперь от меня родные, когда я, прежде чем воткнуть вилку в поджаренный кусок мяса, продевывала ею различные фехтовальные манипуляции.

— Эта фехтовальная дорожка приведет тебя в сумасшедший дом, — расстраивалась мама.

Но чем больше я тренировалась, тем лучше получалось у меня, тем быстрее сглаживались семейные разногласия. В конце концов я научилась немного фехтовать. Мне даже удалось участвовать во всесоюзных и международных соревнованиях, на Универсиаде и на первенстве мира, получить Кубок Союза и командную золотую медаль первенства мира. Я смогла, что называется, краешком глаза взглянуть на мир. И мама уже на меня не кричала, а папа улыбался уже не иронически. К тому же между двумя тренировками я успевала выйти замуж, и теперь уже вся ответственность за меня целиком ложилась на мужа.

А потом фехтовальные страсти мои улеглись, и в моих глазах померк олимпийский огонь: семейная жизнь отвлекала, конечно, но, главное, я поступила в МГУ и изо всех сил принялась за учебу.

Но олимпийский год — это волшебный год. Он будит уснувшие надежды, воскрешает мечты. В это время на землю, как и прежде, является посланник могучего Зевса, быстрый, как мысль, Гермес. Как и прежде, Гермес является каждые четыре года с олимпийским факелом и до тех пор размахивает им перед вами, пока вы, бросив все, не помчитесь за ним на край света.

Мне быстроногий Гермес явился в облике заслуженного тренера СССР Виталия Андреевича Аркадьева (это мой тренер).

— Имейте в виду, Таня, — сказал он, — что молодость не только «возраст любви», но в гораздо большей степени возраст спорта. Большой спорт — это океан самых противоречивых эмоций, и притом эмоций в превосходной степени; это — обогащение души на всю жизнь, столь необходимое вам как будущей журналистке. Вы должны взять в университете академический отпуск и усиленно потренироваться. Потеряете год учебы? Да, потеряете. Но не забывайте же, черт возьми, что учит и воспитывает человека прежде всего сама жизнь, и тем более на своих кульминационных вершинах. И в конце концов журналистками могут стать сотни женщин, а быть достойной защитить честь своей страны на Олимпийских играх — это счастливая участь единиц.

Разумеется, никаких гарантий мне дано не было, а лишь предлагалось еще раз испытать судьбу.

Взять академический отпуск! Эта мысль была необычна и привлекательна. Однако так соблазнять меня, и именно тогда, когда я внутренне готовилась к полному прощанию со спортом!

Но через некоторое время Гермес вновь предстал передо мною в облике заслуженного тренера СССР Давида Абрамовича Тышлера. И вот что мне он рассказал.

В 1955 году ему показалось, что пора бросать

спорт, но потом что-то его остановило, и он решил еще раз съездить на первенство мира. В тот год оно проходило в Риме, где наши фехтовальщики впервые в истории советского спорта завоевали медаль — бронзовую медаль саблистов! И Тышлер, уже не думая бросать спорт, прошел с советской командой весь ее триумфальный путь, участвуя в шести первенствах мира и двух Олимпиадах.

Я решила взять академический отпуск. Нет, я при этом отнюдь не была уверена, что смогу участвовать в семи ближайших первенствах мира и хотя бы в одной — в Мехико — Олимпиаде. Нет. Но бывает так, что вдруг оставляешь нечто совершенно определенное, значительное, выстроенное с большим трудом, ради... ради неизвестно чего, ради мечты. Аркадьев и Тышлер просто помогли мне понять то, что давно уже было неотъемлемой частью меня, только я этого не сознавала.

Фехтование никогда не было единственным и самым сильным моим увлечением и тем более целью жизни. Но, оказывается, спорт по мере затраченных сил и времени и по мере систематического наращивания соревнований и тренировок, тренировок и соревнований постепенно и незаметно срывается с вами, пронизывает каждую вашу клеточку. А если вы соберетесь бросить его, то тут вдруг выясняется, что это ваша душа, ваша жизнь и что бросить спорт совсем не просто. А если вам к тому же предложат взять академический отпуск и попытаться попасть на Олимпийские игры, вы поймете, что это ваша давнишняя мечта. Тут происходит как бы обратный процесс: не мечта превращается в быль после долгих трудов и усилий, нет, много отданных сил, помыслов, бесконечные часы, проведенные в спортивном зале, оборачиваются мечтой. Мечтой ощутить когда-нибудь необыкновенную и ни с чем не сравнимую радость самых больших побед. Я уже говорила: мне посчастливилось получить золотые медали в командных зачетах, но в личном — никогда! Не хватило ли мне отдачи всех сил спорту или просто фортуна была немилостива, но золотая медаль высшей пробы — пока еще для меня мечта...

Недавно мне удалось подойти совсем близко к своей мечте.

Решающий бой на четвертой юбилейной Спартакиаде народов. Я помню все, шаг за шагом. Секретарь объявляет: «На дорожку подготовиться: Растворова — Любецкая. После проведенных боев они имеют равное количество побед и по одному поражению. Бой за первое место!» Я и не заметила, как до первого места добралась... ах, да, еще не добралась... еще один бой... Я очень устала... просто тошнит от усталости... Да-а, надо было больше тренироваться... теперь вот коленки подгибаются... надо было больше тренироваться... Ну, поздно теперь об этом думать, да и остался всего один бой... Как бы это выиграть? Виталий Андреевич говорит, что нельзя твердить себе «выиграть, выиграть», не надо думать о медали. Просто надо сосредоточиться на каждом движении и стараться не делать промахов. И вот тогда-то я и выиграла, и тогда... ах, не стоит об этом думать, а то как со шкурой неубитого медведя... Мама дает мне яблоко (все мои родные, конечно, здесь, хотя с фехтованием так и не примирились полностью). Я беру яблоко, чтобы не обидеть маму, но есть мне его совсем не хочется, я слегка волнуясь... Выиграть, выиграть... трудно. Валя Растворова — одна из трех сильнейших со-

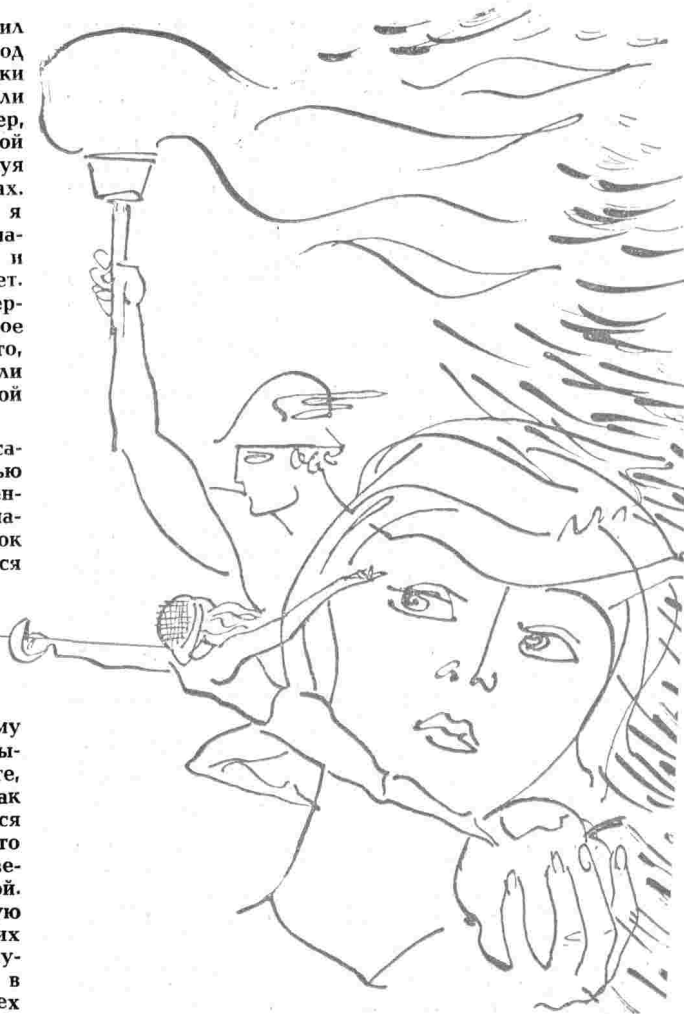


Рисунок
М. Скобелева и А. Елисеева.

ветских фехтовальщиц, а это что-нибудь да значит... А все-таки как хочется выиграть!.. Всего четыре укола. 1, 2, 3, 4! Но ведь и ей столько же... Неприятно... жалко, что именно с ней решающий бой. В этом году я ей больше проигрывала, то есть я вообще что-то не помню, чтобы в этом году выигрывала... Ну и что ж? А вот теперь... подходит Валя... Вот мы разговариваем о том о сем... Мы ведь не враги, нас принято называть подругами по оружию... Помолчали... Она говорит: «Тань, ты все время ешь эти яблоки и выигрываешь. Дай и мне откусить от твоего яблочка...» Это перед боем-то со мной... Я дала ей откусить... Нас вызывают на дорожку... Пора... К помосту я иду медленно, чтобы сберечь силы, потому что у меня их совсем не осталось... Что же это будет? В общем, ничего страшного, просто очень хочется выиграть. Но как?.. Сейчас увидим. Помост. Оружие в порядке... К бою готовы? Готовы... Начинайте... Начали... В зале тихо... Тук-тук — стучат наши рапиры, тук-тук, тук-тук, счет 1:0 в мою пользу... Так. Тук-тук... 2:0... Не надо радоваться! Ведь это только поддела, и это же Растворова... Тук-тук... 2:1! Вот, пожалуйста! Ах, яблоко, зачем я дала ей откусить?

Тук-тук... 2:2... Яблоко, яблоко... Со всех сторон летят подсказки болельщиков, но что они кричат? Пусть выйдут на помост и сделают, что надо. Но это не разрешается правилами соревнований... Надо немножко подумать, и тогда обязательно что-нибудь придумается... Тук-тук... Вот 3:2 в мою пользу... Ну, спокойно, еще один — и я выиграю... Еще один... еще один... Ах ты... 3:3... Это самый отвратительный счет, самый опасный, а тем более с таким опытным противником, как Растворова... Все же постараемся... Кто нанесет последний укол? По моему, лучше, если я... Надо что-то сделать, но что?! Тук-тук... Что-то не получается... Тук-тук... Делаю вид, что поправляю оружие, на самом деле я просто даю себе передышку, так как совершенно задыхаюсь... Тук-тук... Все забыла... ужасно... Один укол! Один, всего один... И ей один, интересно... Один... Мы очень долго деремся и всех задерживаем. Они ждут, они хотят знать, кто выиграет... Успеваю заметить, что у мамы от волнения лицо совершенно малинового цвета, папа ходит около маминого стула, заложив руки за спину, а Лелька совсем отвернулась, чтобы не видеть помоста... Но все-таки что же делать? Но тут оказывается, что ничего больше делать не надо, так как нанесен последний укол и уже бегут поздравлять с первым местом... Растворову... Это яблоко! А счастье было так близко! Но что значит близко? Мы спорили за

медаль с равным количеством шансов, но медаль получила Валя. А я? Я не имела к медали уже решительно никакого отношения. Ах, яблоко, яблоко!

Я взяла академический отпуск.

Но эта весть так сильно потрясла мою маму, что в гневе она заговорила вдруг языком греческой трагедии.

Мать:

Бросай оружие, о дочь моя!
Но не бросай ты университет!
Тебе велит так мать твоя.
Остерегись ослушаться ты моего совета!

Ее продолжил хор соседей.

И только муж говорил обыкновенной прозой наших дней, так как не знал греческой трагедии. Он просто поставил мне ультиматум: или университет, или...

Ну, вы знаете, любовь — великая сила. Ей не может противиться ни один из смертных. Слова раскаяния неудержимым потоком полились с моих уст... Как вдруг! Как вдруг что-то зашумело, зашвистело, ударил страшный гром и молния, и между нами вырос... Гермес с мерцающим факелом в божественных руках! Стоит ли говорить, что я пошла за ним...

А теперь я вас спрашиваю: попаду я в Мехико?

ФУТБОЛ ПО-СЕЙШЕЛЬСКИ

На моем письменном столе лежит конусовый орех весьма причудливой формы. Веерная пальма, которая приносит такие огромные, двойные плоды, чем-то напоминающие сиамских близнецов, растет в диком состоянии лишь на далеких Сейшельских островах. История моего сувенира довольно необычна, и связана она с футболом...

Индийский океан. За кормой океанографического судна «Витязь» уже остались многие тысячи миль, когда прямо по курсу встали пальмы Сейшельских островов. На запрос о возможности посещения островов губернатор ответил: «Ждем. Готовьте футбольную команду».

Сразу же после ужина на полубане собрались футболисты «Витязя». До сих пор мы встречались только с командами иностранных судов, которые находятся в равных с нами условиях. К тому же нашему центральному защитнику врач только что вырезал аппендикс, а центрфорварда, когда он нырял за кораллами, укусила в ногу какая-то ядовитая тварь! Но выход был один — играть.

— Только бразильская система и никакая больше! — кричал кок Валентин, наш самый азартный болельщик.

Встречу назначили на 5 часов вечера, а с утра мы отправились бродить по городу Виктория. Это столица английской колонии, расположенной на девяносто двух островах Сейшельского архипелага. Любителям приключенческой литературы, очевидно, известно, что еще два века назад Сейшелы служили убежищем пиратов и корсаров и что в 1730 году

здесь был казнен знаменитый пират Ла Бюз. Когда палач уже собрался приступить к экзекуции, Ла Бюз бросил с эшафота в толпу горожан бумажку, испещренную загадочными знаками: «Мои сокровища тому, кто прочтет!» Кто только не искал с тех пор здесь клады Ла Бюза, но тщетно. В Виктории недалеко от гавани стоит отель со звучным именем «Герб пиратов». В городе и сейчас живут потомки воинственных корсаров...

Задолго до начала игры вместительные трибуны местного стадиона заполнили зрители. В центральной ложе восседал губернатор. Весь «Витязь» тоже был здесь.

Встреча началась нашим бурным натиском. Но буквально уже через пять минут мы поняли, как трудно играть в этой тропической парилке. Воздух, казалось, обжигал легкие. Мы бегали по полю, задыхаясь. В первом тайме наш вратарь Юра Храмов дважды вынул мяч из сетки ворот...

Второй тайм довершил наш разгром. Со счетом 0:5 «Витязь» еще никогда и никому не проигрывал. При этом надо учесть, что наш вратарь Юра Храмов провел игру блестяще. Его броскам и дерзким выходам из ворот аплодировали все Сейшелы.

Искушавшись после игры в теплой воде океана, мы сидели под раскидистыми зелеными пальмами, а сейшельцы угощали нас прохладным конусовым молоком и наперебой расспрашивали о далекой Советской стране, о которой многие из них услышали впервые. Говорили островитяне на каком-то тарабарском жаргоне,

густо пересыпанном английскими и французскими фразами. Лучшее всего понимали низкорослого курчавого сейшельца, который стрелял в нас короткими, восторженными фразами:

— Мы тренируемся круглый год... Мы посылаем телеграммы на все суда, проходящие мимо островов... Содержание всех телеграмм примерно одинаковое: «Зайдите к нам и сыграйте в футбол!» Мы выигрываем у всех, кто откликается на наши телеграммы... Мы имеем победы над кораблями многих стран. Вы не огорчайтесь...

Вечером многие островитяне пришли на «Витязь», чтобы посмотреть его. Наша объемистая книга посетителей пополнилась еще одной записью:

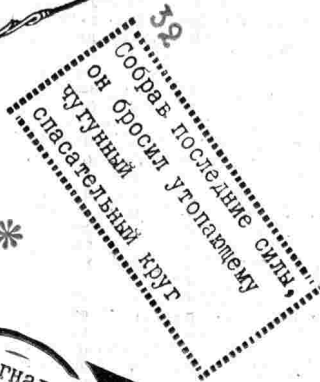
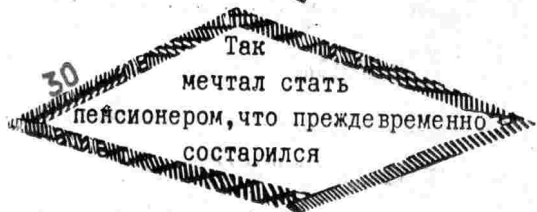
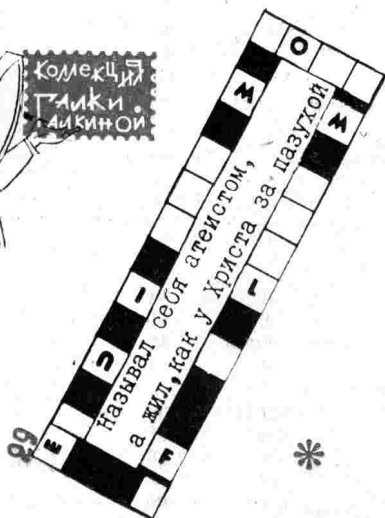
«Для всех нас на Сейшелах было большой радостью приветствовать капитана, ученых и экипаж «Витязя», хотя мы и сожалеем, что их визит был таким коротким. Их труд в этом длинном плавании, несомненно, откроет много неизвестных до сих пор фактов об Индийском океане, в необъятных просторах которого наши островки всего лишь соринки...

Лучшие пожелания всем от Сейшел — тысяча миль отовсюду.

ТОРН — губернатор Сейшел, Виктория».

А наши недавние соперники, футболисты Сейшел, подарили участникам матча по огромному конусовому ореху, по знаменитому двойному ореху с веерной пальмы, которая растет только на Сейшельских островах.

В. ОРЛОВ



Материалы в коллекцию прислали:

29, 30 — В. Смирнов. 31 — Е. Сидоров.
32 — Вал. Девятый. 33 — В. Ломаный.

Эмма Мошковская

КАК СОБАКА НАУЧИЛАСЬ КУСАТЬСЯ

Собака пришла наниматься.
— Умею я обниматься, лизаться и целоваться...
— А кусаться!
— Кусаться! Признаться, я не умею кусаться. Хозяин сказал: — Я тебя научу! Собака сказала: — Но я не хочу! — Но если так полагается!! Даже блоха кусается! Надо бросаться и сразу кусаться. Иди, покажу. Иди, укушу в живот. Гляди: раз... два... три!.. Вот. Собака способной была и сразу все поняла. Собака завывала отчаянно! И — укусила хозяина.



ПОДУШКА И ОРКЕСТР

Жила-была Подушка. Атласная Подушка. Прекрасная Подушка! Подушка просто душа! Не хотела быть Подушка, не хотела быть под ушком — быть хотела непременно музыкальным инструментом! И в оркестр села! И пошло дело! По Подушке — бух! бух! Из Подушки — пух! пух! И поднялось облако! Облако обволокло и гобой и свирели, и умолкли трели-трели, трубы тоже ни гу-гу, ни бу-бу и ни ду-ду. И не слышно бума-бама, и не видно барабана, и не видно, где кларнет, контрабаса тоже нет! И гобоя! И фагота! И фагота! И гобота! Дирижер исчез! И оркестр весь!



В. СТЕКОЛЬЩИКОВ. Автозавод. На конвейере. (Автолитография).



М. РОЙТЕР. После соревнования. (Монотипия).





Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120

